PLASKE
ПЛАСКЕ

Ефим Зозуля

Мастерская человеков

и другие гротескные, фантастические и сатирические произведения



Всемирный клуб одесситов

Ефим Зозуля

МАСТЕРСКАЯ ЧЕЛОВЕКОВ

и другие гротескные, фантастические и сатирические произведения

ПЛАСКЕ
Одесса 2012

УДК 821.161.1'6(477)-741(081)

ББК 84(4Укр=Рус)62-47я44

2012

3 787 Зозуля Ефим Давидович
Мастерская человеков и другие гротескные, фантастические и сатирические произведения
Составитель и автор предисловия Е. Голубовский
Редактор Ф. Кохрихт
Всемирный клуб одесситов
Одесса: ПЛАСКЕ, 2012. – 456 с.

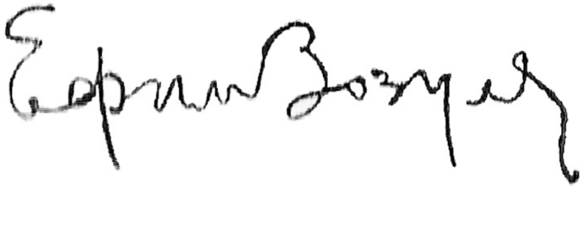
ISBN 978-966-8692-47-5

Ефим Зозуля – один из выдающихся отечественных писателей, чье имя и творчество возвращаются в большую литературу после многолетнего незаслуженного забвения. В первые десятилетия XX века он был широко известен и как блистательный автор «Сатирикона», и как один из создателей журнала «Огонек», но сегодня он интересен как автор сатирических, фантасмагорических антиутопий, в которых узнавались реалии жизни в СССР, содержались меткие и беспощадные пророчества.

Ефим Зозуля погиб в боях подо Ржевом в ноябре 1941 года. Выросло несколько поколений читателей, и не подозревающих о творчестве писателя, который тесно был связан с Одессой. В предлагаемом сборнике Евгений Голубовский собрал из старых изданий, ставших библиографической редкостью, самые яркие и значительные его произведения, которые интересны и актуальны и сегодня – в XXI веке.

На обложке – фрагмент работы Павла Филонова «Симфония Шостаковича»





Евгений Голубовский

Много званых, но мало избранных

Эта евангельская формула все время была в памяти, весь год, что я думал о книге Ефима Зозули, о значимости его творчества, о несправедливости судьбы, оставившей этого писателя не просто вне контекста русской литературы, но, по сути, вне современного корпуса сочинений русских писателей.

Думал о том, что именно из Одессы должно начаться второе прочтение Ефима Зозули, из города, где сто лет назад, в 1911 году, он, двадцатилетний юноша, вошел в ряд блистательных одесских фельетонистов.

Иногда говорят: складываются карты. Я бы сказал, что складывались числа. 10 декабря 1891 года, сто двадцать лет назад, будущий писатель родился в Москве, детство его прошло в Лодзи, юность в Одессе, где он и стал популярным литератором. Уже в 1914-м году его пригласили в Петербург, затем были Москва, Киев и вновь Москва…

В зловещие тридцатые, когда арестовывали ближайших друзей, его не «взяли», но просто перестали печатать, и каждый день казалось, что за ним придут… Но не пришли. А 23 июня 1941 года, на второй день войны, пятидесятилетний писатель пришел в военкомат и записался добровольцем в ряды Московского ополчения.

Он погиб подо Ржевом в страшной мясорубке 3 ноября 1941 года, семьдесят лет назад.

У Александра Твардовского есть стихотворение, читая которое не могу не думать о Ефиме Давидовиче Зозуле, хоть написано оно в память о тысячах павших.

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте.
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете…

Но вернемся к литературе – к делу жизни Ефима Зозули.

Дмитрий Карамазов в романе Ф.М. Достоевского произносит фразу, позже растасканную на цитаты: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

Кажется, этой решимостью «сузить» пользуются «большие» издательства. Вернули читателю Булгакова и Платонова, Пастернака и Мандельштама, и многих других замечательных писателей и поэтов. Но остаются в забвении сатирики Андрей Новиков, близкий друг Андрея Платонова, Леонид Грабарь, которого почитал Михаил Зощенко, Михаил Козырев, написавший первый рассказ в Одессе в 1921 году, а в 1942-м расстрелянный за «сатиру на советскую власть»…

Таким же образом «сузили» Ефима Зозулю. В 1928 году в издательстве «Земля и фабрика» выходит его собрание сочинений в трех томах (четвертый не вышел, хоть был объявлен), издательство «Academia» выпускает сборник статей о Зозуле, среди авторов которого Анатолий Луначарский, Леонид Гроссман, Михаил Кольцов… Но это в двадцатые, а в тридцатые роман «Мастерская человеков», несмотря на конформистское предисловие, прерывают в печати – в журнале «Молодая гвардия»… После Великой Отечественной войны, в 1962 году, был выпущен куцый сборничек рассказов погибшего на фронте писателя с издевательским названием «Я дома». И все – дальше безмолвие.

Посмотрел Интернет. Признаюсь, обрадовался. Во Всемирную сеть выложен роман «Мастерская человеков», рассказ «Граммофон веков», воспоминания Е. Зозули «Сатириконцы».

Но еще больше обрадовало то, что есть читатели, для которых и сегодня Ефим Зозуля в числе самых любимых писателей. Вот абзац из текста в «Живом журнале» автора под ником «necrodesign»:

«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения одного из моих самых любимых писателей. Интересно, хоть кто-нибудь вспомнит? Выдающийся писатель. Да, все мы знаем Оруэлла, Замятина, но почему-то творчество Ефима Давидовича всегда оставалось в тени, что еще больше привлекает мое внимание. Вполне возможно, что прямая подача его произведений воспринималась (точнее, не воспринималась) критиками и обществом как удар сапогом в лицо! Или даже как плевок в общество. Поэтому на его произведения внимания не обращали. Подумать только, единственное издание – трехтомник – был издан один раз еще до Войны и больше ни разу не переиздавался!!! Критику его я почти не читал, да и нет ее вовсе. Только последнее время в Интернете можно было найти отрывки из его биографии».

Значит, действительно широк человек, и не сумели его ни сузить окончательно, ни унизить. Поэтому так важно противостоять энтропии культуры, а значит, переиздавать забытое, а то и украденное у нас, публиковать сохранившиеся в архивах тексты.

Как уже было сказано, в журналистику, в частности, в одесский журнал «Крокодил», Ефим Зозуля пришел в 1911 году. Но рассказ о его творчестве я хочу начать не с Одессы, даже не с Петербурга, где Зозуля был ответственным секретарем и, естественно, автором знаменитого «Нового Сатирикона», редактируемого Аркадием Аверченко. Большим писателем (не из «званых», а из «избранных») он стал после Октябрьского переворота, осознав не только, что происходит, но и что может произойти.

«Новый Сатирикон» закрыт большевиками, Аверченко эмигрирует, Зозуля уезжает на юг, в Киев.

И вот здесь, в городе, гражданскую войну в котором мы обычно представляем по «Белой гвардии» М. Булгакова, весной 1919 года вышел первый и, как оказалось, последний номер журнала «Зори».

Редактировал его эсер-боевик С. Мстиславский. Затевался журнал в феврале при Директории, вышел в марте при большевиках как орган Наркомпроса, открывался «Рассказом об Аке и человечестве» Ефима Зозули. Можно сказать, что отдел прозы и «закрыл» этот журнал.

Если бы Зозуля не написал ничего, кроме этого текста, тогда еще не было термина «антиутопия», он вошел бы в большую литературу. С этого рассказа начались его гротескные, фантастические, но одновременно сатирические произведения. Много позже для серии ЖЗЛ Е. Зозуля вместе с А. Дейчем напишут книгу о Свифте. Мне кажется, что уже в 1919 году Зозуля думал о Свифте, проникся гневом и иронией Свифта.

Жанр «Рассказа об Аке и человечестве» в двадцатые годы, когда его переиздавали, пытались определить как философскую сказку. Красиво, но ложно. Перед нами антиутопия, издевательская и точная в своем провидении. Уже опыт первых полутора лет советской власти подсказал Ефиму Зозуле сюжет фантастический и, увы, реальный.

Если до двадцатого века, начиная с Платона, Кампанеллы, Томаса Мора, вплоть до Жюля Верна утопии были достаточно распространенным, а главное, позитивным, дающим надежду жанром, то двадцатый век с его кровавой историей создал жанр антиутопий – мрачных пророчеств, основанных на реалиях исторической повседневности.

О чем же этот рассказ, так высоко мною ценимый?

Переворот. Коммунистическая доктрина в действии. Хоть подобные слова не названы. Всем изначально сулят блага. Но во главе – диктатура и диктатор. Название-то какое придумал Зозуля для правительства – «Коллегия Высшей Решимости». А чтобы всем было хорошо, а всех, оказывается, как всегда, много, нужно вначале уничтожить «нежизнеспособных». И начинается «проверка права на жизнь», чтобы, как обещают оставшимся, проложить обещанный путь к светлому будущему.

Диктатор Ак (нужно думать, партийный псевдоним), мне кажется, карикатурно высмеянный Ленин. Но поскольку в 20-е годы этого категорически никто не замечал, не буду упорствовать, это может быть и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и далее по Краткому курсу истории ВКП(б). Ак иногда жалеет человечество и тогда прячется среди папок с делами «нежизнеспособных». Нэп, что ли, готовит? А потом машина вновь запускается в действие. Машина уничтожения.

Нельзя сказать, что у «Рассказа об Аке и человечестве» не было внимательных читателей. Большое впечатление этот текст произвел на Евгения Замятина. В это время он размышлял над своим романом «Мы», законченным в 1920 году. В современном литературоведении именно с этой книги Замятина идет отсчет антифашистским и антикоммунистическим утопиям. Так, в главном герое романа Замятина Д-503 уже проглядывает предупреждение о будущем герое Александра Солженицына – Иване Денисовиче Шухове под лагерным номером Ш-854, и о миллионах других «Иванах Денисовичах»…

Но вернемся в 1919 год. Какой выход предлагал Ефим Зозуля? Лучше народу станет лишь тогда, когда очередной Ак решит уйти из страны, из города, из пространства жизни.

Но ведь не уходят сами…

Разговор о творчестве Ефима Зозули я начал с рассказа, написанного в Киеве в 1919 году. Но еще в 1918-м в Петрограде он написал и опубликовал рассказ «Гибель Главного Города». Тут представлена война миров (почти по Г. Уэллсу), побеждают так называемые демократы. Как тут не вспомнить не только Замятина, но и Оруэлла, и Хаксли?

«Особым декретом победителей правительство Главного Города было смещено, а парламент распущен.

Вместо того и другого победители предложили Главному Городу выбрать «Правительство Покорности» из шести человек.

1. Министр Тишины. Его задача – сведение шума Главного Города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего Верхнего Города.

2. Министр Вежливости. На его обязанности – оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих Верхний Город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей.

3. Министр Ответственности. Он отвечает за благонадежность жителей Главного Города, гарантирует путем создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего Города.

4. Министр Количества. Обязанность – нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность Главного Города не отразилась как-нибудь на благополучии Верхнего Города.

5. Министр Иллюзий. Обязанности – грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным.

6. Министр Надежд.

Последний должен развивать в жителях Главного Города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем».

Естественно, нет возможности прокомментировать все рассказы о гражданской войне, послевоенном быте, библейские притчи, роман, то есть все то, что включено в этот том избранного.

Отдельным томиком можно было бы представить Ефима Зозулю – фельетониста, собрав его произведения одесского периода. Только для сопоставления в этой книге помещены в приложении два цикла микроновелл из одесской газеты «Понедельник» за 1914 год. Их предваряет главка из статьи Михаила Кольцова об одесской странице в жизни Е. Зозули.

Мог быть томик рассказов Ефима Зозули о Москве 30-х годов. Выбрано из написанного то, что и сегодня воспринимается как перекличка дней прошлых с днями настоящими. Предостерегает от утопий.

Книги Зозули оставались в научных библиотеках, а статья М. Кольцова, открывавшая первый том собрания сочинений, вслед за автором была «изъята» – ножницами во всех 10 тысячах экземпляров вырезана. Но были такие «зловредные» книги, мало того, что по приказу их следовало уничтожать, но по одному экземпляру их – отправляли в спецхран. И когда «перестройка» открыла спецхраны, оказалось, что академический томик статей о Зозуле сохранился, а там и статья Михаила Кольцова.

Кстати, познакомились Кольцов и Зозуля в 1918 году при Гетманщине в Киеве, оба переехали в Москву, вместе задумали и осуществили

в 1923 году проект – создание общесоюзного массового журнала «Огонек». Позднее Ефим Зозуля придумал «Библиотечку «Огонька», самое массовое издание стихов и прозы.

В двадцатые годы Ефим Зозуля продолжал напряженно писать. Его уже тянуло к большим формам – романам. Но то, что он хотел сказать своему читателю, оказалось непроходимым для советской цензуры.

В этой книге читатель может прочитать один из двух писавшихся романов – «Мастерская человеков». Не испугайтесь «паровозиков» – двух авторских предисловий, которые, он надеялся, вывезут роман к читателю. Не помогло. Как и ссылка на какую-то речь Сталина на последних страницах. Цензура была уже изощреннее и беспощаднее, чем в двадцатые годы. Критики «в штатском» сразу же дали сигнал, что под видом фантастического романа высмеивается как механистическая, так и идеологическая попытка искусственно создать нового гомункулуса – «идеального человека». Читаешь, какой «материал» для этих опытов находили герои Е. Зозули – ученые в СССР, и понимаешь всю абсурдность этого эксперимента.

Надеемся, что инициатива в возрождении интереса к творчеству Ефима Зозули, проявленная в Одессе, во Всемирном клубе одесситов, найдет продолжение в Москве, что будут опубликованы тексты, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, что читатель сможет оценить этого писателя, во многом опередившего свое время.

В 1928 году в автобиографии Ефим Давидович Зозуля писал:

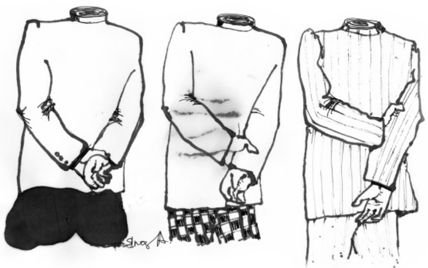
«…Хочу много работать. Хочу долго жить. Литература – тягучее, хлопотное, длинное предприятие. Для того чтобы серьезно заняться ею, нужно 40-50 лет, а для этого надо дожить хотя бы до 75 лет…»

Судьба распорядилась иначе, он погиб пятидесятилетним. Но в литературе успел поработать.

Взглянул на списки тысяч книг, предлагаемых интернет-магазинами. И вновь повторил про себя: много званых, но мало избранных. А я убежден: место Ефима Зозули среди избранных.

Декабрь 2011 г.

Рассказ об Аке и человечестве



1. Были расклеены плакаты

Дома и улицы имели обыкновенный вид. И небо с вековым своим однообразием буднично голубело над ними. И серые маски камней на мостовых были, как всегда, непроницаемы и равнодушны, когда очумелые люди, с лиц которых стекали слезы в ведерки с клейстером, расклеивали эти плакаты.

Их текст был прост, беспощаден и неотвратим.

Вот он:

«*Всем без исключения.*

Проверка права на жизнь жителей города производится порайонно, специальными комиссиями в составе трех членов Коллегии Высшей Решимости. Медицинское и духовное исследование происходят там же. Жители, признанные ненужными для жизни, обязуются уйти из нее в течение двадцати четырех часов. В течение этого срока разрешается апеллировать. Апелляции в письменной форме передаются Президиуму Коллегии Высшей Решимости. Ответ следует не позже, чем через три часа. Над ненужными людьми, не могущими по слабости воли или вследствие любви к жизни уйти из нее, приговор Коллегии Высшей Решимости приводят в исполнение их друзья, соседи или специальные вооруженные отряды.

Примечания:

1. Жители города обязаны с полной покорностью подчиняться действиям и постановлениям членов Коллегии Высшей Решимости. На все вопросы должны даваться совершенно правдивые ответы. О каждом ненужном человеке составляется протокол-характеристика.

2. Настоящее постановление будет проведено с неуклонной твердостью. Человеческий хлам, мешающий переустройству жизни на началах справедливости и счастья, должен быть без-

жалостно уничтожен. Настоящее постановление касается всех без исключения граждан – мужчин, женщин, богатых и бедных.

Выезд из города кому бы то ни было на все время работ по проверке права на жизнь безусловно воспрещен».

2. Первые волны тревоги

– Вы читали?

– Вы читали?!

– Вы читали?!

– Вы читали?!! Вы читали?!!

– Вы видели?! Слышали?!!

– Читали?!!

Во многих частях города стали собираться толпы. Городское движение тормозилось и ослабевало. Прохожие от внезапной слабости прислонялись к стенам домов. Многие плакали. Были обмороки. К вечеру количество их достигло огромной цифры.

– Вы читали?

– Какой ужас! Это неслыханно и страшно!

– Но ведь мы же сами выбрали Коллегию Высшей Решимости. Мы сами дали ей высшие полномочия.

– Да. Это верно.

– Мы сами виноваты в чудовищной оплошности.

– Да. Это верно. Мы сами виноваты. Но ведь мы хотели создать лучшую жизнь. Кто же знал, что Коллегия так просто и страшно подойдет к этому вопросу?!

– Но какие имена вошли в состав Коллегии! Ах, какие имена!

– Откуда вы знаете? Разве уже опубликован список всех членов Коллегии?

– Мне сообщил один знакомый. Председателем выбран Ак.

– О! Что вы говорите! Ак? О, какое счастье!

– Да. Да. Это факт.

– Какое счастье! Ведь это светлая личность.

– О, конечно! Мы можем не беспокоиться: уйдет из жизни действительно только человеческий хлам. Несправедливостям не будет места.

– Скажите, пожалуйста, дорогой гражданин, как вы думаете: я буду оставлен в живых? Я – очень хороший человек. Знаете, однажды во время крушения корабля двадцать пассажиров спаслись на лодке. Но лодка не выдержала чрезмерного груза, и гибель грозила всем. Для спасения пятнадцати пятерым пришлось броситься в море. Я был в числе этих пяти. Я бросился добровольно. Не смотрите на меня недоверчиво. Теперь я стар и слаб. Но тогда я был молод и смел. Разве вы не слыхали об этом случае? О нем писали все газеты. Четверо моих товарищей погибли. Меня же спасла случайность. Как вы думаете, меня оставят в живых?

– А меня, гражданин? А меня? Я роздал бедным все свое имущество и капиталы. Это было давно. У меня есть документы.

– Не знаю, право. Все зависит от точки зрения и целей Коллегии Высшей Решимости.

– Позвольте нам сообщить, уважаемые граждане, что примитивная полезность ближним еще не оправдывает существования человека на земле. Этак всякая тупая нянька имеет право на существование. Это – старо. Как вы отстали!

– А в чем же ценность человека?

– В чем же ценность человека?

– Не знаю.

– Ах, вы не знаете! Зачем же вы лезете с объяснениями, если вы не знаете?

– Простите, я объясняю, как умею.

– Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите! Люди бегут! Какое смятение! Какая паника!

– О, сердце мое, сердце мое!.. А-а-а… Спасайтесь! Спасайтесь!

– Стойте! Остановитесь!

– Не увеличивайте паники.

– Стойте!

3. Бежали

Бежали по улицам толпы. Бежали краснощекие молодые мужчины с беспредельным ужасом на лицах. Скромные служащие контор и учреждений. Женихи в чистых манжетах. Хоровые пев-

цы из любительских союзов. Франты. Рассказчики анекдотов. Билльярдисты. Вечерние посетители кинематографов. Карьеристы, пакостники, жулики с белыми лбами и курчавыми волосами. Добряки-развратники. Лихие пьяницы. Весельчаки, хулиганы, красавцы, мечтатели, любовники, велосипедисты. Широкоплечие спорщики от нечего делать, говоруны, обманщики, длинноволосые лицемеры, грустящие ничтожества с черными печальными глазами, за печалью которых лежала прикрытая молодостью холодная пустота. Молодые скряги с полными улыбающимися губами, беспричинные авантюристы, пенкосниматели, скандалисты, добрые неудачники, умные злодеи.

Бежали толстые женщины, многоедящие, ленивые. Худые злюки, требовательные и надоедливые, скучающие самки, жены дураков и умниц, сплетницы, изменницы, завистливые и жадные, сейчас обезображенные страхом. Гордые дуры, добрые ничтожества, от скуки красящие волосы, равнодушные развратницы, одинокие, беспомощные, наглые, просящие, умоляющие, потерявшие от ужаса все прикрывающее изящество форм.

Бежали корявые старики, толстяки, низкорослые, высокие, красивые и уродливые.

Управляющие домами, ломбардные оценщики, железоторговцы, плотники, мастера, тюремщики, бакалейщики, любезные содержатели публичных домов, седоволосые осанистые лакеи, почтенные отцы семейств, округляющиеся от обманов и подлости, маститые шулера и тучные мерзавцы.

Бежали густой, стремительной, твердой и жестокой массой. Пуды тряпья окутывали их тела и конечности. Горячий пар бил из ртов. Брань и вопли оглашали притаившееся равнодушие брошенных зданий.

Многие бежали с имуществом. Тащили скрюченными пальцами подушки, коробки, ящики. Хватали драгоценности, детей, деньги, кричали, возвращались, вздымали в ужасе руки и опять бежали.

Но их вернули. Всех. Такие же, как они, стреляли в этих, забегали вперед, били палками, кулаками, камнями, кусались и кричали страшным криком, и толпы бросались назад, оставляя убитых и раненых.

К вечеру город принял обычный вид. Трепещущие тела людей вернулись в квартиры и бросились на кровати. В тесных горячих черепах отчаянно билась короткая и острая надежда.

4. Процедура была проста

– Ваша фамилия?

– Босс.

– Сколько лет?

– Тридцать девять.

– Чем занимаетесь?

– Набиваю гильзы табаком.

– Говорите правду!

– Я говорю правду. Четырнадцать лет я честно работаю и содержу семью.

– Где ваша семья?

– Вот она. Это моя жена. А вот это сын.

– Доктор, осмотрите семью Босс.

– Слушаюсь.

– Ну, каковы?

– Гражданин Босс малокровен. Общее состояние среднее. Жена страдает головными болями и ревматизмом. Мальчик здоров.

– Хорошо. Вы свободны, доктор! Гражданин Босс, каковы ваши удовольствия? Что вы любите?

– Я люблю людей и вообще жизнь.

– Точнее, гражданин Босс. Нам некогда.

– Я люблю… Ну, что я люблю… Я люблю моего сына… он так хорошо играет на скрипке… Я люблю поесть, хотя, право, я не обжора… Я люблю женщин… Приятно смотреть, как по улице проходят красивые женщины и девушки… Я люблю вечером, когда устаю, отдыхать… Я люблю набивать гильзы… Могу пятьсот штук в час… И еще многое я люблю… Я люблю жизнь.

– Успокойтесь, гражданин Босс! Перестаньте плакать. Ваше слово, психолог!

– Чепуха, коллега! Сор. Самые заурядные существа! Бедное существование. Темперамент полуфлегматический, полусангвини-

ческий. Активность слабая. Класс – последний. Надежд на улучшение нет. Пассивность – семьдесят пять процентов. Мадам Босс – еще ниже. Мальчик пошляк, но, может быть… Сколько лет вашему сыну, гражданин Босс? Перестаньте плакать!

– Тринадцать лег.

– Не беспокойтесь. Сын ваш пока остается. Отсрочка на пять лет. А вы… Впрочем, это не мое дело. Решайте, коллега!

– Именем Коллегии Высшей Решимости, в целях очищения жизни от лишнего человеческого хлама, безразличных существ, замедляющих прогресс, приказываю вам, гражданин Босс, и вашей жене оставить жизнь в двадцать четыре часа. Тише! Не кричите! Санитар, успокойте женщину! Позовите стражу! Они вряд ли обойдутся без ее помощи.

5. Характеристики ненужных сохранились в Сером Шкафу

Серый Шкаф стоял в коридоре в главном управлении Коллегии Высшей Решимости. У него был обыкновенный солидный задумчиво-глуповатый вид, как у всех шкафов. Он не имел ни в ширину, ни в вышину трех аршин, но был могилой нескольких десятков тысяч жизней. На нем красовались две коротеньких надписи:

«Каталог ненужных».

И:

«Характеристики-протоколы».

В каталоге было много отделов и, между прочим, такие:

«Воспринимающие впечатления, но не разбирающиеся».

«Мелкие последователи».

«Пассивные».

«Без центров».

И так далее.

Характеристики были кратки, объективны. Впрочем, иногда попадались и резкие выражения, и тогда на обороте неизменно алел красный карандаш председателя Коллегии Ака, отмечавший, что бранить ненужных не следует.

Вот несколько характеристик:

«Ненужный № 14741

Здоровье среднее. Ходит к знакомым, не будучи нужен или интересен им. Дает советы. В расцвете сил соблазнил какую-то девушку и бросил ее. Самым крупным событием в жизни считает приобретение мебели для своей квартиры после женитьбы. Мозг вялый, рыхлый. Работоспособности нет. На требование рассказать самое интересное, что он знает о жизни, что ему пришлось видеть, – он рассказал о ресторане «Квиссисана» в Париже. Существо простейшее. Разряд низших обывателей. Сердце слабое. В 24 часа».

«Ненужный № 14623

Работает в бондарной мастерской. Класс – посредственный. Любви к делу нет. Мысль во всех областях идет по пути наименьшего сопротивления. Физически здоров, но душевно болен болезнью простейших: боится жизни. Боится свободы. По праздникам, когда свободен, одурманивается алкоголем. Во время революции проявлял энергию: носил красный бант, закупал картофель и все, что можно было: боялся, что не хватит. Гордился рабочим происхождением. Активного участия в революции не принимал: боялся. Любит сметану. Бьет детей. Темп жизни ровно-унылый. В 24 часа».

«Ненужный № 15201

Знает восемь языков, но говорит то, что скучно служить, и на одном. Любит мудреные запонки и зажигалки. Очень самоуверен. Самоуверенность черпает из знания языков. Требует уважения. Сплетничает. К живой настоящей жизни по-воловьи равнодушен. Боится нищих. Сладок в обращении из трусости. Любит убивать мух и других насекомых. Радость испытывает редко. В 24 часа».

«Ненужная № 4356

Кричит на прислугу от скуки. Тайно съедает пенку от молока и первый жирный слой бульона. Читает бульварные романы. Валяется по целым дням на кушетке. Самая глубокая мечта: сшить платье с желтыми рукавами и оттопыренными боками. Двенадцать лет ее любил талантливый изобретатель. Она не знала, чем он занимается, и думала, что он электротехник. Бросила его и вышла замуж за кожевенного торговца. Детей не имеет. Часто беспричин-

но капризничает и плачет. По ночам просыпается, велит ставить самовар, пьет чай и ест. Ненужное существование. В 24 часа».

6. За работой

Вокруг Ака и Коллегии Высшей Решимости образовалась толпа служащих-специалистов. Это были доктора, психологи, наблюдатели и писатели. Все они необычайно быстро работали. Бывали случаи, когда в какой-нибудь час несколько специалистов отправляли ни тот свет добрую сотню людей. И в Серый Шкаф летела сотня характеристик, в которых четкость выражений соперничала с беспредельной самоуверенностью их авторов.

В главном управлении с утра до вечера кипела работа. Уходили и приходили квартирные комиссии, уходили и приходили отряды исполнителей приговоров, а за столами, как в огромной редакции, десятки людей сидели и писали быстрыми твердыми неразмышляющими руками.

Ак же смотрел на все это узкими крепкими непроницаемыми глазами и думал одному ему понятную думу, от которой горбилось тело и все больше и больше седела его большая буйная упрямая голова.

Что-то нарастало между ним и его служащими, что-то стало как будто между его напряженной бессонной мыслью и слепыми неразмышляющими руками исполнителей.

7. Сомнения Ака

Как-то члены Коллегии Высшей Решимости пришли в управление, намереваясь сделать Аку очередной доклад.

Ака на обычном месте не оказалось. Искали его и не нашли. Посылали, звонили по телефону и тоже не нашли.

Только через два часа случайно обнаружили в Сером Шкафу.

Ак сидел в Шкафу на могильных бумагах убитых людей и с небывалым даже для него напряжением думал.

– Что вы тут делаете? – спросили Ака.

– Вы видите, я думаю, – устало ответил Ак.

– Но почему же в Шкафу?

– Это самое подходящее место. Я думаю о людях, а думать о людях плодотворно можно непосредственно на актах их уничтожения. Только сидя на документах уничтожения человека, можно изучать его чрезвычайно странную жизнь.

Кто-то плоско и пусто засмеялся.

– А вы не смейтесь, – насторожился Ак, взмахнув чьей-то характеристикой, – не смейтесь! Кажется, Коллегия Высшей Решимости переживает кризис. Изучение погибших людей навело меня на искание новых путей к прогрессу. Вы все научились кратко и ядовито доказывать ненужность того или иного существования. Даже самые бездарные из вас в нескольких фразах убедительно доказывают это. И я вот сижу и думаю о том, правилен ли наш путь?

Ак опять задумался, затем горько вздохнул и тихо произнес:

– Что делать? Где выход? Когда изучаешь живых людей, то приходишь к выводу, что три четверти из них надо вырезать, а когда изучаешь зарезанных, то не знаешь: не следовало ли любить их и жалеть? Вот где, по-моему, тупик человеческого вопроса, трагический тупик человеческой истории.

Ак скорбно умолк и зарылся в гору характеристик мертвецов, болезненно вчитываясь в их протокольно жуткую немногословность.

Члены Коллегии отошли. Никто не возражал. Во-первых, потому что возражать Аку было бесполезно. Во-вторых, потому что возражать ему не смели. Но все чувствовали, что назревает новое решение, и почти все были недовольны: налаженное дело, ясное и определенное, очевидно, придется менять на другое. Но на какое? Что еще выдумал этот выживший из ума человек, у которого была такая неслыханная власть над городом?

8. Кризис

Ак исчез.

Он всегда исчезал, когда впадал в раздумье. Его искали всюду и не находили. Кто-то говорил, что Ак сидит за городом на дере-

ве и плачет. Затем говорили, что Ак бегает в своем саду на четвереньках и грызет землю.

Деятельность Коллегии Высшей Решимости ослабела. С исчезновением Ака что-то не клеилось в ее работе. Обыватели надевали на двери своих квартир железные засовы и попросту не пускали к себе проверочные комиссии. В некоторых районах на вопросы членов Коллегии о праве на жизнь отвечали хохотом, а были и такие случаи, когда ненужные люди хватали членов Коллегии Высшей Решимости, проверяли у них право на жизнь и издевательски писали характеристики-протоколы, мало отличающиеся от тех, которые хранились в Сером Шкафу.

В городе начался хаос. Ненужные ничтожные люди, которых еще не успели умертвить, до того обнаглели, что стали свободно появляться на улицах, начали ходить друг к другу в гости, веселиться, предаваться всяким развлечениям и даже вступать в брак.

На улицах поздравляли друг друга:

– Кончено! Кончено! Ура!

– Проверка права на жизнь прекратилась.

– Не находите ли вы, гражданин, что приятней стало жить? Меньше стало человеческого хлама. Даже дышать стало легче.

– Как вам не стыдно, гражданин! Вы думаете, что ушли из жизни те, кто не имел права на жизнь? О! Я знаю таких, которые не имеют права жить даже один час, а они живут и будут жить годами, а с другой стороны, сколько погибло достойнейших личностей! О, если б вы знали!

– Это ничего не значит. Ошибки неизбежны. Скажите, вы не знаете, где Ак?

– Не знаю.

– Ак сидит за городом на дереве и плачет.

– Ак бегает на четвереньках и грызет землю.

– И пускай плачет!

– Пускай грызет землю!

– Рано радуетесь, граждане! Рано! Ак сегодня вечером возвращается, и Коллегия Высшей Решимости опять начнет работать.

– Откуда вы знаете?

– Я знаю. Хлама человеческого еще слишком много осталось. Надо еще чистить, чистить и чистить!

– Вы очень жестоки, гражданин!

– Наплевать!

– Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите!

– Расклеивают новые плакаты.

– Смотрите!

– Граждане! Какая радость! Какое счастье!

– Граждане, читайте!

– Читайте!

– Читайте! Читайте!

– Читайте!..

9. Были расклеены плакаты

По улицам бежали запыхавшиеся люди с ведерками, полными клейстеру. Пачки огромных розовых плакатов с радостным трескучим шелестом разворачивались и прилипали к стенам домов. Их текст был отчетлив, ясен и прост.

Вот он:

«*Всем без исключения.*

С момента опубликования настоящего объявления всем гражданам города разрешается жить. Живите, плодитесь и наполняйте землю. Коллегия Высшей Решимости выполнила свои суровые обязанности и переименовывается в Коллегию Высшей Деликатности. Вы все прекрасны, граждане, и права ваши на жизнь неоспоримы.

Коллегия Высшей Деликатности вменяет в обязанность особым комиссиям в составе трех членов обходить ежедневно квартиры, поздравлять их обитателей с фактом существования и записывать в особых «Радостных Протоколах» свои наблюдения.

Члены комиссии имеют право опрашивать граждан, как они поживают, и граждане могут, если желают, отвечать подробно. Последнее даже желательно. Радостные наблюдения будут сохранены в Розовом Шкафу для потомства».

10. Жизнь стала нормальной

Открылись двери, окна, балконы. Громкие человеческие голоса, смех, пение и музыка вырывались из них. Толстые неспособные девушки учились играть на пианино. С утра до ночи рычали граммофоны. Играли также на скрипках, кларнетах и гитарах. Мужчины по вечерам снимали пиджаки, сидели па балконах, растопырив ноги, и икали от удовольствия. Городское движение необычайно усилилось. Мчались на извозчиках и автомобилях молодые люди с дамами. Никто не боялся появляться на улице. В кондитерских и лавочках сластей продавали пирожные и прохладительные напитки. В галантерейных магазинах шла усиленная продажа зеркал. Люди покупали зеркала и с удовольствием смотрелись в них. Художники и фотографы получали заказы на портреты. Портреты вставлялись в рамы, и ими украшали стены квартир. Из-за таких портретов даже случилось убийство, о котором много писали в газетах. Какой-то молодой человек, снимавший в чьей-то квартире комнату, потребовал, чтобы из его комнаты были убраны портреты родителей квартирохозяев. Хозяева обиделись и убили молодого человека, выбросив его на улицу с пятого этажа.

Чувство собственного достоинства и себялюбие вообще сильно развились. Стали обычным явлением всякие столкновения и дрязги. В этих случаях наряду с обычной бранью донимали друг друга и таким ставшим трафаретным диалогом:

– Вы, видно, по ошибке живете на свете. Как видно, Коллегия Высшей Решимости весьма слабо работала.

– Очень даже слабо, если остался такой субъект, как вы.

Но, в общем, дрязги были незаметны в нормальном течении жизни. Люди улучшали стол, варили варенье. Сильно увеличился спрос на теплое вязаное белье, так как все очень дорожили своим здоровьем.

Члены Коллегии Высшей Деликатности аккуратно обходили квартиры и опрашивали обывателей, как они поживают.

Многие отвечали, что хорошо, и даже заставляли убеждаться в этом.

– Вот, – говорили они, самодовольно усмехаясь и потирая руки, – солим огурчики, хе-хе. И маринованные селедочки есть… Недавно взвешивался: полпуда прибавилось веса, слава богу…

Другие жаловались на неудобства и сетовали, что мало работала Коллегия Высшей Решимости:

– Понимаете, еду я вчера в трамвае и, представьте себе, нет свободного места… Безобразие какое! Пришлось стоять и мне, и моей супруге. Много еще осталось липшего народа. Толкутся всюду, толкутся, а чего толкутся – черт их знает! Напрасно не убрали в свое время!..

Третьи возмущались:

– Имейте в виду, что в четверг и в среду меня никто не поздравлял с фактом существования. Это нахальство! Что все это такое?.. Мне к вам ходить за поздравлением, что ли?..

11. Конец рассказа

В канцелярии Ака, как и раньше, кипела работа: сидели люди и писали. Розовый Шкаф был полон радостными протоколами и наблюдениями. Подробно и тщательно описывались именины, свадьбы, гулянья, обеды и ужины, любовные истории, всякие приключения, – и многие протоколы приобрели характер и вид повестей и романов. Жители просили членов Коллегии Высшей Деликатности выпускать их в виде книг, и этими книгами зачитывались.

Ак молчал.

Он только еще более сгорбился и поседел.

Иногда он забирался в Розовый Шкаф и подолгу сидел в нем, как раньше сиживал в Сером Шкафу.

Однажды Ак выскочил из Розового Шкафа с криком:

– Резать надо! Резать! Резать! Резать!

Но увидев белые быстро бегущие по бумаге руки своих служащих, которые теперь столь же ревностно описывали живых обывателей, как раньше мертвых, – махнул рукой, выбежал из канцелярии и исчез.

Исчез навсегда.

Было много легенд об исчезновении Ака, всякие передавались слухи, но Ак так и не нашелся.

И люди, которых так много в том городе, которых сначала резал Ак, а потом пожалел, а потом опять хотел резать, люди, среди которых есть и настоящие, и прекрасные, и много хлама людского, – до сих пор продолжают жить так, точно никакого Ака никогда не было и никто никогда не поднимал великого вопроса о праве на жизнь.

1919

Гибель Главного Города



Глава первая

В это утро редкие вялые толпы собирались на площадях и перекрестках улиц. Люди, немытые, не выспавшиеся, растрепанные, наскоро одетые, выбегали из домов, тревожно и нерешительно бродили вдоль улиц и встречали друг друга унылыми стонами-восклицаниями.

– Они пришли!

– Да. Они здесь!

Кто-то, закрыв глаза и прижав к груди руки, рассказывал:

– Они здесь. Я живу на окраине и слышал звуки труб. Они ликовали. Всю ночь играла музыка.

– А наша армии? Где наша армия?

– Она не в силах бороться с ними. По стратегической диаграмме Главного Генерала, опубликованной вчера, мы ослаблены на две и шесть десятых. Борьба была бы безумием. Солдаты заперлись и казармах. Они говорят, что их предали.

– Позор! Позор!

– Гибель!

– Всю ночь играла музыка.

– Сегодня они войдут в город.

– Смотрите! Смотрите!

Один из жителей Главного Города, невзрачный, по-видимому, больной, присел и поднял обе руки, устремив в небо испуганный и растерянный взгляд.

Высоко над Главным Городом кружился аэроплан.

Каждые несколько минут от него отделялась небольшая темная масса и по неровной наклонной линии падала вниз.

– Спасайтесь! – кричали отовсюду. – Спасайтесь! Спасайтесь!

Унылые фигуры, согнувшись и схватившись за голову, бежали по улицам и скрывались в домах.

Но вскоре опять выходили.

Оказалось, что враг-победитель бросал с аэропланов цветы… Самые настоящие, огромные связки гвоздик и роз…

– О, гнусные, жестокие люди!

– Разбойники!

– Звери!

– Подлые грязные души!

Каждый, даже самый мирный житель Главного Города, ругал победителей самым желчным образом. Цветы – вместо недавних снарядов. Цветы, бросаемые побежденным, униженным и растоптанным, – это была злая, бесконечно обидная насмешка.

Никто не брал этих цветов. Двух подростков, поднявших цветы из любопытства, толпа избила и сбросила с моста в реку.

Главный Город впервые сознал свой позор.

Магазины были закрыты. Трамвай остановился.

Многие носили траур.

А в разных частях города, на улицах, балконах, площадях и крышах валялись чужие цветы, обидно пестрели чужой дразнящей радостью, вызывая в жителях Главного Города стоны обиды и отчаяния.

Глава вторая

Ожидали, что неприятельские войска с триумфом вступят в город и пройдут по главным улицам, покоряя женщин и вызывая последнее отчаяние в душах мужчин.

Но ни один отряд не вступал. Неприятель расположился далеко за городом, только в некоторых отдаленных окраинах слышна была музыка, игра многих, как выяснилось потом, более пятидесяти, – соединенных оркестров.

По ночам над Главным Городом сияли огненные надписи неприятельских словесных прожекторов. Ни темном фоне ночного неба над Главным Городом появлялись огненные стихи неприятельских поэтов. В них говорилось о силе победителей, об

их культурности и милосердии. Вслед за стихами сверкали уверения, что жители Главного Города не будут обижены, что порядок жизни не будет нарушен, и только одно условие президент должен будет подписать. «Одно условие» было подчеркнуто.

Затем на небе печатались рекламы неприятельских торговых фирм про мыло, какао, часы и ботинки. Все небо до рассвета было покрыто этими рекламами. Жители плакали в домах. Подходили к окнам, смотрели на небо, читали рекламу про гнутую мебель или гигиенические наусники – и плакали.

Следующий день прошел спокойно. Музыка за городом смолкла. Перестали сыпаться и цветы. Только ночью опять назойливо и нагло пестрели на небе светящиеся объявления – бесконечные, бесконечные – уже более мелких и второстепенных фирм.

Глава третья

Президент Главного Города созвал наиболее деятельных членов парламента, представителей прессы и Главного Генерала и объявил им, что Главный Город погибает.

Все это знали: о гибели Главного Города писали много еще до победы неприятеля, но президента выслушали почтительно, – он был чрезмерно уважаем и был неповинен в поражении.

Многие из членов парламента подумали даже о необходимости выражения сочувствия ему как страдальцу и мученику.

– Главный Город погиб, граждане, – сказал президент.– Мы еще не знаем условий мира, но они будут ужасны. Призываю вас к спокойствию и мужественному терпению.

В его словах были: вескость и то, что вызывает успокоение.

– Надо напечатать воззвание, – предложил один из членов парламента.

– Да. Да. Непременно. Воззвание. Надо выбрать комиссию.

Комиссия была выбрана и воззвание составлено.

«Граждане Главного Города! – говорилось в нем. – Призываю вас к спокойствию. Ни одна бестактность не должна быть совершена по отношению к победившим. Не будем отвечать ни на одно оскорбление. Не обращайте внимания на цветы, рекламы и му-

зыку наших врагов. Будьте терпеливы. Да поможет вам Разум, единственный царь земли, покоритесь его единственной законной власти».

Воззвание не помогло. Ночью в разных частях города была слышна стрельба. Стреляли из ружей и пушек по объявлениям, назойливо заволакивавшим небо.

На одной из окраин образовался большой партизанский отряд, отправившийся воевать с победившим врагом.

Безумцев постигла жестокая участь: их обезоружили, разъединили, насильно вымыли, переодели и заставили слушать музыку, есть роскошную пищу и развлекаться в обществе прекрасных женщин.

Многие покончили самоубийством, многие были посажены в дома для умалишенных, а большая часть, опозоренная, высмеянная, не выдержавшая искуса, вернулась в Главный Город.

Глава четвертая

На пятый день торжества победы враг прислал парламентеров. Они прибыли без оружия и конвоя в открытом автомобиле и остановились у дома президента. Было их три человека: старик, женщина и высокий сухой прищуренный человек средних лет, на вид самый твердый и деловой из них.

Оказалось, однако, что главой делегации была женщина – среднего роста, костлявая, с приятной улыбкой и бесцветными глазами.

Она объявила президенту Главного Города, что ее народ не желает побежденным зла, не хочет ни насилий, ни мести, – он требует только одного: согласия на то, чтобы над Главным Городом выстроить новый город, над его площадями и улицами – новые площади и улицы, над его домами и мостами – новые дома и мосты.

Президент поднялся с кресла, взмахнул руками и – неудержимо заплакал.

Неприятельские парламентеры отошли от него и повернулись к стене. Женщина была возбуждена и, точно в недоумении, поводила плечами.

Когда президент перестал плакать, она подошла к нему и сказала – без участья, но и без жестокости:

– Не понимаю, почему вы волнуетесь, господин президент? Может быть, вы нас не поняли: ни один житель Главного Города, ни одно здание в нем не пострадают. Мы будем строить свой город над Главным Городом. О нашей технике вы, надеюсь, слыхали. Конечно, некоторые неудобства мы вам причиним: перед вашими окнами будут стоять стальные брусья – основания для наших домов и улиц. Но ведь это пустяки! Затем у вас, разумеется, будет темнее, чем сейчас, возможно даже, что в некоторых районах будет совсем темно, – что ж, будете пользоваться электричеством. Ничего не поделаешь! Воля моего народа священна. Я не уполномочена отменять ее.

Президент Главного Города молчал.

Враги были кратки, корректны и деловиты. Они не были сентиментальны. Кроме того, они отчетливо знали, чего хотят, и знали, что никакая сила на земле не помешает им осуществить свои желания.

– Почему вы это делаете? – спросил президент и шумно вздохнул. Он сразу почувствовал, что вопрос его больше следствие усталости, чем государственной мудрости.

– Да! – поправился он. – Это я так спросил. А скажите, что вы будете делать в Верхнем Городе?

– Мы будем жить там, – ответил вместо женщины старик и насмешливо кашлянул.

– Странно!

– Тут нет ничего странного, – сказала женщина.

– Вы хотите нас погубить! – вздохнул президент.

Нельзя сказать, чтобы и эта его реплика произвела большое впечатление на неприятельских парламентеров.

– Нет, господа, лучше убейте меня! Убейте! – трагически воскликнул президент и сделал жест отчаяния.

Парламентеры поморщились: их страна, богатая промышленной техникой, была бедна пафосом, и пафос президента был им открыто неприятен.

– Убейте меня! Я не выношу этого неслыханного позора. Жить внизу, во мраке, под вами, вечно встречаться с вами, смешаться с вами… О!

– Позвольте, – перебила его женщина, – жители Главного Города не будут нас видеть и не будут встречаться с нами. Только первые десять лет, покуда не закончатся работы внизу, а затем вы нас не будете видеть.

– Как так?

– Вход в Верхний Город жителям Главного Города будет строжайше воспрещен.

– Убейте меня! Убейте! Я не хочу разговаривать с вами. Да будет проклята культура, если она может быть так жестока! – опять взволновался президент. – Убейте меня! Разрушьте Главный Город, превратите его сначала в развалины, а потом стройте свой новый город. Я сегодня же организую восстание. Уходите! Переговоры я считаю излишними.

– Напрасно, – равнодушно ответила женщина. – Восстание вещь дикая. Да и бесполезная. Мы очень сильны. Но должна вам сказать, что путь культуры – вернейший путь.

– Как вы смеете говорить о культуре? – все с тем же пафосом, какого было немало в Главном Городе, вскричал президент.

– Мы именно о ней говорим. Мы говорим о подлинной культуре. Неужели вы думаете, что мы пощадили бы вас, если б не забота о сохранении вашей культуры? Мы считаем вас отжившим народом, но культуру вашу ценим, и свой город мы построим над вашим только потому, что хотим иметь и сохранить ваши здания, ваши прекрасные музеи, ваши библиотеки и ваши храмы. Только потому. Мы хотим иметь вашу старую прекрасную культуру у себя, так сказать, в погребе и выдерживать ее, как вино…

Глава пятая

Президент Главного Города обратился к победителям с просьбой освободить небо от коммерческих объявлений хотя бы на одну ночь, чтобы иметь возможность оповестить население об условиях мира и решении победителей выстроить над Главным Городом новый город.

Неприятельский штаб ответил, что нет особенной надобности в использовании для этого непременно неба, можно это сде-

лать путем печатных воззваний, но если уж президенту хочется использовать непременно небо, принадлежащее победителям, то можно вступить в переговоры с публикаторами, взявшими небо в аренду, и возместить им в соответствующем размере убытки.

Обсуждение этого вопроса в парламенте впервые обнаружило примиренческое течение центра. Один из ораторов умеренных групп произнес пространную речь, в которой доказывал, что со своей точки зрения, точки зрения победителя, неприятель прав и поступать иначе, чем поступает, он не может. Вступать на путь вечных пререканий и явно бесплодной борьбы поэтому неразумно. Необходимо, – по возможности, не откладывая, – выработать общие условия соглашения, а борьбу начать тогда, когда будут благоприятные обстоятельства.

Речь этого оратора вызвала сильное негодование. Ему был даже брошен упрек в продажности и в измене Главному Городу, а трех представителей крайних групп пришлось насильно вывести из зала заседаний.

– Не получили ли вы подряда на несколько улиц для Верхнего Города? – в исступлении крикнул один из выводимых злополучному оратору.

Президент Главного Города, осунувшийся, не спавший несколько суток, по поводу последнего упрека заявил парламенту, что никакие подряды гражданам Главного Города неприятелем даваться не будут, – это известно уже из устава постройки Верхнего Города, – и потому упрек представителя крайних групп не только незаслуженно оскорбителен, но и совершенно неоснователен.

Затем президент предложил прекратить бесполезные прения и выбрать комиссию для переговоров с арендаторами неба для освобождении его от реклам на одну ночь.

Комиссию выбрали.

К вечеру вопрос был решен: правительству Главного Города уступалась половина небесного свода для сообщения населению важнейших сведений.

Объявление писал сам президент. Оно было одобрено парламентом и вечером запестрело прямыми, суровыми и зловещими

красными буквами на синем таинственно равнодушном небесном своде:

«Граждане, – говорилось в нем, – мужайтесь! В последний раз вы смотрите на вольное, на наше небо. Отныне оно принадлежит не нам. Не для вас будут мерцать звезды, не для вас будет сиять солнце. Наш великий, чудесный и милый Главный Город будет огромным, темным, мертвенно электрическим склепом. Над ним будет выстроен новый город, и нам будет строжайше воспрещен вход в него. Десять лет будет строиться Верхний Город, и с каждым днем все меньше и меньше будет над нами вольного неба. Таково, дорогие граждане, страшное решение победителей. Терпите! Мужайтесь! Да поможет вам разум и единственная мудрость на земле – мудрость надежды. Не может быть, чтобы Главный Город погиб так ужасно и неотвратимо. Это испытание слепой судьбы. Да помогут нам надежда, бодрость и вера в счастливое изменение обстоятельств».

Дальше следовал сухой текст параграфов мирного договора.

Глава шестая

Это была неповторимая по тревожности ночь. Еще до опубликования объявления президента в Главном Городе начали распространяться слухи, что в десяти верстах от города неприятелем построены и наведены на Главный Город какие-то огромные металлические трубы.

В вечерних газетах высказывались тревожные предположения, что это сооружения для того, чтобы смыть объявление президента, если оно будет составлено в неприятном для победителей духе, – машины для устройства искусственного дождя или затмения неба.

Но экстренные выпуски полунощных газет опровергли это предположение: оказалось, что машины и трубы устанавливались неприятельской «Ассоциацией Действенной Философии» для производства всеслышного машинного систематического хохота над неудачами и ошибочными действиями правительства, политических партий и населения Главного Города.

Газета, первой сообщавшая о настоящей цели установки машин и труб, сопроводила заметку советом плотно закрывать на ночь двери и окна и по возможности не выходить на улицы, чтобы не слышать обидного, но – увы! – неотвратимого хохота.

Бульварные листки, выходившие по два-три выпуска в час, успели перепечатать это сообщение и снабдить его воинственными комментариями и угрозами, что граждане Главного Города не потерпят подобного издевательства, что нужно немедленно мобилизовать все барабаны, имеющиеся в Главном Городе, все звонки, колокола, гудки и прочие инструменты, могущие создать сильный шум, а если их окажется недостаточно, то не останавливаться и перед орудийной канонадой.

В два часа ночи раздались первые раскаты ужасного машинного хохота.

Ни с чем не сравнимый гнет его звуков заставил сердца всех живых существ, населявших Главный Город, забиться и сжаться.

Машинный хохот действовал двояко: смешил и удручал.

Никто не спал в эту ночь.

По улицам слонялись с диким хохотом подростки, взрослые, женщины, старики. Многие рыдали. Многие, поддаваясь заразительности машинного хохота, смеялись и плакали одновременно.

Были попытки и противодействовать работе этих поистине адских машин. Где-то барабанили, кричали, где-то что-то взрывали, все время была слышна стрельба, но вскоре ясно стало, что если хохот будет продолжаться, результаты его будут катастрофичны.

К президенту Главного Города обратилась депутация от ученых, гуманистических обществ и университетов с просьбой немедленно вступить в переговоры с «Ассоциацией Действенной Философии» и приложить все усилия к тому, чтобы прекратить деморализующий, бесчеловечный, неслыханный хохот.

Депутация представила президенту несколько докладов о непосредственных результатах чудовищной пытки всего за три часа. Даже по неполным сведениям, в пятимиллионном Главном Городе уже оказались десятки психических заболеваний, около восьмидесяти самоубийств и огромное, не поддающееся подсчету количество серьезных душевных потрясений.

Президент Главного Города принял депутацию, сидя у открытого окна. Он сидел совершенно спокойно, усталым взором вглядывался в смутные контуры домов и крыш. Даже наиболее резкие раскаты хохота, отчетливо напоминавшие хохот здорового, широкогрудого, умного и мстительного мужчины, не заставляли его морщиться.

Он спокойно выслушал взволнованных депутатов и, покорно исполняя просьбу, отдал письменно необходимые распоряжения.

Глава седьмая

К председателю «Ассоциации Действенной Философии» отправились на правительственном аэроплане двое: всемирно известный писатель, гуманистическим идеям которого удивлялся весь культурный мир, и ученый, которому гений и сорокалетний неустанный труд дали возможность освободить человечество от мора чахотки.

Не могло быть сомнений в том, что два этих человека окажут должное влияние на ученых победившей страны и заставят прекратить угнетающую форму философской проповеди.

В неприятельском лагере делегатов встретили, как и можно было ожидать, с почетом. Всего через полчаса они были приняты президиумом «Ассоциации», и ходатайство их было заслушано с величайшим вниманием.

Однако в удовлетворении ходатайства им было отказано.

Председатель «Ассоциации Действенной Философии», сморщенный старичок в круглых золотых очках, почтительно согнувшись и сложив руки на животе, заявил знаменитым делегатам Главного Города:

– Я был бы счастлив, если б мог сделать для вас приятное. Но, к сожалению, мы считаем невозможным упустить столь благоприятный момент для борьбы с устарелой бесплодной и, по нашим воззрениям, вредной эпидемией оптимизма, которой был охвачен Главный Город и жертвой которого он, как видите, пал. Конечно, прискорбно слышать о потрясениях и заболеваниях, сведения о которых содержатся в ваших докладах, но мы глубоко

убеждены, что морально перерожденных, оздоровленных и даже духовно воскресших лиц в Главном Городе окажется в результате значительно больше. Мы считаем нужным продолжать нашу проповедь хохотом еще девять часов. Небезынтересно отметить, что у его королевского величества до нас пытался получить разрешение на смех синдикат сатирических клубов и журналов, но нам вовремя удалось доказать научность и полноту единственно нашей формы проповеди, и Академия Наук предоставила монополию нам. У синдиката имелось намерение перемежать здоровый научный хохот со свистом, что является мерой довольно сомнительной, и еще некоторыми ироническими завываниями и улюлюканьем, целесообразность которых требует, конечно, самой строгой проверки, и вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения науки.

Глава восьмая

С этой памятной ночи прошло две недели.

Внешне в Главном Городе ничего не изменилось, если не считать возросшего количества пожаров. В числе их причин в пожарных бюллетенях отмечались поджоги библиотек и архивов, что было связано с кризисом мировоззрении у многих государственных деятелей и частных граждан.

Победители почти ничем не напоминали о себе. Углубление и укрепление своей победы они проводили путем официальных переговоров, изданием декретов и уставов.

Партизанские выступления отдельных отрядов прекратились. С своей стороны, победители перестали забрасывать Главный Город цветами, а музыки не было слышно уже давно. Только светящиеся объявления по вечерам заволакивали небо, но к ним жители Главного Города успели привыкнуть.

Магазины были открыты. Городское движение возобновилось в полной мере. Газеты и журналы выходили регулярно.

Начавшийся было массовый отъезд из Главного Города состоятельных граждан был прекращен запретительным неприятельским декретом, но и это не повергло общество в особенное уныние.

Дух апатии и равнодушия вообще с каждым днем все больше и больше охватывал население.

Кинематографические съемочные автоматы, имевшиеся на многих улицах Главного Города, беспрерывно снимавшие прохожих для изучения их «Обществом Любви к Человеку», сейчас давали на снимках большой процент фигур с вялой поступью, рассеянным и угнетенным выражением лиц и нервными движениями. В знак траура и протеста члены «Общества Любви к Человеку» носили на левой руке черную повязку.

В городе участились самоубийства. В газетах в отделе объявлений печатались предсмертные письма, признания и афоризмы самоубийц. Один старый почтенный голубятник отравил кокаином всех своих голубей – больше десяти тысяч, – выкрасил всех в черную краску и выпустил в город. Сам он отравился в тот же день, а бедные птицы обалдело носились по городу несколько часов и замертво падали на крыши и мостовые с жалобным воркованием.

Нравственность заметно пала. Тираж газет, занимающихся разоблачениями, значительно повысился. Большой успех имели расплодившиеся в огромном количестве юмористические листки, злобно и грубо высмеивавшие все, что вчера еще было дорого Главному Городу, во что все верили и чему поклонялись.

Лидеры партий, руководители общественных течений и групп занялись сведением личных счетов и взаимной травлей. Наблюдались всеобщая озлобленная растерянность и духовная опустошенность. Даже серьезные и правительственные газеты начали уделять много места личной полемике, не свободной от злобных обвинений, мстительных выпадов и желания обидеть, унизить, а не выяснить правду.

В сильнейшей степени развились наркотические клубы, азартные игры, разврат, потребление вин и сластей и, наконец, участились убийства и авантюры. Из последних наиболее характерным является процесс одного адвоката, который выдавал себя за агента победителей и тайно продавал жителям Главного Города за большие деньги подложные документы на право проживания в еще не выстроенном Верхнем Городе.

Все театры были открыты и переполнены равнодушными зрителями, ищущими забвения. Значительно участились концерты и балы. Но веселья на них не ощущалось.

«Общество Любви к Человеку» устраивало пышные карнавальные шествия для борьбы с унынием. На огромных автомобилях, украшенных цветами и пестрыми декорациями, кривлялись клоуны, пели певцы и показывали фокусы акробаты.

Глава девятая

Особым декретом победителей правительство Главного Города было смещено, а парламент распущен.

Вместо того и другого Главному Городу было предложено выбрать «Правительство Покорности» из шести человек:

1. Министр Тишины. Его задача – сведение шума Главного Города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего Верхнего Города.

2. Министр Вежливости. На его обязанности – оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих Верхний Город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей.

3. Министр Ответственности. Он отвечает за благонадежность жителей Главного Города, гарантирует путем создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего Города.

4. Министр Количества. Обязанность – нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность Главного Города не отразилась как-нибудь на благополучии Верхнего Города.

5. Министр Иллюзий. Обязанности – грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным.

6. Министр Надежд.

Последний должен развивать в жителях Главного Города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем.

Декрет заканчивался двумя примечаниями.

В первом сообщалось, что образовавшаяся в Главном Городе Партия Покорных обратилась к победителям с предложением переименовать Главный Город в Темный Город. На это его королевское величество изволил ответить, что переименование преждевременно, но просил выразить благонамеренной части населения, проявившей столь яркий акт мудрой покорности, благодарность.

В другом примечании Главному Городу разрешалось удовлетворить свою естественную потребность в негодовании в течение пяти дней. На эти дни победители уводят из окрестностей Главного Города все войска, чтобы ничем не помешать свободному проявлению чувств граждан Главного Города. Кроме того, правительство, армия и население победившей страны на все пять дней, предназначенные дли негодования, объявляют себя в состоянии высшей терпимости ко всему, что о них будет высказано в какой угодно форме.

Шестой и седьмой дни предназначены дли выборов в «Правительство Покорности», а к двенадцати часам восьмого дня все должно быть в точности выполнено, и «Правительство Покорности» сформировано, или Глааный Город будет беспощадно сметен с лица земли в несколько часов.

Глава десятая

Вскоре по требованию победителей началась энергичная работа по коренной дезинфекции Главного Города, который должен был быть абсолютно опрятным и здоровым, ибо должен был служить основанием для Верхнего Города.

Гражданам Главного Города сделали прививки против всех болезней. Бюро продуктов по настоянию властей вменило в обязанность всеобщее ежедневное потребление брома. Без аптечной квитанции и доказательства, что дневная порция брома принята, не выдавались продукты первой необходимости.

Главный Город представлял собою зрелище невиданное: люди всех классов, положений и состояний были одинаково чисто и опрятно одеты, причесаны и вымыты, а жилища их стали образцом чистоты и порядка.

Репрессии приходилось применять в самом незначительном масштабе.

«Правительство Покорности» проявило максимум энергии.

При Министерстве Вежливости организовались кадры инструкторов, агентов и полисменов. Они исправно несли свои обязанности, охраняя рабочих, уже закладывавших стальные и бетонные основания для Верхнего Города.

Главный Город зажил беспокойной спешной трудовой жизнью. Стоял несмолкаемый грохот от лязга железа и стали, стука молотков, скрипа резальных машин, металлического скрежета лебедок и гудков рабочих автомобилей.

Почти на всех улицах рыли ямы, мерили, устанавливали леса, а во многих районах на крышах зданий было так же людно, как на площадях и улицах.

Глава одиннадцатая

Прошло много времени.

Верхний Город рос не по дням, а по часам. Западная часть была уже почти готова. В ней поселились люди. Ежедневно на грузовых аэропланах вывозили сор. Вился дым из труб. Уже сжигали покойников в крематориях. Дети шли в школы. Были казармы и тюрьмы. Был дом для умалишенных. На широкой площади, расположенной над великолепным парком Главного Города, высился красивый и стильный дворец короля.

В Главном Городе стало уже почти совсем темно. Светлые квартиры незастроенных домов, то есть домов, над которыми еще виднелось небо, – сдавались по очень высоким ценам, но вскоре и эти дома застраивались.

Одно время в обществе и печати много говорили об искуснейшей декорации одного художника, удачно заменявшей небо для целых двух улиц и одной площади. Министерство Иллюзий выдало художнику медаль.

Вход в Верхний Город для жителей Нижнего Города был строжайше воспрещен. Этот пункт был одним из основных в своде за-

конов: за нарушение его сажали в специальные «Тюрьмы для любопытных», в которых был жестокий режим.

Министры «Правительства Покорности» успели несколько раз смениться.

В Главном Городе было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены. Два раза небольшие районы восстания были оцеплены стальным кольцом машин и войск и безжалостно залиты цементом.

Образовавшиеся огромные цементовые кубы, в которых было похоронено много жизней, назывались и «Кубами незрелых мечтаний».

«Ассоциация Действенной Философии» оба раза после победы над восставшими боролась с идеями оптимизма проповедью машинного хохота.

В периоды покорности и реакции «Ассоциация Действенной Философии» объявляла жителям темного Главного Города оглушительным криком исполинских граммофонов:

– Мы вас любим… Мы вас любим.

– Человек любит покорность ближних…

– Смысл жизни в страданиях и самосовершенствовании.

А однажды машина «Ассоциации» оглушительно кричала целый день:

– Познай самого себя!.. Познай самого себя!..

Из всех министров «Правительства Покорности» за все время не оставил своего поста только один Министр Надежд.

Он был стар и весел.

– Граждане! – проповедовал он каждое воскресенье. – Дорогие граждане! Надейтесь! Будет время, когда тяжелые обстоятельства изменятся. Мы снова увидим солнце и небо. Верьте! Самое главное, верьте и надейтесь!

Вскоре Верхний Город окончательно сформировался. Это был большой оживленный деловой и значительный город. Было в нем и много общественных течений, общественной борьбы партий. Были и партии равенства, справедливости, были и борцы за освобождение Нижнего Города. Они произносили горячие речи. У них были свои собственные органы печати, клубы.

Внизу, в Главном Городе, тоже были мечтатели, борцы за справедливость и равенство.

А в общем, и те, и другие жили неспокойно и тревожно, часто мучаясь и редко радуясь, но всегда или почти всегда надеясь, – как вообще живут люди на свете.

Глава двенадцатая

Ужас пришел неожиданно. В душный летний полдень на одной из окраин Главного Города взорвался завод. Опасность в пожарном отношении для Главного Города была предупреждена, и пожары обыкновенно прекращались в несколько минут.

Но на этот раз было иначе.

Пожарных встретили выстрелами. Стреляли раненные взрывом рабочие. К ним присоединились уцелевшие. Сотни пуль летели во все стороны из горящего здания.

Дух мятежа метнулся по Главному Городу. Откуда-то появились оружие, бомбы, орудия взрывов, взрывчатые вещества.

По улицам забегали люди с отчаянными криками:

– Вооружайтесь! Вооружайтесь! К оружию!

Тревожные звонки и гудки слышались на всех улицах.

Величайшая тревога объяла город.

Пожар охватил несколько домов, и площадь его все расширялась. Весь район был окутан черным едким дымом. Дым стлался по улицам, не имея другого выхода. Многие задыхались в дыму.

Отчаянные крики и стоны неслись отовсюду. Их заглушали звуки все новых и новых взрывов.

Кто поджигал дома? Кто взрывал мосты?

Неизвестно. Черные фигуры людей, как черти, метались в огне. Они пробегали, согнувшись, и исчезали.

Многие бежали по улицам с криками радости. Многие плакали от радости. Кто-то, захлебываясь в крике, командовал:

– Взрывайте мосты! Взрывайте дома! Жгите! Побольше жгите!..

Оглушительный взрыв потряс оба города. Из сотен тысяч грудей вырвались ликующие вопли.

Это взорвали парк, над которым высился дворец короля. Белый дворец покривился и рухнул. С каким дичком ломались деревья парка! Как гнулись и свертывались железные решетки мостов и заборов! Исполинские столбы огня, камней и пыли сменяли друг друга.

В Главном Городе потухло электричество. Тьма и мятеж превратили его в черный клокочущий хаос.

Смятение перебросилось и в Верхний Город.

Сотни тысяч пуль и снарядов посыпались сверху. Стреляли во тьму из всех щелей, из всех пробоин. Но новые взрывы взметали на воздух дома и улицы вместе со стреляющими.

Огонь, удушливый дым, тучи пыли, стекло, расплавленный металл и тела людей, тысячи тел кружились в вихревом и безумном столпотворении.

На площади при свете факелов, под треск выстрелов и грохот обвалов Министр Надежд обратился к толпе с призывом:

– Граждане! Бедные обезумевшие граждане! Остановитесь! Остановитесь, пока не поздно! Вас ждет смерть. Тому ли я учил вас столько лет?.. На что променяли вы дух мудрой надежды?.. На темный и слепой бунт… Остановитесь! Остановитесь, несчастные! Пожалейте себя и наш великий Главный Город! Остановитесь, пока не поздно!

Бедняга! Он был убит камнями, а его министерство взорвано вместе со зданиями Верхнего Города.

«Ассоциация Действенной Философии» пыталась что-то проповедовать при помощи своих машин, но они были отброшены столбом огня, а председатель, совсем уже старый и ветхий, еле успел спастись на одноместном аэроплане.

– Дураки! – кричал он, одиноко качаясь в голубом безоблачном небе. – Вам никогда не победить! Мир держится на разумном насилии, а не на диком самонадеянном бунте. Слепые восставшие черви! Презренные оптимистические телята! На что вы надеетесь?

Он задыхался на вольном воздухе, точно в петле, плевал вниз, где рушились дома, клокотал огонь, и умер от страха, злобы и горя.

Машина долго носила по воздуху его сморщенный и легкий труп.

Тысячи других аэропланов вылетали из Верхнего Города. На них спасались дети и женщины. Плач и крики наполняли воздух.

А внизу все чаще и чаще грохотали обвалы и взрывы. Яркий свет проникал в Главный Город. На многих улицах уже видно было небо.

– Да здравствует солнце! – кричали в радостном исступлении тысячи угоревших людей. – Да здравствует небо! Ура-а!..

В ответ сыпались снаряды, с могильным шипением лился горячий цемент, сыпался удушливый все проедающий смертоносный порошок.

Люди гибли без числа, а живые отвечали новыми оглушительными взрывами, пожарами и метким огнем обреченных.

На каждой улице происходил бой. Бились в квартирах, на крышах, под развалинами и под открытым небом.

– Взрывайте мосты! – кричали отовсюду. – Взрывайте Верхний Город! Жгите! Побольше взрывайте и жгите!

– Граждане! Граждане! Бегите из района рынков! Зовите всех! Сейчас обрушится вокзал Верхнего Города. Спасайтесь, граждане!

– Урра-а-а! Урра-а-а!

Вскоре вокзал обрушился. Страшный грохот не мог заглушить радостных воплей людей. Длинные цепи вагонов с оглушительным треском падали вместе с обломками зданий, вместе с мостами, перронами и рельсами.

Огневой вихрь, смерч из огня, железа и камней взвился к небу.

– Урра-а-а-а!

Большие отряды восставших взобрались по развалинам в Верхний Город. Он был наполовину пуст. Тысячи аэропланов спасали жителей. Им вдогонку посыпались проклятья, огонь и пули.

Войска рассеялись. Все казармы были взорваны Всюду бушевал огонь, качались и падали здания.

– Довольно! – кричали снизу. – Довольно! Мы гибнем! Остановитесь! Довольно!

Целые улицы заживо погребенных, с трудом пробиваясь сквозь горы развалин, умоляли о пощаде.

Но новые обвалы вновь хоронили их, убивали, сметали с лица земли.

Весь день и всю ночь шло великое разрушение, а к утру одинокие и усталые взрывы довершили гибель Главного Города.

Так просто и стихийно погиб он. Сложны и многообразны пути гнета. Нет предела в них человеческой фантазии, а путь к свободе прост, но горек.

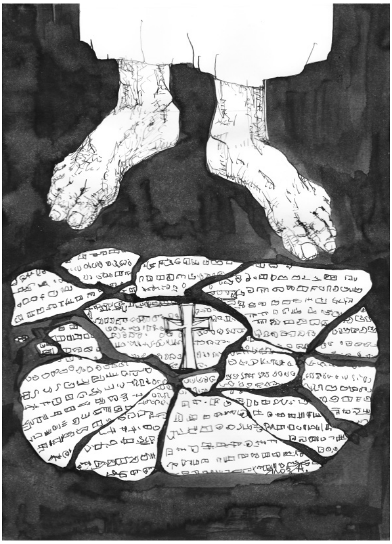
Верхнего Города не стало.

Было одно только море тлеющих и горящих развалин, чудовищные груды домов, дворцов, площадей, мостов и улиц, а среди искривленного хаоса железа, камней и дерева – редкие толпы черных оборванных и окровавленных людей.

Многие из них были ранены, многие умирали, многие плясали, потеряв рассудок, но и раненые, и умирающие, и безумные радостно и громко пели песни в честь яркого восходящего солнца.

1918

Исход



Тянулись дни за днями, садилось и всходило солнце, и все так же уныла и страшна, и бесконечна была пустыня. Сохли языки у людей и животных. От ветра и зноя, и горькой суши воспалялись веки. Фиолетовые миражи томили мозг. Вязли ноги в песке, и зябкая боль сковывала члены.

И все же народ продвигался. В горячем воздухе пестрели знамена колен и патриархов – красные, зеленые, бело-черные, лазоревые, темно-синие и цвета сапфира, и дымчато-розовые, и цвета хризолита, и смешанных цветов.

Стан за станом, отряд за отрядом грозной армией, взбивая пыль и дыша густым дыханием масс, уходил народ из рабства.

Позади оставались трупы уставших. Ночью, пугаясь необъятного чужого неба, выли собаки, жалобно кричали ослы, и только верблюды молча носили облезшие горбы свои, и одиноко и гордо покачивались на тонких шеях некрасивые вещие морды.

После года свободы даже у молодых появились морщины. Глаза стали глубже. Горькие складки легли у губ. Но народ шел, увлекая за собой малодушных, трусливых, привыкших к рабству. Слова Моисея уже казались обычными, знакомыми, но все же поднимали веру. На стоянках в отрядах пели. Молодежь отделялась и плясала, и в заученных, тоже всем знакомых песнях славословила свободу.

Но опять начинался исход, опять дни тянулись за днями, пухли ноги, горячий песок скрипел на болящих зубах, все больше оставалось мертвых на покинутом затоптанном песке, и грозные будни прекращали веселье.

– Куда ведет нас Моисей?
– Зачем он вывел нас из Египта?
– За что мучает нас этот человек?

Темнели лица. Наливались темной недоброй кровью. Скашивались сухие дрожащие злые рты.

По ночам под далеким странным звездным небом во тьме на песке собирались мужчины и женщины, старики и подростки и шептались-шептались, и едко, и злобно звучали приглушенные голоса в суровом мраке:

– Кто он такой, этот человек?

– Он честолюбец!

– Он мечтатель?

– Нет, он палач!

– Он хочет нашей гибели!

– Вы слышали? В стане Рувима вчера змеи искусали тысячу человек.

– Неправда, только пятьсот!

– Искусали их не змеи… Они умерли от усталости.

– Что будет с нами? Что будет с нами?

– Зачем, зачем он вывел нас из Египта?

– В Египте было так хорошо!

– Мы ели там финики.

– Мы пили там молоко с густыми сливками.

– Помните, в Египте были орехи. Какие прекрасные орехи!

– И мед был в Египте. И мед!

– Да. И мед. Все было в Египте.

– Братья! Вернемтесь в Египет!

– Тише! Трубят рога. Опять поход. Расходитесь, нас услышат шпионы Моисея. Ти-ше…

Неровным резким призывом трубил сигнальный рог. Далеко по пустыне перекатывались знакомые звуки – из стана в стан, из отряда в отряд. И опять шуршал и скрипел песок, зажигались факелы, грузно поднимались с колен верблюды; крики погонщиков, блеяние и мычание стад, нервная брань, толчея и суета движения заполняли воздух, и опять сотни тысяч ног, покорные единой мощной воле, пружинились от усилий, множество тел сливалось в живом потоке, и дух людской поднимался над головами, вьюками и знаменами в равнодушную неведомую высь.

Моисей сидел в шатре и напряженно думал. Лицо его было скорбно. Толстые губы решительно сжаты. В больших темных зрачках трепетала великая растерянность подлинной творческой мысли.

Наступал вечер. Лагерь расцветился огнями. Теплый живой гул стоял над ним. Синий дым костров вился в лиловом закате. Холодеющие холсты шатра дышали покоем.

Но Моисей не знал покоя. Предстоял бой с Амаликом.

Недалеко от шатра ждали люди. О них докладывали Моисею с утра. Они ждали. Томились. Заученно пели славу господу. Много волосатых, бородатых, почтенных, почтительных и непроницаемых. Томились в тесных черепах розоватые комья мозгов. Непроницаемо извивались в ненависти, страхе, трусости и мутной бесформенной злобе. Но рты были раскрыты. Пели. Заунывно, молитвенно. Усвоили форму: вздымали руки, кланялись, гнули тела к земле.

Такими они бывали почти всегда, но всегда же бывали и непроницаемы, и Моисей говорил с ними одним языком – языком обещаний. А они принимали обещания как должное и поклонами своими, и внешней покорностью, и безразличными пятнами лиц своих требовали еще и еще того же – благ и обещаний, благ и обещаний благ. И еще чудес требовали…

Затем поворачивались и уходили на прямых бездумных ногах, а от твердых затылков и плоских спин тянулась к большому сердцу Моисея тревожная острая боль.

– Они при первой возможности возведут себе золотого тельца, – сказал как-то Моисей Аарону, брату своему.

У Аарона были мясистые щеки и ласковый нрав. Он неопределенно усмехнулся и сказал:

– Пока ты жив, Моисей, это вряд ли случится!

– А если меня не будет?

– Тогда народ не забудет своего учителя, – уклончиво отвечал Аарон.

Моисей молчал. Аарону хорошо было знакомо это грозное молчание брата. Он знал, что оно легко может перейти в гнев, в гнев Моисея, когда голос его заглушал рев толпы, крики женщин, проклятия умирающих, когда люди, не вынося непонятного взрыва этой нечеловеческой энергии, падали наземь или бежа-

ли во все стороны, или же – чаще всего – каменели, не смея двинуться с места.

– Что вам нужно? – спросил Моисей у людей.

– Хлеба, мяса, – отвечали люди, перестав петь и открыв красные одинаковые рты.

– Завтра будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом.

Звонкий, открытый, цельный, прямодушно-наивный, святой и наглый голос, какой во все времена имеется во всякой толпе, произнес:

– И воды дай нам! Зачем вывел ты нас из Египта? Уморить голодом и жаждой хочешь нас!

И другой плаксиво добавил из-за спины:

– И детей наших. И стада наши.

Моисей стоял и молча слушал, склонив на грудь тяжелую седую голову.

Аарон и Ор подошли к нему и, желая успокоить, гладили по широкому могучему плечу.

– Что мне делать с этим народом?.. – сказал Моисей. – Еще немного, и они побьют меня камнями.

Затем, почувствовав холодок яркого одиночества, какое знает каждый вождь, уверенно и властно обратился к толпе:

– Жестоковыйные! Вы были гнусными рабами в Египте. Вас били палками по спинам и лицам. Вам плевали в глаза. Не было рабов более мерзких, чем вы! Ваших первенцев топили в реках. Красота ваших жен и дочерей блекла от непосильного труда. Кнут надсмотрщика сек их так же, как и вас. Как скоро вы забыли об этом! Как скоро! А сейчас вы искушаете господа вашего, который вывел вас, гнусных рабов, из дома рабства и дал вам свободу, и ведет вас в землю обетованную, текущую молоком и медом. Жестоковыйные! Не искушайте господа никчемным ропотом! Все будет у вас – и мясо, и хлеб, и мед. Все будет! Но вы слишком искушаете господа, и он шлет вам испытания, чтобы наказать вас. Знаете ли вы, что Амалик идет на вас, чтобы истребить род ваш, забрать в плен ваших жен и скот? В Рефидиме будет встреча его войск с народом израильским. Перестаньте роптать! Мужественно выдержите испытание. Идите сейчас, разойдитесь по станам и сооб-

щите народу, что будет бой. Примите бой с Амаликом, бейте врага нещадно, и господь поможет вам. Я буду стоять на холме и подниму руку, и поднятая рука будет знаком для истребления Амалика. Идите! Не ропщите! Господь простит вас за глупость вашу и истребит врага Израиля, как истребил войска Фараона.

...Шли сражаться свободные рабы. Шли лохматые, сутулые, крепкорукие, полуобернутые в разноцветное тряпье. Прощались с плачущими женами. Передние кричали: «Мы победим! Мы победим!». Остальные сурово молчали. Молча носили стрелы, камни, мечи.

Ночь была темна. Резко командовали тысяченачальники, сто-начальники, десятиначальники. Ржали кони, скрипели колесницы. Ветер выл во мраке, шуршал песком.

– Я не хочу умирать! Не хочу! У меня молодая жена. У меня был виноградник в Египте.

Тонкий рабий жалобно звенящий голос. Пауза. Затем короткая жестокая давка. Удар мечом по голове. Глухие проклятья, стоны и – тишина. Опять ровный мерный топот и хруст ночного влажного песка.

Бледный рассвет еле приподнял крышку необъятного темного ящика ночной пустыни. Редкие облачка, как не выспавшиеся барашки, сонно слонялись по небу. Потухали звезды. Хмуро уходил на запад мрак.

И вдруг в полоске рассвета зачернели люди. Множество людей на конях, с копьями, мечами и остроконечными головными уборами.

– Войска Амалика! Амалик! Амалик идет!

Поднялось солнце. Красными искрами замерцали копья.

Темная масса дрогнула, закачалась, ринулась вперед...

С криком, свистом и щелканьем бросились враги на евреев.

Зубастые, коричневые, широкоплечие, они криво неслись на конях, точно сросшись с ними, точно не люди, а жестокие, рукастые, колючие, драчливые придатки к животным. Их стрелы метко били в сердце. Камни дробили черепа. Столкнувшись с передовыми отрядами израильтян, они соскакивали с коней и, оглушительно крича, дрались, как взбесившиеся обезьяны, пуская в ход руки, ноги, зубы – все, что могли. От их беспредельной ярос-

ти обращались в бегство даже стойкие, мужественные, даже те, кто любил Моисея и лелеял мечту о свободе.

Кровавые пятна запестрели на песке. Крики, стоны, проклятия, скрежет и звон оружия, пыхтящий гул борьбы слились в сплошной сумасшедший шум, и вскоре в тылу, в мирном стане поднялась тревога.

Растрепанные женщины с детьми на руках пронизали воздух новыми криками и стонами. Хватали длинные кувшины и наполняли кипящим маслом. Ремесленники заметались с орудиями ремесел своих – молотками, поясами, пилами. Вихрь ненависти и страха спаял людей и даже животных. Лошади со вздыбленными гривами неслись по пустыне и били врагов копытами, впивались во вражьих коней разъяренными зубами.

Но все же Амалик побеждал. Все ближе и ближе падали люди. Уже вопли убиваемых и уводимых женщин звеняще прокалывали общий глухой смертный гул.

На горе показалась высокая фигура Моисея. Он стоял неподвижно. Смотрел на бегущие, вертящиеся и падающие людские завитушки. Стоял. Смотрел. Потом медленно властно поднял руку. Рука звала, толкала, толкала вперед – на врага…

День прошел. Садилось солнце. Синюю толпу туманов заливал бурый мрак. А рука все еще неподвижно чернела, простертая, железная, зовущая…

Люди сплотились, напряглись, бросились вперед. Разбили врага, отогнали.

…А руку Моисея, почерневшую от последней усталости, поддерживали Аарон и Ор.

…И опять начались будни.

Ели. Пили. Шли.

Останавливались, раскидывали шатры и шептались, шептались выпяченными жадными быстрыми губами.

– Взгляни, какой затылок, что за плечи откормил он себе на народном хлебе!

– Бездельник!

– Пустой мечтатель!

– Как вам нравятся его законы?

– Ничего! Потерпим! Скоро это кончится. Придут египтяне и снова возьмут нас к себе. Вы слышали, вчера мой погонщик говорил с людьми из встречного каравана. Они сообщили, что египтяне уже близко. Теперь народ благоразумен и не будет драться с ними. Я первый сдамся в плен.

– А вы знаете, фараон уже не будет гнать нас на работы, как раньше. Уже издан соответствующий приказ.

Люди приспособились к походной жизни. Шатры раскидывались умело и быстро. Семьи устраивались уютно. Животастые женщины, жиреющие на верблюжьих горбах, во время стоянок нежились на подушках. Вокруг костров резвились загорелые подросшие в пустыне юнцы. Юноши влюблялись в девушек. Часто устраивались пляски. Мужчины в пестрых одеяниях и женщины с золотом в ушах, на руках и на шее торжественно ходили в гости в соседние шатры, садились на ковры и подушки и беседовали:

– Ну, когда это кончится?

– Кто знает? Вероятно, скоро!

– Ведь это не жизнь!

– Да. Мы мученики.

– Помните, как хорошо было в Египте?

– Всего два года тому назад в это время у нас был изюм. Изюм! Подумайте, у нас был изюм!

– А я так тоскую по молодому зеленому луку. Какой чудный лук был в Египте!

– Это ужасно! Мы уже два года не варили варенья.

– Зато Моисей нас кормит законами. В этом блюде недостатка нет…

– Но говорите мне о Моисее. Надоело!

– Скажите, эти сандалии еще египетские? Или вы в пустыне сшили их? Какие красивые сандалии!

Без сна, без пищи, в каменной пыли, один на горе выбивал Моисей растерзанными до крови руками письмена на скрижалях. Звонко стучал молот, птицы испуганно кружились над горой, ветер уносил великую пыль…

– Где Моисей?

– На горе.

– Неправда! Так долго не может он быть на горе!

– Он покинул нас.

– И хорошо сделал! Наконец мы отдохнем!

– Он умер. Он умер. Я знаю.

– Люди видели, как он вознесся на небо. Идите в третий стан. Там есть одна старуха, которая сама это видела. Я сам слышал, как она рассказывала.

– На небо вознесся?

– Да. На небо.

– Ну, это все равно. Лишь бы подальше от нас.

– Тише! Могут услышать шпионы Моисея.

...Маленький человек, обыкновенный и ясный, и в то же время непонятный и неведомый, средний человек, знающий, что ему надо, и цельно выражающий свои желания, и твердо уверенный, что многие, многие хотят того же, вдруг крикнул:

– Идем к Аарону!

И у толпы появилась цель.

– К Аарону! К Аарону! Идем к Аарону!

Увеличиваясь в пути, толпа повалила к Аарону. Обыкновенные люди и в то же время непонятные в стихийном движении своем, взволнованные друг другом, с внезапной целью и внезапной решимостью, крича, изрыгая брань и проклятия, окружили шатер Аарона и страшно потребовали:

– Строй золотого тельца! Строй бога! Не нужен нам ваш господь, которого ни одна собака не видела!

– Строй! Моисея нет больше. Моисей умер!

Бледный черноглазый Хур вскочил на камень и с горьким возмущением крикнул:

– Жестоковыйные! Вы забыли все, что Моисей сделал для вас. Скоты! Глупые овцы! Подлые псы! Кто вас вывел из дома рабства? Гнусные вечные рабы! Прокаженные души, неспособные почувствовать свободу!

Хур был подхвачен множеством рук и тут же растерзан. Через несколько минут мертвый лежал он в песке, а старики добивали замученное тело ремнями и палками, а один остервенело колотил мертвого твердой сандалией по черепу.

Привели Аарона.

– Если не хочешь того же, строй тельца!

– Строй, пока не поздно!

Аарон подумал и сказал:

– Братья! Господь бог наш – господь единый. Я вам советую подождать Моисея. Он не умер! А что касается золотого тельца, то, конечно, это не то, что господь бог, но можно, если вы хотите, построить и тельца. Может быть, через золотого тельца вы придете к господу богу. Может быть, путь постепенный – верный. Принесите золото, и я возведу вам золотого тельца.

Из стана в стан перебросилось живое буйное веселье.

Стоял толстый золотой телец на четырех ногах, и все было так ясно, так понятно.

Вернулась прежняя жизнь, привычная, знакомая. Кончилась суровая тягость непонятной новизны. Милый золотой телец! Как все просто и понятно с ним несложным душам! Старики бились старыми лбами об его неуклюже сколоченные ноги. Женщины в умилении стояли перед ним на коленях и визгливо просили благословения.

Но вскоре и этого стало мало.

Разъяренные люди с мечами в руках носились по шатрам и арестовывали тех, кто не хотел молиться золотому тельцу. Делали обыски, находили золото и кричали:

– Смотрите! Смотрите! У них золото! Они не хотели отдать золото для тельца! Бой их!

Били. Тащили из шатров на песок и проламывали головы. Громили шатры. Гнались за убегавшими.

Но постепенно буйство сменялось весельем. Веселились и, между прочим, били, пока окончательно не увлеклись весельем. Прыгали вокруг золотого тельца, снимали платье, прыгали голые, орали, пели, пили вино. Молодые дурачились, хватали женщин, удалялись с ними под навесы. Старухи выползли из шатров и беззубо хохотали провалившимися ртами. Слава богам! Все кончилось. Стоит золотой телец. Вернулось старое, привычное, понятное…

…Моисей спускался с горы, неся скрижали.

Первый автор шел с первой книгой в руках. Кто поймет, как дрожали эти руки?.. Кто почувствует, как билось сердце Моисея?

Моисей услышал гул.

– Что это такое? – спросил он Иисуса.

– Это гул сражения в стане, – ответил Иисус.

– Нет, это не гул победы и не гул поражения. Гул песен слышу я.

Он приблизился к стану. В угаре криков, хохота, рева, дыма и музыки стоял золотой телец на четырех толстых ногах…

Слезы брызнули из суровых глаз Моисея.

Он поднял скрижали, высоко поднял, бросил на землю и – разбил.

«Люди не доросли до скрижалей!» – горько подумал он.

Моисей внимательно, внимательнее, чем всегда, посмотрел на плотную человеческую резину лица Аарона и спросил:

– Что тебе сделал этот народ, что ты ввел его в такой великий грех?

Аарон ответил:

– Да не возгорится гнев господина моего! Ты знаешь этот народ: он глуп и темен. Он не дорос до понимания господа. Они велели мне сделать им бога. Понимаешь, они заставили!

Моисею не о чем было говорить с Аароном. Он ушел. Ушел на край стана и внешне спокойно, но могуче, оглушая все вокруг себя, крикнул:

– Кто за господа, ко мне!

Один раз крикнул и стал ждать.

Стан замолк. Мрачное молчание сковало людей.

И вскоре раздались шаги. Шли к Моисею. Кто? Люди. Юноши со светлыми глазами, девушки, загорелые воины – все, кто хотел новой жизни, кто не забыл рабства и не хотел вернуться к нему.

Весь день шли. Из всех отрядов, из всех станов.

Когда людей собралось много, Моисей приказал:

– Возложите каждый меч свой на бедро свое, пройдите по стану из конца в конец, от ворот до ворот, и убивайте: кто брата своего, кто друга, кто ближнего. Бейте нещадно! Не жалейте ни отца, ни сына, ни матери. Сегодня посвятите себя господу, чтобы дано было вам сегодня же благословение.

Несколько тысяч человек было убито сразу.

Лежали грудами изувеченные трупы с застывшими мольбами на губах и скрюченных пальцах. Рваное платье, залитое кровью, ненужно пестрело на ненужных ногах, животах, головах и спинах.

Лежали бывшие отцы и матери, дети и друзья, красавицы женщины, умницы и весельчаки, добрые и злые, трусливые и мужественные – всякие, во всем многообразии человеческих отличий, но одинаково повинные в том, что не хотели новой жизни.

– Моисей, Моисей, что сделал ты с нами?

– Моисей, скажи господу, чтобы он пощадил нас!

Моисей молчал. Суровая дума бороздила лоб.

Он прошептал в раздумьи, как бы про себя:

– Господь сказал мне: «Я помилую, кого надо помиловать, и пожалею, кого надо пожалеть».

…А небо жило своей жизнью.

К вечеру на западе собирались все краски и образовывали толпу из разноцветных пятен. Как знатные гости, толпились они вокруг хозяина-солнца, а солнце торжественно удалялось, красное и важное. И разноцветные гости обижались, темнели, вытягивались и расходились… А наутро опять появлялись и ждали солнца, которое важно появлялось, для того чтобы опять разогнать их… Для чего все это?

Моисей шел на гору, долго смотрел на небо, искал бога, одиноко говорил с ним, падал в изнеможении наземь, потом возвращался к людям, и люди опять рождали в ном суровые решения…

Так в одно утро Моисей пришел к спящему Аарону и разбудил его.

– Что заставило тебя так рано прийти ко мне? – спросил Аарон.

– Этой ночью, размышляя о мудрости божественной, я остановился над одним вопросом, – сказал Моисей.

– Над каким?

– Что сказать об Адаме, который грехопадением дал смерти доступ к миру? Долго ли нам осталось жить?

Аарон знал, что бездейственные рассуждения несвойственны Моисею. Разговор Моисея о смерти был страшен.

– Не о моей ли смерти говоришь ты? – дрожащими губами спросил Аарон.

– Да. О твоей. Ты должен умереть.

Аарон похолодел. Мелкая рябь ужаса поползла по спине его – точь-в-точь, как ползет она у всех людей во все времена перед смертью.

– Моисей, брат мой, сердце трепещет во мне, и ужасы смертные напали на меня, – взмолился Аарон.

– Ты должен умереть, – неотвратимо повторил Моисей.

Аарон был уведен на гору и не вернулся.

Люди узнали. Собирались. Говорили.

– Это Моисей убил Аарона из зависти.

Когда Моисей спустился с горы, его спросили:

– Где Аарон?

Моисей холодно ответил:

– Господь принял его для жизни вечной.

– Мы не верим тебе! Ты приговорил его к смерти.

Жалели Аарона. Он был такой покладистый, а главное, такой понятный. Моисей же был суров и требователен.

Даже в пустыне было тесно таким братьям.

Желтые пески пустыни были все так же унылы и бесконечны. Много жизней нашли вечный покой в этих песках, а живые продвигались и продвигались вперед.

Моисей состарился, но твердость и мудрость не покидали его.

«Еще долго будете блуждать в пустыне, – говорил он мысленно народу. – Прямым путем я поведу вас в землю обетованную. Нет! Если прямо привести туда, займется каждый своим полем и своим виноградником. Нет! Надо сначала дух истины господней внедрить в ваши рабские души. Долго еще вам блуждать, долго, долго…»

И Моисей учил народ истине, работал для этого неустанно, а по вечерам уходил один в пустыню, смотрел на закат солнца и унылые волны темнеющего песка.

1920

Каин и Авель



1. У Каина были дерзкие странности

Хлестал ливень. Гнул деревья. Топтал траву. Бил длинными толстыми злыми водяными воронками. Овцы сбились в темную неразрывную массу и тяжко, болезненно дышали друг на друга, в теплые вздрагивающие тела, в намокшую скользкую дымящуюся шерсть.

В стучащей хлещущей тьме кричали испуганно птицы, которых ливень выбивал из гнезд, выметал из густолиственных прикрытий.

Даже крепкий, железными руками Каина сколоченный шалаш, – из кож, дерна и сучьев, осклизло осел, приплюснулся, и с одного края вовнутрь лилась вода.

Адам лежал в шалаше, прикрытый двумя овечьими шкурами, и мычал – длинно, неопределенно, с однотонным завыванием. Завывания усиливались, когда тьму терзала молния и оглушительно, раскатисто бился в пространстве гром.

Адам тревожно вскидывал голову, смотрел полуобезьяньими заросшими глазами на мгновенно освещенные молнией, такие знакомые, а теперь синие, странные и чужие поля, завывал еще унылее и укрывался овчиной.

Ева молчала. Ее большой белый лукавый лоб был озабочен. Тонкие губы сжаты. Грудь дышала учащенно, а сильные толстые пальцы перебирали волнистые волосы Авеля, лежавшего у ее ног.

Она ласкала Авеля, но не замечала его, как не замечала и Адама. Она молилась извечной молитвой матери, безмолвной, застывшей в белках округленных настороженных глаз.

«Господи, – молилась она, – на полях темно и страшно. Огонь, вода и гром. А Каина, моего сына, нет. Господи, спаси моего сына! Спаси от огня, грома и воды!»

Когда сила ливня несколько ослабела, Ева спросила:

– Авель, где Каин?

– Он пляшет, мама, – нежно и мягко, как говорил почти всегда, ответил Авель. – Он любит плясать под ливнем и громом. Он скачет и сгибает руки и ноги.

– Но где он?

– В поле около леса, мама!

Ливень ослаб, и сквозь притихший усталый шум бегущих струй послышался вдруг громкий, неприятный, грубый и резкий человеческий крик. В этом то ровном и могучем, то визгливом дурашливом крике клокотало беспричинное веселье, ликующий избыток сил, танцующая шалая энергия крепкого тела и необузданной души.

Все трое молчали.

Они знали, что это кричит Каин. Они давно привыкли не говорить об его странностях, об его чудачествах. В молчании первой семьи безмолвно родилась ложь семейного самолюбия. Один Авель хотел обратить внимание матери на странности брата, но знал по опыту, что мать не любит в нем его недоброжелательной и завистливой наблюдательности.

Когда прекратился ливень и начало светать, и небо было виновато чисто, и темные тучи покаянно расползались по краям его, – у входа в шалаш показалась сумрачная фигура Каина.

Полосы на голове его были мокры и блестящи. С полуголого тела стекали капли. Он устал. Огромные руки свисали вдоль темного волосатого тела. Он тяжело дышал, и все же был красив.

Темной буйной силой веяло от него, и Ева, одна не спавшая всю ночь, взглянув на Каина, подумала с непонятной ей самой взмывающей гордостью то, что сказала вскоре после его рождения:

– От господа приобрела я человека.

2. Люди узнают друг друга

Каин был землепашцем. Земля была крепка и равнодушна. Она скупо давала всходы. Скупо давала хлеб. Ее нужно было глубоко взрыхлить, прежде чем класть семя, и заостренные колья,

которыми взрыхлял землю Каин, быстро притуплялись. Каин должен был часто валить деревья и делать новые колья.

Как-то он расшатал плотное крепкое дерево и надеялся повалить его и обломать. Но корни не отпускали дерева, держали с непонятной мощью, и Каин рассвирепел. Шея налилась красным. Огромные мускулы вспружинились и заблестели, как шары. Изо рта вырывались клубы пара.

Потный, жаркий, страшный, он бросился на дерево, могучим усилием пригнул к земле, хотел лечь на него, но оступился, и дерево, отогнувшись, ударило его по лицу.

Каин, рыча от боли, упал.

Но сейчас же опять вскочил, громко визжа и плача, вновь набросился на дерево, охватил окровавленными руками, задыхаясь от крика и усилий, вырвал с корнями и упал вместе с ним на траву.

Авель сидел неподалеку и пас стадо. В позе его, волнистых волосах и голубых глазах сиял безмятежный мир. Глядя на тяжкие усилия Каина, он внутренно радовался и даже повизгивал от удовольствия, доставленного зрелищем борьбы. Но увидев страшные белки брата, отвернул лицо и сделал вид, что не замечает Каина.

Дли вящей бесстрастности он даже запел свою любимую песенку:

У меня есть одна овца,
И еще есть одна овца у меня,
И еще есть одна овца у меня,
И есть много, и еще одна овца есть у меня.

3. Еще о нравах братьев

Каин был даровит, а Авель только наблюдателен. Авель тайно верил брату больше, чем себе. Если Каин говорил, поглядев на небо, что завтра будет дождь, то Авель был уверен, что дождь будет, но почему-то пытался спорить. Когда Каин, поглядев на большую овцу, говорил, что она издохнет, Авель знал, что это будет так, но опять-таки пытался спорить.

Каин презрительно отплевывался и показывал ему локоть, что он делал с исключительной целью условного оскорбления Авеля, а Авель в бешенстве отвратительно оголялся перед Каином, но этот вид оскорбления не действовал: Каин смеялся.

Каин рисовал палкой на песке птиц, и Авелю рисунки нравились. Но когда он хотел получше разглядеть их, Каин грубо и неприятно хохотал, отталкивал Авеля и затаптывал рисунок.

Авель был счастлив, когда Адам однажды рассердился на Каина, набросился на него, избил камнем и до крови искусал живот. От радости Авель побежал к реке, прыгал там и потирал руки, а потом вернулся со смиренным видом.

Адам недолюбливал Каина. Ева внешне тоже была холодна к нему, и в нелюбви к Каину Авель черпал свое утверждение, свое оправдание. Ему было тяжело оттого, что он сравнивал себя с Каином и нуждался в оправдании, а Каин в оправдании не нуждался.

Почти каждый день Авель обращался к Каину со всякими предложениями, и почти всегда отвергал их Каин.

Холодно и грубо отвергал, с хохотом и оскорблениями, и Авель, предлагавший для того, чтобы хоть в чем-нибудь быть первым, всегда оказывался вторым и отвергнутым.

Только одного никогда не предлагал Авель: своей помощи в работе, хотя сам помощью Каина пользовался.

– Каин, помоги мне успокоить быка, он бодается! – прибегал испуганно Авель.

Каин помогал, а потом хмуро бросал Авелю:

– Ты ничтожен, слаб, как прах, который мы топчем ногами.

И с грубым хохотом показывал ему локоть.

4. Первая драма из-за собственности

Авель сказал Каину:

– Отчего ты пьешь молоко от моей коровы? Пей от своей.

– Это моя корова, а не твоя, – отвечал Каин.

– А та корова? – показывал Авель на другую. – Тоже твоя?

– И та моя. Коли я захочу, то буду пить молоко и от той коровы.

Авель испуганно молчал.

Каин неприятно засмеялся и вдруг сказал ту страшную фразу, от которой до сих пор стонут люди, и, главное, сказал ее несерьезно, смеясь, почти издевательски:

– Авель, поделим мир между собою.

Он явно смеялся, но Авель принял предложение всерьез:

– Поделим! Поделим! Стада будут моими, а земля пусть будет твоей.

– Хорошо! – хохотал Каин.

Авель погнал стада в поле, а Каин крикнул ему, смеясь:

– Земля, по которой ты ходишь, моя!

Авель остановился, тревожно подумал, но нашелся:

– А одежда, которая на тебе, не от шкур ли моих овец?

– Прочь с моей земли! – смеялся Каин.

– Долой одежду от моих овец! – серьезно и тревожно кричал Авель.

И вдруг подбежал к Каину, побелевший от злобы и страха, дрожащий от бешенства, задыхающийся. Лицо его запрыгало, рот покривился. Он заплакал и жутко закричал:

– Мои овцы! Мои коровы! Мои козлята! Мои телята! Мои быки! Мои! Мои! Мои! Слышишь, Каин, мои!..

Он был противен, и Каин, холодно смеясь, отстранил его рукой.

Авель схватил камень, размахнулся, но Каин вырвал камень. Началась драка.

С разодранными шкурами на полуголых телах, они гнались друг за другом по полям и холмам, и по лесу.

Гулкое первобытное эхо повторяло громкий визгливый крик, слова: «Мои! Мои! Мои!» и свирепый мужественный рев, и яркий страшный хохот...

Но хохот едва не погубил Каина. Благодаря ему Авель осилил брата, прижал к земле и начал душить, бить и мять.

– Авель, – сказал Каин, – нас двое на земле. Умертвив меня, что ты скажешь отцу нашему?

Об отце и матери часто вспоминал Авель, и Каин теперь повторил этот непонятный ему довод бессознательно.

Авель оставил брата и ушел.

Каин остался лежать около леса. Он закрыл глаза – не от боли, а от тяжкой думы, от первой думы о судьбе человека на земле.

Кругом было тихо. О чем-то думали морщинами коры деревья, но думали о своем. Лицо земли было спокойно, величаво, бездумно, и яркое сияющее солнце ослепительно равнодушно освещало первое место первой братской борьбы.

5. Адам отстал от века и ничего не понимает

Адам со спокойным отцовским добродушием смотрел на лица сыновей своих. Одно лицо было в синяках и кровоподтеках. На другом кровь смешалась с грязью и землей и застыла бурыми пятнами к бороде.

– Какой зверь напал на вас, дети мои? – сказал он.

– Это не зверь, а человек. Каин, брат мой, напал на меня, – солгал Авель.

Каин молчал.

– За что он напал на тебя?

– За то, что мы поделили мир между собою, а он хотел взять себе то, что мое.

Адам ничего не понял, Из заросших глаз его струилось недоумение.

– Что значит: мое?

Авель пытался объяснить ему, но Адам все же ничего не понял. Он тер черной широкой ладонью крепкий лоб.

– Ты стар, отец! Ты не понимаешь, – раздраженно сказал Авель.

Адам ушел в поле. Ушел далеко, тяжело ступал широкими толстыми прямодушными и добродушными пятками. Упорная новая странная мысль гвоздила голову:

– Мое. Что значит мое?

Ветер шелестел в траве, теребил волосы. Пели птицы, рычал вдали зверь. Красное солнце стояло на краю поля.

Адам смотрел на все и точно видел впервые.

– Мое. Что мое? И что не мое?!

Он подошел к виноградникам и стал есть густой опьяняющий плод.

Тяжелая новая мысль мучила. Он влез на дерево. Сел на сук. Смотрел. Думал. Нечаянно уснул и свалился.

Было темно. Звезды блистали. Пряно благоухали травы.

Адам чесал голову твердыми пальцами, гладил ушибленное место. Вернулся в шалаш и вдруг подрался с сыновьями. Кричал что-то непонятное и свирепо бил чем попало. Ева кричала пронзительным криком. Каин бежал в лес. Еле успокоили старика к утру.

6. Неопровержимый факт: Каин убил Авеля

Каин убил барана, развел костер и приготовлял себе ужин. Игра пламени занимала его, и он прыгал вокруг костра и кричал. Для того чтобы никто не мешал ему, он расположился вдали от семейного шалаша.

– Каин, отчего же ты взял и убил моего барана? – спросил Авель.

Каин продолжал прыгать вокруг костра и развлекаться. Но Авель не отставал.

– Отчего же ты взял моего барана?

И Каин вдруг схватил тушу барана вместе с камнями, на которых она лежала, могуче размахнулся и ударил брата по голове.

– Вот тебе твой баран! – крикнул он.

Два тела – мертвого барана и человека – слились на мгновение в одно странно безобразное целое и вместе покатились по земле. Тяжелый хлопающий удар откликнулся эхом в лесу, и облако пыли взбилось кверху.

Каин ушел.

Он работал весь день. Работал еще охотнее, чем обычно, но еще до захода солнца бросил кол, которым взрыхлял поле, и задумался. Ему показалось, что отец спрашивает у него:

– Каин, где брат твой Авель?

И он мысленно ответил:

«Что я – сторож брату моему?»

Но мысленный ответ не успокоил его, а встревожил. Первая вспышка человеческой совести была мучительна. Он побежал к месту драки и остановился.

Авель и мертвый баран одинаково неподвижно лежали в пыли.

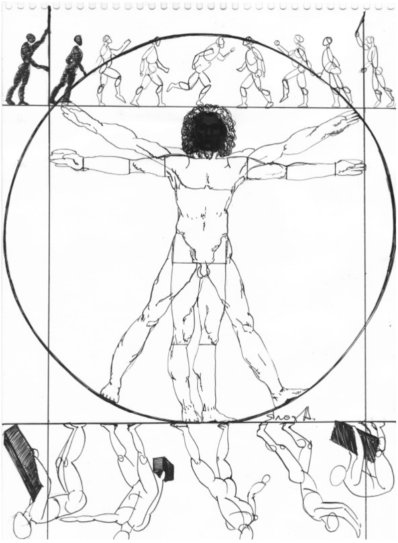
Острая боль сжала сердце Каина. Впервые на земле человек почувствовал себя слабым. Каин был первым человеком, нуждавшимся в душевной помощи, в сочувствии. Он был первым, кто узнал одиночество.

Но сочувствия не было уже тогда. На землю торжественно ложились туманы, точно именно это самое важное. Клубились медленно тучи на небе. Торжественно всходило и заходило солнце. Всякие травки тянули кверху узенькие существования свои, жирные червячки розово копошились в земле, птицы пели, звери рычали, и все были бесконечно заняты своими делами. До горя человеческого никому не было дела.

И Каин ушел в страну Нод, неся на широких плечах своих проклятие еще не родившихся людей и клевету будущих поколений.

1919

Живая мебель



1. Как жил господин Икай

Господин Икай сидел на спине человека, стоявшего на четвереньках. Человек служил ему креслом. Это кресло было удобно: сидение – теплое и прочное, спинка – нежная и ароматная, ибо это была грудь молодой здоровой женщины, умевшей стоять неподвижно, а перилами кресла, на которых покоились руки Икая, были изящные плечики двух девочек-подростков. Эти девочки были настолько крепки, чтобы выдерживать тяжелые руки Икая, и в то же время настолько чутки, чтобы улыбаться именно тогда, когда культурному человеку тоскливо и так хочется, чтобы ручки кресла улыбались.

Икай был мягок и по-своему сердечен: он берег свою живую мебель.

Выносливый человек, на спине которого он сидел, а также женщина и девочки, – все составные части кресла, – часто, в определенные сроки, чередовались. Их сменяли такого же роста, телосложения и качества люди.

Господин Икай любил свое кресло и сидел в нем всегда, когда размышлял.

На этот раз его размышлениям помешал секретарь.

– Что вам нужно? – мягко спросил Икай.

– Испортилась спица в левом колесе, – сообщил секретарь.

– Совсем?

– Да.

– Похоронили?

– Да.

– Как же это случилось? Вы знаете, я не люблю неосторожности.

– Это был несчастный случай, господин Икай. Ваша супруга пожелала кататься с горы к морю. Колеса завертелись слишком

быстро, и в четвертом колесе спица сорвалась. Смерть наступила мгновенно.

– А сколько учился неудачник? – задумчиво спросил Икай.

– Два года.

– Запасных спиц много?

– Достаточно, господин Икай.

– Кандидаты есть?

– Есть.

– Приведите!

Через несколько минут перед Икаем стоял стройный человек с сильными руками и ногами.

– Это для какого колеса? – деловито, не глядя на вошедшего, спросил Икай у секретаря.

– Для переднего, господин Икай. Для большой коляски.

– Ага! Хорошо. А вы уже говорили с ним?

– Нет.

– Ну, тогда я поговорю.

И обратившись к новому служащему, Икай спокойно спросил:

– Вы хотите служить у меня в качестве спицы в колесе?

Нанимающийся человек подумал и осведомился:

– А в чем будут заключаться мои обязанности?

– Вы будете стоять в большом обруче, растопырив руки и ноги, и вертеться. В этом и будут заключаться ваши обязанности. Вас научат. Сразу не дадут столь ответственной работы. Не беспокойтесь.

– А для чего это вам? – спросил будущий служащий.

Господин Икай мягко, без раздражения, ответил:

– Дорогой мой, я не обязан объясняться с мелкими служащими. Это ведь нигде не принято. К тому же это в значительной степени усложняет дело. Я вас не принуждаю. Если у вас есть другое призвание – посвятите себя ему. Каждый живет и работает, как хочет и может.

– Это зависит от обстоятельств, господин Икай!

– Все равно. Можете идти.

– Господин Икай, я чувствую призвание к бухгалтерии. У меня есть достаточный опыт. Не нужен ли вам бухгалтер?

– К сожалению, сейчас нет, – подумав, ответил Икай. – Их у меня много. Вот еще ножка для моей передвижной двуспальной крова-

ти нужна. Мне кажется, что по телосложению своему вы подходите для этой должности.

– А по духовному укладу? – просто, без дерзости спросил нанимающийся.

Икай подумал и сказал:

– Не знаю. Я сейчас позову домашнего ученого и спрошу.

Он позвонил, и в комнату вбежал седой ученый, стоявший обыкновенно в огромной библиотеке Икая в рядах многих ученых, писателей и поэтов – живых книг Икая.

– Этот человек по своему духовному укладу может стать ножкой для кровати? – спросил Икай.

Седой ученый громко и отчетливо изрек:

– Почти каждый человек может стать ножкой для кровати. Все зависит от обстоятельств.

Ученый повернулся и выбежал из комнаты.

– Вот видите, – сказал Икай. – Наука подтверждает.

– А какое жалованье? – спросил нанимающийся.

– Какого заслужите. Я не торгуюсь. Но большой суммы не просите: не дам.

– Как бухгалтер я получал сто двадцать рублей в месяц и наградные к праздникам. А как ножка для кровати... Я, право, не знаю... Я еще не занимал такой должности. К тому же, господин Икай, я человек интеллигентный, я даже иностранные языки знаю. Подходит ли для меня такая должность?

– Вам лучше знать. Меня это не интересует, – мягко ответил Икай. – Ваша интеллигентность тоже не занимает меня. Для моих духовных потребностей у меня есть штат специальных служащих. У меня есть специалисты-справочники, как вы только что видели, специалисты-собеседники, специалисты-слушатели, спорщики, сочувствователи и, кроме того, есть особые специалисты-враги и специалисты-друзья. Я не люблю ни в чем дилетантизма. Все они получают жалованье и вполне удовлетворяют меня. В вас же меня интересуют только некоторая физическая сила и рост. Вас научат держать мою кровать и гулять с нею в лунные ночи по саду.

– Я один буду носить кровать?

– Нет. Мою двуспальную передвижную кровать носят шесть ног. Шесть человек. Если вы выкажете способности, я вас сделаю

одной из передних ножек. На них лежит большая ответственность, так как они выбирают дорогу и вообще проявляют инициативу в выборе красивых мест в моем саду.

– Я за это хочу получать пятьсот рублей в месяц, и чтобы платили каждое первое и пятнадцатое.

– Хорошо. Идите, запишитесь. Мастерская номер четыре. Во дворе налево.

Господин Икай поднялся и сказал своему креслу:

– Можете отдохнуть.

2. Еще о том, как жил господин Икай

Господин Икай жаловался:

– Господа, я не могу больше. Я устал. Мне все надоело. Мои усилия пропадают зря. Моя мебель никуда не годится. Вчера заболел мой стул. Какая гадость! В библиотеке полный беспорядок. Мои живые книги ненавидят меня. Они плохо слушаются. В моем кабинете испортились обои. Смеются не вовремя. Смотрят издевательски. Это ужасно! Если так будет и впредь, я, право, не знаю, что и делать.

Главный Мебельщик живой мебели переминался с ноги на ногу и, упрямый, как все мастера, бормотал:

– Это невозможно, господин Икай! Не может быть! Разрешите посмотреть. Я хочу лично убедиться.

Господин Икай и Главный Мебельщик прошли в кабинет.

Это была самая интересная из комнат Икая. Стены ее состояли исключительно из золотых овалов, и в каждом овале помещалось лицо стоявшего за сетью овалов человека. Эта комната строилась несколько лет знаменитым инженером-американцем и представляла собой чудо техники. Три тысячи человеческих лиц составляли обои большого кабинета Икая, а тел их не было видно.

Живые обои были неподвижны. Шесть тысяч глаз смотрели сумрачно, с заученным выражением.

– Смотрите, они косят, – жаловался Икай. – А вот эти часто ехидно улыбаются. И кроме того, они тяжелы – эти обои. Они уже не веселят меня, как веселили раньше.

Главный Мебельщик с деловито-озабоченным выражением смотрел на живые маски людей и, как механик, пробующий в комнате электричество и поворачивающий для этого выключатель, захлопал в ладоши и крикнул:

– Весело!

Обои по знаку заулыбались. Улыбались три тысячи человеческих лиц – мужчин, женщин, юношей и подростков.

– Грустно! – крикнул Мебельщик.

Обои по знаку перестали улыбаться. Лица опять стали серьезными, сумрачными.

– Все в порядке, господин Икай.

– Нет! Вы ошибаетесь! Не все в порядке. Далеко не все, – вздохнул Икай.

Главный Мебельщик не возражал.

Он знал о подлинной причине жалоб Икая: его жена изменила ему с какой-то частью карниза из этого же кабинета. А он так верил глазам этого юноши! Так верил! Когда Икай грустил, он требовал от обоев сочувствия, и ему казалось, что именно эта часть карниза сочувствует ему больше других. Так казалось. Отчего так обманчива жизнь?..

Главный Мебельщик ушел.

Икай задумчиво побрел в библиотеку. Ему было скучно, и он хотел развлечься.

Поэт прочитал ему новые стихи.

– К черту, – тихо сказал Икай. Затем позвал: – Номер двадцать седьмой! Сюда!

Это был самый злой из специалистов-врагов.

Икай позвал свое кресло, уселся и приказал служащему-врагу:

– Говорите!

Враг начал:

– Я счастлив, что вы в дураках. Надеюсь, что все полетит к черту, и вы наконец погибнете. Вы – самый несчастный человек, какого мне довелось видеть когда-либо. Вы спите на людях, сидите на людях, заставляете людей удовлетворять все свои потребности. Ничего не выйдет, дорогой!.. Ни-че-го! Вы одиноки, как труп повешенного, как лошадь на живодерне.

– Хорошенькие сравненьица! Нечего сказать! – поморщился Икай.

– Вы не стоите лучших. Теперь вам изменила жена с каким-то карнизом… Ха-ха-ха! Завтра она вам изменит с ножкой стула или стола. Вот вам и ваше счастье, и ваше богатство! Вы гниете, милостивый государь! Разлагаетесь! Нельзя на людях, на их телах и душах, на их унижении строить счастье. Ни-че-го не выйдет. Будут платить презрением, а в конце концов и по физиономии дадут. Не думайте, что у вас все спокойно и ладно. Бунт нарастает. Все эти ваши столы и стулья, колеса и обои – вся ваша живая мебель, в которую вы изволили превратить людей, поднимется и взорвет вас. Что бы там ни было, а человек – это все-таки не спица в колесе! И не ножка для кровати! Бедное существо, утонувшее в людской покорности! Как мне жаль вас!

– Вы хорошо исполняете обязанности моего личного врага. Я, вероятно, прибавлю вам жалованья, – с кривой усмешкой сказал Икай. – Кроме того, я увеличу тираж ваших книг.

– Мне сейчас наплевать на ваше жалованье. Скоро вы погибнете, и мы все будем свободны.

Икай рассмеялся.

– Не смейтесь! Пройдемся по вашим «мастерским», где уродуют и мучают людей, посмотрим на все ваши живые коляски, на ваши живые спицы, на вашу «живую мебель». Вы скоро увидите, можно ли людей превращать в мебель и думать, что это культура.

Икай неожиданно изъявил согласие.

– Идемте.

Они прошли по дворам роскошного имения Икая. Всюду был внешний порядок. Всюду шла работа. Сотни инструкторов, техников, учителей и погонщиков изготовляли из живых людей неподвижные статуи покоя и удобств для господина Икая.

Многие из этих людей имели изможденный вид, но многие успели приспособиться и сжиться с незавидной долей.

– Ты кто такой? – спросил враг Икая у какого-то раззолоченного пестрого старика, бродившего по двору.

– Я лампа, – ответил тот. – Я стою на лестнице и освещаю путь господину Икаю. Лампа стоит на моей голове, а я заменяю столб.

– Почтенное занятие! – плюнул враг Икая. – Вот скоро, скоро увидите, во что превратятся эти столбы.

Навстречу им прошел отряд с лопатами. Эти люди имели обычный изможденный вид рабочих, одинаковый во все времена и эпохи.

– Вы кто такие?

– Мы – лопаты. Мы роем для господина Икая золото и уголь.

Вид у рабочих, несмотря на внешнее спокойствие, был такой, что даже враг Икая не сказал ни слова.

Далее стояли какие-то чудища с кусками железа вместо головы и рук.

– Вы кто такие? – спросил враг Икая.

– Мы – солдаты. Мы охраняем спокойствие и благополучие господина Икая.

3. Еще о том, как жил и живет господин Икай

Господин Икай забыл о словах своего специалиста-врага. Все было спокойно. Специалисты-друзья и враги, одинаково получавшие жалованье, – говорили Икаю о разных свойствах введенной им дисциплины, о природе людской, любящей покорность, и Икай успокоился.

Обои из человеческих лиц улыбались ему, когда он этого хотел. Столы, этажерки, диваны и мягкие ковры из прекрасных женщин пели ему песни, когда он подавал соответствующий знак. Живая библиотека услаждала его слух всячески. И даже жена перестала изменять Икаю. Только несколько раз из-за нее рассчитывались какие-то живые тюфяки, подножки и вешалки.

Жизнь текла спокойно, и все казалось нормальным, как всегда кажется, что бы ни происходило в жизни.

И вдруг в один из обыкновенных дней, когда так же, как всегда, дышала жизнь, и необъятные пространства были бездумны, а дали мудры и непонятны, и росы ложились на поля, и полчища туманов бились о землю, и ветры трепали шевелюры лесов, – возмутились люди.

В квартирах, подвалах, рудниках и мастерских забились трепетные комья сердец человеческих, восстали души, прозрели головы.

Во дворце Икая поднялся могучий и великий шум.

Кричали спицы из колес, стулья, этажерки, лампы…

Кричали поруганные, униженные, гнувшиеся в рабстве.

– Мы не хотим быть спицами в колесах!

– Мы не хотим быть стульями и кроватями!

– Мы не хотим быть обоями в кабинете Икая! Наши лица не обои!

По коридорам, лестницам, комнатам, залам бежали ковры и лампы, диваны и тюфяки, во дворе собрались живые лопаты и молоты.

Великий шум разлился по всей земле…

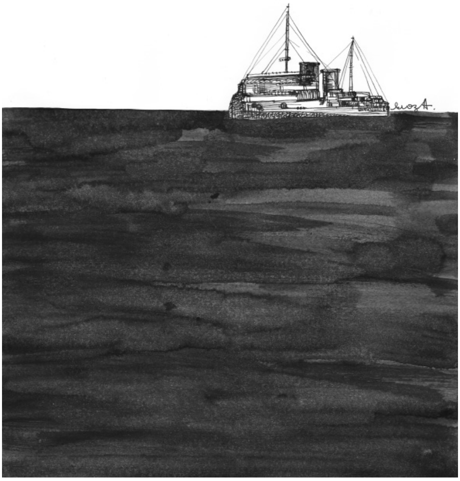
4. И…

…и на этом пока кончается рассказ о живой мебели.

Пока еще много осталось ее на свете, а когда ее не будет, кто-нибудь напишет о ней еще раз и – лучше.

1919

Подвиг гражданина Колсуцкого



Глава первая

– самая прозаическая – ничего но поделаешь: именно так произошло все это. (Фабульная часть набрана крупным шрифтом, психология – мельче.)

– Здесь живет Колсуцкий?

– Здесь.

– Дома?

– Дома.

И перед Колсуцким стоит худой рыженький военный человек, и Колсуцкий чувствует растерянность и страх. Глотать трудно. Нижняя губа начинает неудержимо прыгать.

То, что называется мыслью, сознательно и бессознательно, в словах и без слов, думает: кончилось благополучие. Кончилось. Кончилось. И быстро-быстро, как свет, как звук, пролетают образы: в Б. Гнездниковском арестанты за железными решетками. Ворота Чека на Лубянке. Расстрел. Это неясно, но страшно. До тошноты. А часовой у ворот будет так же сидеть. Наплевать, что расстреляли какого-то Колсуцкого, заведующего красноармейским складом. Будут носить чай в жестяных чайниках в караулку. Зимой у ворот Чека – следы-льдинки от пролитого кипятку. Автомобили будут мчаться, как всегда. Две девушки пройдут мимо страшных ворот и будут смеяться. Он видел однажды: под сильным конвоем ввели в ворота несчастного, а через минуту никто из проходивших не знал ничего об этом. Никто не знал. Те, что видели, ушли, а другие не видели. И две девушки прошли и смеялись. Образы девушек, смеющихся, захлестывают сердце.

Глотать трудно. Губа прыгает. Но Колсуцкий, привстав со стула и отодвинув немного начатый чай, говорит, закутывая слова в спокойствие:

– В чем дело? Вы ко мне?

– Вы Колсуцкий?

– Я.

Рыженький человек в галифе, во френчике-полушубке, с тяжелым револьвером на животе. Глаза маленькие, спокойные, осевшие, как сонные птички в клетках. Стоит и смотрит.

– Я – Колсуцкий. Что вам угодно, товарищ?

Внутренняя жизнь человека – океан, а логика – пароходик, скользящий по его поверхности. В океане – бездонная глубь, чудеса, бесконечное движение, непостижимая сложность, а пароходик плывет, стараясь не думать о бездне под ним.

– Я – Колсуцкий. Что вам угодно, товарищ?

– Вы заведующий четвертым складом обмундирования?

– Я.

– Одну минуточку…

Рыженький роется пальцами в кармане френчика на груди. Колсуцкий перестает дышать.

Такая должность. Такая должность! Проклятая должность! Прежний заведующий тоже пропал ни за что. Кто донес?! Рабочие! Артельщики! Сукины сыны!! А сами-то они с «экономией» как?! Он даже не знал до поступления на эту службу, что такое «экономия». Это когда выдают на фронт сто шинелей, – две недодать, а получить расписку на все сто. Не всегда в суматохе неопытный получатель будет считать правильно. «Экономию» меняют на пшено, муку, яйца. Это, по традициям артельщиков, законно. Брать себе со склада сапоги для носки и даже на запас, шинель и все остальное – тоже законно, по круговой поруке, а продавать нельзя. Молодой артельщик Снетков продал. Ему за это молча выбили несколько зубов. Неужели же артельщики донесли? За что?! Он не виноват ни в чем. Может быть, подрядчик? Этот ходил вокруг склада месяца два. Подарки предлагал, выпивать приглашал, знакомил с красивыми женщинами. Видит бог (Колсуцкий неверующий, но, кроме бога, нет свидетелей) – не поддавался! За что же? За что? Революция. Вот в чем дело! Это – революция. Самое главное: разобраться некому и, главное, некогда. Неужели расстреляют?! Неужели заберут из этой теплой квартирки, а жена будет спать, теплая, под теплым одеялом, сначала одна, а потом с Ивашкиным, который на нее зарится? Господи, каким голосом начать кричать, чтобы не было всего этого…

За дверью шум. Кашель. Много ног. Стук винтовок.

Дверь открывается. Торжественно-деликатно всовывается изжеванная голова председателя домового комитета. Это враг. Ему уже, по-видимому, сообщили, что у Колсуцкого обыск. Он торжественно, почти лучезарно спокоен. Он давно ждет гибели Колсуцкого. Он подходит к столу, на котором стоят недопитый чай и тарелка со сладкими коржиками. Внимательно и несколько

иронически смотрит на них и садится за стол, свободно и широко садится, как у себя дома.

Военный вынул бумажку, развернул и поморщился: не та.

– Одну минуточку.

Повернулся и пошел к двери, к красноармейцам.

Колсуцкий смотрит на лицо председателя.

Горе. Да. Горе. Такие бывают лица у недоброжелательных или равнодушных ближних, когда у человека горе. Но к кому воззвать о помощи? Некого просить. Некого умолять. Горе, горе! Вечер, скоро ночь. Будет утро, и все – беспрерывно. Когда горе – сутки перестают делиться на день и ночь.

Рыженький возвращается с новой бумажкой в руках. Смотрит на нее и спрашивает:

– Ваш склад находится на Самарской улице?

– Да.

– Будьте любезны, товарищ, пойти со мною.

Пароходик плывет на поверхности бездны океана. Бездна бушует, качает, но он плывет-плывет, крепится-крепится. Даже ворочает над бездной винтиком.

– А позвольте нас спросить: ордер у вас есть?

Рыженький с недоумением, но просто, жестко и в то же время добродушно говорит:

– Никакого ордера не надо. Будьте любезны пойти со мной.

Председатель домового комитета смотрит на стол. В секундном молчании раздается его голос – равнодушный и тайно лукавый:

– А где ваша супруга, Константин Федорович?

– В театре.

Председатель глубоко качает головой: очень хорошо понял – точно весьма сложное.

...Качает головой. Этим качаньем он предает, доносит, клевещет. Он как бы говорит: в театре? Понимаю. Коржики? Понимаю. А почему тепло в комнате? Тоже понимаю. Дело понятное: заведующий складом – должность тепленькая. А вот попался, голубчик, и посмотрим, какие у тебя теперь будут коржики... Господи, господи! К кому обратиться?! Кто поймет? Кто спасет? Как тяжело! Как одиноко и холодно. Если бы они знали, как он хлопотал об этом билете в театр для жены в центральном управлении складов! Если бы они знали! Но пароходик мужественно режет, расталкивает волны – он, маленький, знает, куда плывет, хочет знать.

– Скажите, товарищ, куда же мы пойдем? В чем, собственно, дело?

– Идемте, вам говорят, – и все тут. Все будете знать. Вы заведующий складом? Так знайте свой служебный долг. Требуют по делу – так идем. Одевайтесь поскорее, пожалуйста!

Тон – простой, ясный, деловитый.

– А обыска не будет? – вежливенько спрашивает председатель.

– Не будет никаких обысков. Будьте любезны скорее, товарищ.

Колсуцкпй, дрожа мелкой дрожью, надевает валенки, шинель и папаху. Он ни о чем не думает – он чувствует, обоняет запах несчастья. Это запах железа, холода, кисло-тошнотной гнили.

Оделся. Выходит. В дверях задерживается и видит, что председатель, медленно приподымаясь со стула и тоже собираясь уходить, самовольно, без спроса берет коржик и спокойно, нахально, нагло начинает его есть…

Колсуцкому ясно: все кончено.

В дверях красноармейцы. На лестнице – тоже. Тяжелое топтанье, огоньки цигарок.

Рыженький – впереди. Колсуцкий за ним. В воротах тоже красноармейцы и далее на улице ждет несколько человек. Всего человек тридцать.

За воротами рыженький негромко, просто, совсем подомашнему командует:

– Построиться!

Тихо строятся на снегу – по четыре в ряд. Кого-то не хватает. Зовут:

– Елизаров! Ишь, черт…

Колсуцкий на тротуаре один. Его никто не охраняет.

Разве так арестовывают? По-видимому. Им не впервые. Знают, что никуда не убежишь: пуля догонит. Обычное: «убит при попытке к бегству». Страшно. Может быть, обратиться к ним, объяснить, что он ни в чем не виноват?.. Нет, не поймут. Да им это неинтересно. Им холодно и скучно. И лица какие мрачные… Жена придет домой из театра, узнает… Она холодная блондинка… Ляжет спать в платье, только и всего… А утром пойдет к Ивашкину, а Ивашкин, счастливый, будет звонить и Чека, спрашивать, где Колсуцкий… В десятой квартире у Александры Игнатьевны – муж расстрелян… И что же? Ничего, живет. Вчера стояла и очереди за ботинками… Что жизнь человека! Что жена! Что родство! Что дружба…

Темно. Болеет снег. В домах – огни.

Рыженький пошел вперед. Отряд – без команды – за ним.

Колсуцкий рядом с рыженьким. Рыженький приближается к нему, касаясь плечом, и говорит:

– Видите ли, товарищ, в чем дело: мы получили сведения, что сегодня ночью готовится нападение на склад шайкой бандитов. Их будет человек пятнадцать, вооружены ножами, браунингами, маузерами. Надо, значит, засаду устроить и переловить их. Засада будет на складе. Склад большой. Огней зажигать нельзя. А мы, понимаете, не знаем внутренних ходов и вообще расположения склада, – вот вы и будете водить нас. Вы – заведующий, это ваша обязанность. Я не мог сказать вам дома, потому что были посторонние лица, а это служебная тайна. Вам же, между прочим, должно быть стыдно, товарищ, так дрейфить… Должно быть, грешны, коли так боитесь. Стыдно! Склад обмундирования – это народное добро. Надо свой долг всегда помнить и быть готовым защищать то, что вам вверено.

Не арест?!!

Не арест?!! Не арест?!! Не арест???!!! Не арест? Не арест?! Не арест?! Не арест?! Не арест?!! Не арест?!!!

В голове – светло и пусто. Совершенно пусто, как всегда, когда человека ошеломляет счастье.

Сколько длится эта пустота – эта чудесная растерянность? Сколько? Секунду. Больше? Меньше? Неизвестно. Но человек поразительно быстро привыкает к новому.

Колсуцкий довольно спокойно, подчеркнуто недоумевающим тоном говорит:

– Я вовсе не испугался, и вообще бояться мне нечего, но я не знал, в чем дело. Вы ничего не говорили.

– Так я же не мог говорить у вас на квартире! Там были посторонние лица. Даже вам по-настоящему можно было сказать только на складе, не раньше. Служебная тайна. Надо понимать это.

– Ну да, конечно, я понимаю. Значит, мы будем их ловить?.. Засада?.. Это хорошо. А я, между прочим, нисколько не испугался, чего тут пугаться? Просто недоразумение вышло. А скажите, ключи от склада где? Ведь они у артельщика!

– Взяты. За ними пошли.

Так вот какая история… Однако, тип какой… «Народное добро»… Ишь как!.. Высокие слова… Карьеру делает молодчик… Повышение по службе требуется.

Колсуцкий деловито шагает рядом с начальником отряда. Ноги идут по-новому. Хорошо идут. Несколько поодаль движется отряд. Снег хрустит. Прохожих нет. Темно. И чем ближе к складу, – все темнее улицы, унылее пригородные пустыри.

Идут. Молчат. Прошли мимо низенького домика. В освещенном оконце отстала занавеска – видна комната, стол, уютная лампа, пианино. Несколько человек молодежи. Поют. Играют. Вечеринка…

…Да, такова жизнь. Такая революция, а вечеринка – своим чередом. Таковы люди. И вдруг острая злоба: вспомнил, как председатель домового комитета начал есть коржики… От возмущения екнуло в челюсти. Какая наглость! Он думал, что его, Колсуцкого, уже нет… Он еще тут, но с ним можно уже не считаться… Точно с мертвым… И Колсуцкий с необычным для него напряжением начал думать, как бы так устроить, чтобы сейчас же вернуться, с этим же отрядом, и арестовать председателя… Эх, хорошо!! В голове запрыгали огненные слова. «Будьте любезны, гражданин!! Живо!!! Не разговаривать!!!» Вот посмотреть бы тогда на его рожу! Он думал: «Все кончено. Колсуцкий попался!». Не-ет, еще не попался!!! Он тебе еще покажет – Колсуцкий! Погоди!! Сукин сын!

– Скажите, товарищ, кто вызвал председателя домового комитета? Это вы его вызвали? – спрашивает Колсуцкий.

– Нет.

– Значит, он сам пришел?! Понимаете, какой человек! Без спросу, сам угощается! Видали, печенье домашнее стояло на столе?.. Вы только подумайте, какой нахал! Он думал, что меня арестовали, и начал распоряжаться… Вот человек какой!.. Мне печенья, конечно, не жалко… Не в этом дело, но принципиально! Ведь обидно, знаете, такое отношение!

Рыженький ничего не ответил. Чуть-чуть только отвернулся, и Колсуцкий почувствовал, что его обожгло чужое, усталое и холодное презрение.

Подошли к огромному пустырю, за которым темнели корпуса склада.

– Стой!

Отряд остановился.

– По одному тихо и незаметно пройдите в главный корпус.

И, обратившись к Колсуцкому, рыженький повелительно добавил:

– Идите вперед и ждите у входа, пока я не приду. Всех сторожей созовите в сторожку.

Колсуцкий следил за Козиным (фамилия начальника отряда). Смотрел на его худенькое рыженькое лицо. Смотрел на контуры его строгой и бодрой фигурки, на прямой и твердый затылок. И все больше и больше проникался ненавистью к нему.

По-видимому, этот коммунист делает карьеру. Какие тут, к черту, бандиты? Полгода Колсуцкий служит на складе, и никаких бандитов не было. И вдруг – бандиты. Кто его знает, может быть, он сам с бандитами сговорился, чтобы те пришли ночью. Красноармейцы постреляют, а молодчик получит повышение по службе. Все это хорошо, но он-то, Колсуцкий, тут при чем? «Народное добро». Подумаешь, какой охранитель народного добра нашелся!..

Склад ночью был чужд и ненужен Колсуцкому. Работать на нем днем было делом понятным, ясным. Но сейчас густой мрак и спертый запах сукна и кожи был чужд, враждебен, неприятен. И как-то глуповато, по-детски выходило, когда Козин серьезно и деловито расставлял часовых, знакомился с расположением склада.

– Товарищ, – сказал Колсуцкий, – я полагаю, что никаких бандитов не будет, и, право, нечего так беспокоиться.

– Вы почему знаете? – резко повернулся к нему Козин. (Большая пауза, резко): – Прошу не разговаривать, а делать, что вам приказывают. Отведите товарищей к запасному ходу и спрячьте за товаром. Предупреждаю: склад на осадном положении, и если будете мешать делу защиты его, – немедленно арестую.

Колсуцкий ничего не ответил. Отвел красноармейцев в назначенное место и вернулся.

Он не чувствовал себя особенно обиженным словами Козина. Что с него взять? Чекист! И кроме того, нечуткий, неприятный человек. В другой обстановке он поговорил бы с ним иначе. А тут что поделаешь? Да никто и не слышал. Пять красноармейцев? Наплевать! Это не его общество. Пройдет ночь, и все это уйдет в прошлое, о котором он постарается не вспоминать. И в потемках, где пахло овчиной, кожей, в тишине, в холодном мраке Колсуцкий продолжал думать о Козине: да, неприятный и властный человек. Голос какой – сухой и неприятный. Ограниченный человек, но с волей. Он знал таких. Был у него учитель такой. И хозяин в одной конторе. В центральном управлении складов тоже есть такой. И обида в темноте не казалась острой, хотя мучило сознание, что он таких людей боится и ничего с ними поделать не может. Но наплевать, ничего! Пройдет эта нелепая ночь,

и все пойдет по-прежнему. Это случайность, возможная только во время революции. Ничего. У себя, в его обществе, ничего подобного не может быть… Но эти потемки в ночном складе среди неведомых, кажущихся или действительных шорохов были мучительны. Время как-то остановилось. И Колсуцкий вдруг подумал о том, какое у него, в сущности, общество? Несколько человек знакомых и родственников. По праздникам приходит и сидят, растопырив ноги… И главное, приходят, когда деньги есть… Жена живет с ним потому, что он кормит ее. Когда есть деньги – хорошо к нему относятся, когда нет – почти избегают. Когда его соседу, председателю домового комитета, показалось, что его арестовывает Чека, он начинает бесцеремонно есть его печенье… В сущности, он одинок и беспомощен, как любой полушубок, лежащий здесь, на складе, в холодном мраке, придавленный такими же полушубками… И если вдуматься, то, собственно, нечего уже так бояться ареста. Жизнь сложилась неудачно. Близких людей нет, труд – унылый, нелюбимый. Удовольствия: выпивка и карты. В общем, черт знает что такое. А теперь ночью он сидит вот тут, защищает «народное добро» вместе с красноармейцами. В чем дело?!

– Товарищ Козин, товарищ Козин!!

Голос тревожный, острый. Две руки цепко хватают Колсуцкого, стоящего рядом с Козиным, но тотчас же отскакивают. Нервный хрип:

– Кто это?! Кто это?!

– Успокойтесь, товарищ! (Голос Козина) Что вы, в самом деле! Чего орете!

Взволнованный голос:

– Товарищ Козин, знаете, мы в ловушке?!.. Дверь внизу закрыта. Тот ушел с ключами… Мы в ловушке!!! Я не понимаю вашего плана. Знаете, сколько тут комнат? Восемьдесят! И пять коридоров. Не мы их, а они нас перестреляют, как собак. А я еще черкесов рассыпал по пустырю вокруг склада! Они там ходят, а мы тут сидим. Форменная ловушка! Ушел, сукин сын, с ключами! Расстреляю его сам, сам расстреляю! Своими руками!! Сколько ни стучал, нет его. Да и что за план дурацкий!..

Колсуцкий по голосу узнал агента уголовного розыска. Он с небольшим отрядом черкесов ждал у склада, когда прибыл отряд Козина. Он же достал у артельщика ключи и передал другому агенту, который запер их всех снаружи, а сам ушел.

У Колсуцкого одеревенели руки и ноги. Открылся похолодевший рот, и именно ртом, а не ушами, ловил он ответные слова Козина:

– Товарищи, призываю вас к порядку. План мой вполне правильный. Черкесов рассыпали по пустырю вокруг склада? Правильно. А мой отряд и мы все здесь. Тоже правильно. Нас закрыли снаружи? Я велел так. По моему приказу печати заделаны. Сторожа в сторожке. Их двое: один сегодня не явился, значит – один. Его, конечно, бандиты снимут. Ничего не поделаешь! Затем пойдут сюда. Увидят, печати на дверях в целости, значит, все в порядке. И либо откроют двери, и мы их сцапаем, либо будут пилить решетки на окнах, и тут они тоже от нас не уйдут, потому что, хоть и темно, а окна выделяются. Притом на всякий случай он (Козин тронул Колсуцкого за плечо), он, заведующий, все ходы знает и поведет нас.

Огромный черный склад ожил от шорохов, дыхания, шагов, осторожных чудовищных звуков. Ужасное предположение, одинаково пронизавшее всех, что бандиты, может быть, находятся здесь же и крадутся из-за кип товаров, стихийно гнало людей друг к другу, заставляло хватать друг друга во мраке и сумасшедшим шепотом спрашивать полумертвыми губами: «Кто идет? Кто идет? Кто идет? Кто? Кто?.. Стой! Стой! Стой!..».

И Козин тоже не выдержал: заметался во мраке и запутался в клубке людей, хватающих друг друга и одинаково облитых холодным потом.

– Кто там? Кто там? Стой!..

– Кто там? Кто там?

Совсем близко щелкнул затвор. Почти одновременно панически защелкало еще несколько, и хриплый голос беззастенчиво громко крикнул:

– Товарищи! Вон из склада! Спасайся! Ловушка!

– Товарищи! Куда же из склада?? Ключей нет! Дверь закрыта!

– Товарищи, спокойно!!!

– В окно! В окно! Там… одно… без решетки… соскочить… второй этаж!!

– Где окно без решетки? Где?

– В коридоре.

– В каком коридоре? Где Колсуцкий??

– Колсуцкий!

– Колсуцкий!!

– Колсуцкий!!!

– Колсуцкий!!!!

– Колсуцкий!

– Колсуцкий!!!

– Веди к окну, Колсуцкий!! Скорее! Иди вперед!!

И тут – в черной тишине, отмеренной ударами сердца, в пустоте, в холодном мраке – состоялось никем не высказанное решение, что он, Колсуцкий, должен прыгнуть первый. Почему? Потому, что он открывал тугую задвижку, потому, что он стоял на подоконнике, потому, что он первый с трудом оторвал окно от рамы и первый оказался в мутном четырехугольнике зимней ночи. И еще потому, что было холодно, жутко, что за спиной его стояли и тяжело дышали люди…

И Колсуцкий, чуть согнувшись, шагнул в мороз.

Холод, жар, свист, блеск в глазах, спертое дыхание, желудок поднялся до горла, удар в ноги, колено, бок, слегка в лицо, и он – на земле. На снегу.

Встал. Выдохнул воздух. Оглянулся. Цел. Ничего не болит. В груди – теплая волна радости. Но есть опасность: черкесы заметят и будут стрелять. Он отбежал за угол корпуса и…

Так это было просто, обыкновенно и ясно: за углом стояло человек шесть.

– Стой! Стой!!

Но Колсуцкий метнулся назад, к открытому окну, из которого, как тяжелые мешки, бухались на снег один за другим красноармейцы, и всем существом своим, всей жизнью закричал:

– Товарищи! Они! Сюда!!!

И в это мгновение почувствовал удар в бок.

Падая, он слышал выстрелы.

Глава вторая,

которую можно не читать: в ней описано то же самое, но по данным памяти Колсуцкого – спустя четыре года

Колсуцкий идет по Садовой мимо Третьего Дома Советов – делегатского общежития, смотрит: знакомое лицо. Кто бы это мог быть?.. Лицо очень уж знакомое…

– Здравствуйте, товарищ…
– Здравствуйте…
– Узнали?
– А как же!.. Как не узнать?..

– А-га! Это… как его? Озоль… Рогозов… Лозов… Козов… Нет… Козин. Да, Козин. Тот самый, который пришел в госпиталь, когда Колсуцкий лежал раненный… Белое большое окно. У окна стоял и улыбался… А улыбка удивительная – большущая… Лицо у него небольшое, а улыбка – огромная. Бывает так: на большом лице – крохотная улыбка, как на огромной темной площади осенью один фонарь керосиновый с ограниченным кругом света. А у Козина наоборот: небольшое лицо, а улыбка больше лица. Даже неизвестно, как помещается…

– Не узнаете, товарищ Колсуцкий?
– Как не узнать! Как не узнать, товарищ Козин! Здравствуйте!

Милый человек! Тогда он первый в госпиталь пришел. Сообщал, что в приказе отмечен подвиг Колсуцкого, помогавшего защищать склад от бандитов. Осведомлялся о здоровье.

А вечером на квартире, чудак такой, как напугал:

– Здесь живет Колсуцкий?

– Здесь.

– Дома?

– Дома. А в чем дело? Что вам угодно?

– Вы заведующий четвертым складом обмундирования?

– Я.

– Идемте со мною.

Куда идти? Зачем? С какой стати! Ночь. Мрак. Красноармейцы с винтовками. В чем дело? Никуда он не пойдет. Если это арест, то должен быть ордер. А ордера-то нет.

– Никуда я не пойду, товарищ! Вы мне объясните, в чем дело.

– Идемте, товарищ! Вы – заведующий складом? Так знайте свой служебный долг. Зовут – и идите.

Сказал бы толком: надо пойти на склад.

А он ничего не говорит. «Идемте» и «идемте», на животе – револьвер. Тон – властный. Нехорошо. Портятся люди в Чека. Ведь милый же человек, а тогда сколько в нем было этой важности.

Но он все-таки пошел, чего там, в самом деле! Колсуцкий не из пугливых. Так, если посмотреть на него, обыкновенный человечек, серенький. Ивашкин – и то перед ним героем держится. А когда нужно было пойти – пошел. А когда нужно

в окно прыгать – пожалуйста, Колсуцкий прыгает первый. Первый!! И все это без револьверов, без шума, без окриков… И если это нужно, умеет уходить ночью из дому охранять и спасать склад…

Да как еще уходить!..

Некого было прижать к своей груди на прощанье, – ведь человек шел на смерть, на подвиг, о котором потом в приказе было. Не с кем даже было попрощаться…

Пустая была комната… Совершенно пустая… И только на кровати так небрежно, торопливо брошенные юбка, сорочка, полотенце… Это она, Зина, переодевалась и мылась, перед тем как идти в театр с Ивашкиным. Больно, очень больно видеть вещи, брошенные женщиной, торопящейся на свидание с другим…

Но – наплевать! Есть дела более важные, чем все эти л и ч н ы е п е р е ж и в а н и я… Наплевать ему на то, что его предали… Ничего… Он один, один, в одиночестве, выдержит любые страдания, и вот пошел ночью неизвестно куда, на увечье, на смерть, на подвиг, о котором даже в приказе говорилось… А она? Где теперь она? Вот уже четыре года как он развелся с ней…

Он знал в ту ночь, что она в театре, но не знал, что с Ивашкиным. Об этом он узнал позже… Но каков этот Ивашкин! Вокруг голод, расстрелы, кровь, величайшая из революций, а тот ничего не видел, кроме Зины… И морда какая у него поганая – нижняя губа толстая… Он однажды сказал Белицкому, другу Колсуцкого: «Нравится мне эта женщина – сил нету. Особенно когда она в валенках и в платочке… Не могу!.. Когда она с шуршанием вытягивает ноги из валенок – дыхание спирает в груди… А тело у нее какое, ноги, плечи!..».

Билет в тот вечер он так получил. Билеты распределялись по учреждениям и организациям. Купить нельзя было – не продавались. Для жены Колсуцкий получил один билет в центральном управлении складов. Но как получил билет в тот же театр и на тот же спектакль Ивашкин? Оказывается, очень просто: Федосья Александровна, эта старая сволочь с шишкой на морде, из бухгалтерии, продала свой билет. Она видела своими черными глазками сводни, что Колсуцкий получил. Значит, ясно, что пойдет жена: он всегда уступал жене. Она и позвонила Ивашкину, который всюду легко втирается в знакомство, а с бухгалтершей он познакомился на встрече нового года. Он и купил у нее, сукин сын, билет.

Итак, не было дома жены.

Один, один, в одиночестве, о т м е т а я л и ч н ы е п е р е ж и в а н и я (какое прекрасное выражение – его Колсуцкий в газете вычитал), уходил он из дому, чтобы быть раненным на посту, охраняя склад от грабителей. Даже в приказе…

Он шел на подвиг, а она в это время прижималась к Ивашкину… Жестоко все-таки устроена жизнь. Еще так недавно она была девочкой – робкой, чистой. Руки у нее были такие беспомощные, покорные. А как ловко она этими руками обнимала бычью шею Ивашкина! (Уж потом, попозже, наткнулся Колсуцкий на такую сцену.)

Вообще приходится отметить, что близость бывает чрезвычайно редко – точно так же, как и преданность. Многое, очень многое непрочно в этом мире. Только боль – она прочна, если уж охватила человека. И вот склад тогдашний, и Москва, и сугробы снежные, и бульвары – белые, пустынные, снежные бульвары Москвы 1919 года, и старик нищий на пустом бульваре, с флейтой – какую свистящую, голодную, одинокую грусть навевал он! Ах, проклятый старик, сколько души выкачал он этим свистом из многих и многих ушибленных жизнью московских людей.

Итак, Ивашкину нужны были ноги из теплых валенок. И чтобы звук был ш у р ш а щ и й, когда ноги вытягиваются из валенок. Хорошо. Пожалуйста! Бери! Кому что. Тебе – это. А мне, Колсуцкому, подвиг, смерть, увечье. Ничего не поделаешь. Пожалуйста!

И вот он ушел ночью, ушел с красноармейцами и с Козиным. Красноармейцы строились на снегу. Кого-то не хватало. Звали:

– Елизаров! Ишь, черт…

Улицы были черные на белом снегу. Козин хмуро шел. Огрызался на все. Колсуцкий не помнит подробностей. Хороший человек, а тогда было в нем что-то неприятное. Суетился, нервничал – струсил, должно быть.

– Объявляю склад на осадном положении.

А какая была кутерьма на складе! Тьма, холод. Все кричали, бегали. Действительно, опасность была велика. Восемьдесят комнат! И коридоров сколько! Сам черт запутался бы. А если б бандиты проникли – перестреляли бы красноармейцев, как зайцев, всех. Но вот тут и оказалась потребность в подвиге Колсуцкого. Кто знал все ходы-выходы? Он, Колсуцкий. Кто знал, где окно без решетки? Тоже он. Он заявил об этом. И он же, Колсуцкий, бросился к этому окну, открыл его – это тоже не так просто, надо было знать, как открыть задвижку. Кто бы это мог сделать, когда состояние у всех было взвинченное и тревожное до крайней степени? Он и открыл окно, и выпрыгнул из него п е р в ы м. Он совершенно не знал, какая высота отделяет окно от земли. Он не помнил об этом. Он прыгнул. Это самое важное. Прыгнул первый. Прыгнул решительно и смело. Никто не предложил ему это, никто не сказал ни слова. А какие ощущения от прыжка? Он великолепно помнит их. Он упал на ноги, легко ударившись, но остался невредимым.

Бандиты были тут же, за углом. Колсуцкий их первый увидел, нисколько не растерялся и сообщил о них красноармейцам, за что в него и выстрелили.

Потом госпиталь…

Козин пришел первый… Какой милый человек… Настоящий товарищ.

А результаты дела были такие: самое главное – склад отстояли, из бандитов поймали пять человек. Убили в перестрелке двоих. Красноармейцев ранили троих.

В госпитале Колсуцкий пролежал два месяца. Зина, конечно, приходила. Но она была такой незначительной, серенькой… Он даже не рассказал ей, что произошло, какой он совершил подвиг, подвиг, о котором сообщалось в приказе по московскому округу. Зачем ему было рассказывать? Не лучше ли, чтобы она разузнала сама, чтобы ей рассказали чужие люди?

Он лежал с закрытыми глазами, притворяясь слабым, и отлично слышал, как ей рассказывали товарищи Колсуцкого по складу, тоже пришедшие его проведать. Когда они ей рассказали, он открыл глаза и посмотрел на нее: на ее лице было странное выражение – в и н о в а т о г о р а в н о д у ш и я. Да, виноватого равнодушия… Ей было это безразлично и в то же время почему-то неловко…

Чем скорее он поправлялся, тем реже приходила она, а когда он выздоровел, они разошлись. Это произошло без сцен, без объяснений. Она ушла. Просто ушла. Только через две недели пришла за вещами. Конечно, он отдал ей все.

– А шинель? – спросила она тихо. – Шинель ты берешь обратно?

– Нет, возьми и шинель. Раз я подарил тебе ее, – значит, она твоя. Бери, пожалуйста!

И она взяла шинель. Шинель можно было перешить и сделать очень хорошее дамское пальто. Многие тогда так перешивали – из солдатской шинели – дамское пальто.

Она взяла шинель робко, глядя на пол, поблагодарила, тоже не поднимая глаз, и – ушла. Ушла тихо и поспешно.

Такова была Зина и таков был Колсуцкий в этот тяжелый, мучительный, страшный год.

– Здравствуйте, товарищ Козин!
– Здравствуйте, товарищ Колсуцкий.
– Как поживаете? Сколько лет, сколько зим!
– Да, много прошло времени… Четыре года небось!
– А где вы теперь живете? Где работаете?
– Зайдем куда-нибудь, посидим…
– Давайте, что ж…

Глава третья
о совершенно незаметном происшествии на пляже

И вот наступило лето 1924 года.

В трамвае № 13 по Тверской улице едет гражданин Колсуцкий. Он едет в Покровское-Стрешнево. Говорят, в Покровском есть пляж. Гражданин Колсуцкий, таким образом, будет купаться, а потом лежать на пляже.

День – воскресный. Какой великолепный день! Это что-то невиданное! Какое солнце! Даже вот глазные больные с синими очками грудами лежат на окнах своей старинной глазной лечебницы. Некоторые даже очутились на крыше и глядят полуслепыми глазами на солнце.

Сколько радости вокруг! Сколько красивых девушек и женщин в белых платьях…

И – шествия, шествия… Почти на каждом квартале отряды комсомольцев, пионеров, спортсменов… Что это сегодня? Парад какой-нибудь? Гулянье?..

Песни… Поют дружно, весело… Хорошая молодежь, безусловно…

Вообще жить теперь стало довольно хорошо. Было бы и совсем хорошо, если б не эта вечная мелкая борьба, эта вечная напряженность, происходящая от бедности.

Живешь, например, в комнате и вечно дрожишь за нее… Склоки, подкопы… Семь аршин жилой площади. На службе, в тресте, то же самое. Колсуцкий служит больше двух лет, а в отпуск поехать страшновато… Черт их знает, поедешь, а в это время другого посадят или сократят… Иван Петрович, конечно, этого никогда не сделает, но за месяц может слететь и сам Иван Петрович, и на его месте может оказаться другой и наводить новые порядки… Вообще твердого, долговечного начальства нет при советской власти… Любой, самый важный начальник может в любую минуту получить по шапке, и на его место может быть назначен другой… Вот как, например, слетел член правления Лобанов… Смешно, право… Рабкор написал в газете о том, как он «погулял» и, возвращаясь пьяный на извозчике, «рыгал в обе стороны»…

И Колсуцкий неудержимо улыбается, как и всякий раз, когда вспоминает про эти «обе стороны»…

Вагон трамвая мчится мимо больших чисто вымытых витринных стекол. Колсуцкий стоит на площадке. Он отражается в каждой витрине, как в зеркале, только в несколько более темном.

Неужели это Колсуцкий? Как странно видеть себя со стороны в отражении…

Стоит на площадке вагона среди других людей этакий стройный человек, вполне приличный, лет тридцати на вид, не больше, а ведь на самом деле Колсуцкому тридцать три… Усы и борода – бритые… Ничего… Парень хоть куда!.. Вот только жирок небольшой есть… Это, впрочем, почти у всех сейчас… Жизнь нормальная…

Он переходит с площадки в вагон и садится. Сколько красивых девушек и женщин и вагоне. Они смеются, болтают… Вот как раз против Колсуцкого сидят две девушки. Они оживленно разговаривают и смеются. Заметив, что на них смотрит мужчина, они начинают разговаривать еще оживленнее, рисуются – смеются громче… Им хочется показать, что им очень интересно, весело, что они беззаботно и весело живут и вот, видите, как независимо беседуют и смеются, ни на кого но обращая внимания…

Колсуцкий внутренне морщится. Он не любит лжи, не любит пошлости, хотя бы прикрытой молодостью.

Он отворачивается и смотрит в открытое окно.

Вагон мчится мимо Петровского парка. Пахнет свежестью, листвой и клевером.

На даче, в Стрешневе, необычайно людно, шумно. Это пригородная дача, и прекрасная погода привлекла сюда из города множество людей.

Тут и юноши, и девушки, и дети, и взрослые мужчины, и женщины. На лужайках, ведущих к реке, – группами и целыми семьями рабочие. Берега реки тоже усеяны белыми и цветными платьями и розовыми комьями тел. Река залита солнцем, в ней плавают и плещутся люди – звенящий гул стоит от возгласов, смеха и плеска воды. На берегу кричат продавцы мороженого.

Поют комсомольцы. Вот на плотине плавают четверо. Они громко кричат и поют. И в них достаточно рисовки, как у тех девушек в трамвае. «Вот какие мы удалые, как нам хорошо! Смотрите все на нас и завидуйте!..»

Колсуцкий спускается по крутому берегу, быстро раздевается и бросается в воду.

Хорошо, что и говорить.

Надвигавшись и наплававшись, он выходит на берег, садится и вдруг замечает следы от раны на своем бедре – зарубцованные

красные следы на месте извлечения пули, той пули, которую всадили в него бандиты тогда на складе…

Сердце начинает в нем биться так, точно что-то случилось… Он так давно не видел следов от своей раны, так давно не думал о том времени, когда он получил ее…

Какое это было время? Хорошее?

Да, хорошее.

Он вдруг понял, почувствовал, что это было хорошее время.

Колсуцкий смотрит на реку и людей, он смотрит на все это цветное и розовое благополучие, на всю эту купальную, растительную блажь, и вдруг видит все в ином, совершенно ином свете…

Кто они – эти люди, среди которых столько ленивых, упитанных фигур?

Советские чиновники? Торговцы? Служащие? Учащиеся?

Все равно, но они не знают б о р ь б ы.

Они не знают, что такое борьба… За что борьба? А за то, за что борются лучшие люди нашего времени. Они не знают, что такое подвиг, самопожертвование.

Вот этот долговязый москвич прильнул на песке к плотной подруге своей, он думает, что весь смысл жизни – в ней, в этой коротконогой дуре с овечьим выражением лица. Ведь стоит только посмотреть на его лицо, чтобы убедиться, что он именно так думает.

Колсуцкий знает, что есть на земле великие дела, и следы от раны на его боку говорят о том, что кое-какое участие в этих делах принял и он…

Да, конечно, он скромный серенький человек… Каждый человек знает себе цену, и Колсуцкий не заблуждается насчет цены себе… Никто не знает и никогда не узнает о его подвиге. Его могут, конечно, сократить в тресте и даже перевести в меньшую комнату, но все это пустяки, ибо отнять у него то – большое и важное, что живет в его душе, – никто не может.

И сейчас оно – это большое и важное – ищет движения. Оно взвинчивает Колсуцкого, оно пронизывает его, и он не может лежать на солнышке. Не может…

Колсуцкий быстро одевается и, глядя на разбросанные повсюду людские тела, уходит – уходит с чувством, похожим на снисхождение.

Он идет энергичной походкой, сам не зная куда. Он снова хочет борьбы и подвига. Он чувствует, что все его существо жаждет этого. В мозгу его мелькают обрывки слышанных речей

и рассказов о великой борьбе, в которой кое-какое участие принял и он…

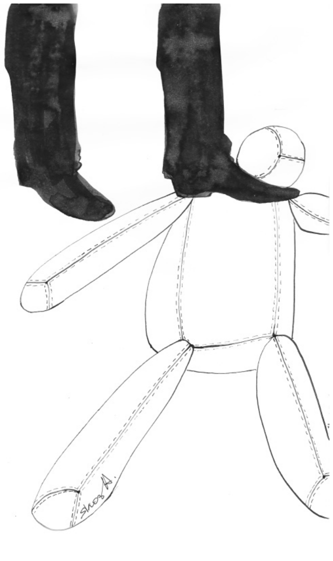
И сейчас, в этот светлый горячий летний день, когда все нежатся и отдыхают, именно сейчас хочет он знать: где эти люди, где лучшие люди нашей эпохи? Где они? Где они?!! Он хочет присоединиться к ним, чтобы вместе с ними продолжать великую борьбу…

Где они? Где они? Он хочет пойти к ним, стать в их ряды!

Колсуцкий решительно подымается но берегу. Солнце освещает его спину.

Он быстро шагает, и мороженщики, видя, что человек занят, не предлагают ему мороженого. Они тоже люди и, как все люди, умеют быть чуткими.

Студия Любви к Человеку



1. Программа Студии и ее Директор

В программе Студии Любви к Человеку было обещано много внимания уделять практическим занятиям: технике доброты, уважения, жалости, а также технике искренности.

Наплыв слушателей был весьма велик, несмотря на то, что плата была немалая. Очевидно, публике окончательно надоело ненавидеть и резаться, и душа, ожесточенная войнами, революциями, погромами и побоищами, серьезно взалкала мира.

Прием в Студию ввиду того, что необходимый комплект слушателей был обеспечен, обставлялся опросами и формальностями. Дирекция оставляла за собою право не принимать учеников, если у них не было оснований в спешном порядке учиться любви к себе подобным.

Учились в Студии бывшие разбойники, провокаторы, бойцы, старые армейские рубаки, фельдфебели, члены карательных экспедиций, погромщики, палачи, мелкие кровожадные деятели смутных эпох, и был даже один бывший министр внутренних дел какого-то маленького разбитого и стертого с лица земли государства.

Душою Студии был ее Директор.

Его считали очень добрым человеком, или, как выражался один из педагогов, настоящим техником доброты.

На темном лице его, жутко освещенном одним выпуклым красноватым глазом (другой был выбит прикладом в мелком сражении с болгарами), всегда было выражение высокой умиленности и чарующей ласковости.

Его самого это так удивляло и радовало, что, глядя иной раз, как учителя Студии бились над безнадежным выражением лица кого-либо из учеников, он подходил и говорил:

– Ну, смотрите, чего проще: вот эти две складки вокруг носа должны быть полукруглыми, и лицо будет добрым и приятным для всех. Чего проще! Вот, смотрите на меня!

И, довольный, он обращал к аудитории свое вечно умиленное доброе лицо.

2. Столкновение Директора с учеником, вполне мирно закончившееся

Этот несложный педагогический прием вызвал однажды скандальный спор, что вообще было не редкостью в Студии.

Один из учеников, в прошлом мелкий провокатор, а ныне искренне желавший стать «славным человеком» (он так в прошении написал, когда поступал в Студию), человек, пока что безмерно дерзкий и завистливый, ядовито сказал Директору:

– Вы такой добрый потому, что у вас один глаз. Человек с двумя глазами не может быть добрым. Откуда он, к черту, возьмет добрые складки? Хорошо, что вам болгары вывинтили один глаз – вот у вас поэтому и есть сколько угодно лишних складок. А вы беретесь обыкновенных людей делать добрыми и славными и за это взимаете плату вперед.

Директора резкая речь задела. Его единственный красный глаз на мгновение потемнел.

Будь это на десяток лет раньше, он тут же помог бы провокатору стать славным человеком. Тогда это делалось просто: он сразу оторвал бы ему голову, руководясь доказанной истиной, что человек без головы застрахован от всякого зла.

Но сейчас, в век доброты и мира, в век, когда доброта была необходимее грамотности, когда любовь и мир были заложены в основу всякого быта, он мгновенно выкинул из глаза зловещую тень, очаровательно улыбнулся и сказал:

– Брат мой (такое обращение было принято в Студии), брат мой, вы ошибаетесь! И обыкновенный человек может быть добрым. Стоит только захотеть этого. Надо поработать над личным самосовершенствованием. Великий моралист Лео Толстой

во многих трудах своих в высшей степени удачно проповедовал это. Будьте терпеливы, брат мой, занимайтесь в вашей Студии прилежно, и вы станете, как того сами желаете, славным человеком.

3. Добавление к речи Директора гуманной ученицы

– Господин Директор! – раздался с места резкий женский голос. – Разрешите сделать к вашим многоуважаемым словам добавление.

– Пожалуйста!

– Я нахожу, что все вами сказанное – прекрасно. Конечно, и с двумя глазами человек может быть хорошим и добрым. Эта мысль, высказанная вами, вполне правильна. Я хотела только добавить, что выражение, допущенное братом-провокатором, что у вас глаз «вывинтили», – выражение неправильное. Оно как будто унижает природу человека. Вывинчивать можно ножки из письменных столов, винты из машин и так далее, но глаз человеческий выбивают, выкалывают, вырезывают, и это большое несчастье, по поводу которого недопустимы неправильные выражения.

– Спасибо, сестра! Большое спасибо! Все, что вы сказали, верно. Вы очень гуманно говорите.

Когда спор окончился, Директор подошел к этой ученице и ласково спросил:

– Когда вы поступили в мою Студию?

– Сегодня, господин Директор.

– То-то я смотрю, новое лицо. Разрешите узнать, почему вы поступили в Студию Любви к Человеку? Ведь вы так молоды, гуманны и изящны! Ваше лицо говорит о бесконечной любви к жизни и к людям. Простите меня, но спрашивать об этом учащихся – мое право.

Новая ученица в самом деле была молода и изящна и мало походила на угрюмых питомцев Студии.

4. Трагическая судьба гуманной девушки

– О, господин Директор, – ответила она, зардевшись, – внешность часто бывает обманчива. Кто не знает этого? Мне всего двадцать пять лет, но я как следует узнала жизнь и неизлечимо больна злобой и отвращением к людям. Я дочь помещика. Восемь лет назад, во время последней революции, крестьяне сожгли нашу усадьбу, зарезали моего папашу, на моих глазах убили брата, а мамашу и меня зверски изнасиловали. С большим трудом мне удалось оправиться, и только год спустя с помощью одного кавалерийского генерала, за которого я вышла замуж, мне удалось усмирить деревню и вырезать и перевешать всех негодяев. Но что всего печальнее – и кавалерийский генерал оказался негодяем, и мне пришлось зарезать и его. (Пауза.) Три года я провела в тюрьме, и только благодаря последней амнистии освободилась. Поймите, что представляет собою моя душа. Я хочу выйти замуж, но со мною страшно ночевать в одной комнате. Это чаще других говорил покойный кавалерийский генерал. Вся моя надежда, господин Директор, только на вашу Студию.

Директор подумал и сказал:

– Ваша надежда вполне основательна. Учитесь, сестра, любви к людям. Ужасы недавних войн и революций больше не повторятся.

5. Сомнения старого солдата, который хотел быть мягким человеком

Занятия между тем продолжались.

Шел урок «мягкость и сердечность».

Учитель – худой, подслеповатый и очень серьезный человек – выслушивал сомнения одного из учеников, бывшего солдата, сына мясника, вся молодость которого прошла в беспрерывных боях с турками. Он их искренно не считал людьми и убивал так бездумно, как отец его резал скот.

Солдат был атлетического роста. Говорил сиплым басом, напряженно выпятив толстые губы, с которых свисали грязно-рыжие клочья усов.

– Я сегодня поднимался по лестнице одного дома, – мрачно рассказывал он. – У основания двери одной из квартир сидела кошка. Когда я проходил, она посмотрела на меня, потом на дверь и открыла рот. Как я должен был поступить в этом случае, желая быть мягким человеком? Ведь вы учите быть мягкими не только по отношению к людям всех наций, но также и к животным.

– Верно. А скажите, пожалуйста, – озабоченно спросил учитель, – как вы думаете, для чего кошка сидела перед дверью, смотрела на вас и наверх, на дверь?

– И открывала рот, – добавил солдат.

– Да. И еще открывала рот?

– Можно сказать? – вызвался один из учеников.

– Пожалуйста!

– Несомненно, кошка хотела проникнуть в квартиру, но не могла позвонить и взглядом просила об этом у проходящих.

– А кошка мяукала? – спросил учитель.

– Нет. Она только открывала рот и жалобно высовывала красный язычок.

6. Обсуждение случая и достойный ответ педагога

Все были заинтересованы.

Посыпались возгласы:

– Ну, конечно! Она устала мяукать!

– Она ленилась мяукать, зная по опыту, что никто не поможет ей.

– Еще бы! Надо было позвонить. Непременно!

– Это бессердечие!

– Бедное животное! Оно, должно быть, совершенно изверилось в людях.

– Тише! Эта сволочь симулировала страдание! – визгливо закричал бывший министр стертого с лица земли государства. – Ей даже лень было помяукать. Подумаешь, какие нежности! Когда человек страдает – он должен плакать, стонать или кричать, чтобы ясно было, что он страдает. А кошка должна мяукать. Я бы не помог ей! Она симулировала страдание. Она хотела надуть. Когда просишь о чем-нибудь человека, так плачь, сволочь, а если не умеешь плакать, то мяукай, по крайней мере, гадина!

– Правильно!

– Правильно! Браво!

– Господа! Я объявляю, что кошка вообще несимпатичное животное. Восемь лет назад, во время войны, революции и голода одна кошка до того изголодалась, что хватала лапами со стола деньги. Я сам видел это. Преступные наклонности этого животного очевидны.

– Какая гадость! Какая гадость! Это даже глупо! Это анекдот какой-то!

– Это не анекдот! Я сам видел! Как вы смеете?

– Довольно! – надрывался учитель. – Довольно! Слово принадлежит мне.

– Просим!

Педагог ясно и объективно объединил и своей речи ответы на все высказанные мнении и указал, что мягкосердечный человек все-таки помог бы кошке независимо от тех или иных наклонностей этого животного и независимо от того, мяукала она или не мяукала. Если даже допустить неслыханное утверждение, что кошка страдает корыстолюбием, то и в этом случае она не лишается права на сочувствие стороны человека.

А если она симулировала страдание, то давно известно из науки, что человек, симулирующий, например, сумасшествие, уже есть наполовину сумасшедший, а симуляция беспомощности или страдании есть тоже до известной степени беспомощность и страдание.

Вопрос был выяснен.

Но многие остались недовольны.

– Господин учитель, позвольте выйти! – поднял два пальца какой-то угрюмый человек.

– По какой потребности?

Выходили из залы занятий по разным потребностям, в том числе и по потребности злобы.

Для удовлетворения этой потребности была оборудована особая комната – Комната Злобы.

7. Комната Злобы при Студии Любви к Человеку

Комната Злобы была обита коричневой кожей, и вдоль стен стояли кожаные же чучела людей. Были там чучела сановников разных стран, царей, министров, революционеров, богачей, пролетариев и характерных чучел-типов всяких национальностей.

В центре комнаты стояло большое покривившееся и изодранное от ударов чучело еврея. Это чучело истязали особенно часто. У него были отрезаны нос, уши, пальцы – вообще все, что можно отрезать, – и был также криво надрезан живот, из которого торчала грязная пакля.

Жалкий вид имело и чучело армянина, хотя в Студии учился один только турок. Этот турок, затерявшийся в Европе, был очень добрым человеком и хорошим товарищем, но кожаного армянина бил он зверски, разбегаясь и вскакивая на него, на живот или на голову, обеими ногами.

Били усердно и чучело негра с твердой курчавой головой, красными губами и белыми зубами. Били чаще других два высоких худых жилистых человека, очень хладнокровных и жестоких.

Оба они выдавали себя за американцев, но однажды по случайному поводу, как это всегда бывает с раскрытием авантюр, выяснилось, что только один из них действительно американец. Выяснилось, что рьяный партнер американца по издевательству над чучелом негра не был в Америке, а бьет чучело негра потому, что зависит от американца материально и старается быть приятным ему.

Когда авантюра раскрылась, Директор очень возмутился и сделал проходимцу при всех строгое внушение.

Вообще Комната Злобы причиняла Директору немало нравственных тревог.

Учитывая душевное состояние учеников Студии, их воспитание и тяжелое прошлое, Директор оборудовал Комнату Злобы в качестве отвода, надеясь поток злобы против живых людей перенести сначала на неживые объекты, на чучело, а затем, когда ученики будут в достаточной мере подготовлены гуманным перевоспитанием, искоренить наследие прошлого яркой и сильной заключающей курс лекцией о любви и жалости к чучелам.

Однако, уже с подготовкой к этой лекции у него были затруднения.

8. Лекция о любви и жалости к чучелам и Совет педагогов

Совершенно неожиданно в Совете педагогов, когда обсуждался вопрос о включении этой лекции и программу Студии, у Директора произошло столкновение сразу с двумя из педагогов.

– Мы даже не понимаем, о чем вы говорите, господин Директор! – одновременно возмутились педагоги. – В чем дело? За кого вы нас принимаете? Чтобы мы читали лекцию о любви к чучелам?!.. Что это, издевательство или шутка? Мы из сил выбиваемся, чтобы возбудить у ваших разбойников хоть какую-нибудь любовь к живым людям…

– Прошу так не выражаться о моих учениках, – строго перебил Директор.

– Мы будем выражаться еще хуже! – горячились педагоги. – Что вы думаете, черт возьми! Вы не так богаты, чтобы оплачивать труд по воспитанию любви и жалости к чучелам!..

Единственный глаз Директора налился кровью.

– Господа, не ссорьтесь! – вмешался старый почтенный педагог. – С одной стороны, неправы наши уважаемые коллеги, утверждая, что проповедь любви и жалости к чучелам есть издевательство. С другой же стороны, неправ и наш уважаемый Директор, полагающий, что ученики нашей Студии достаточно со-

зрели для такой возвышенной любви и жалости. Это заблуждение. Любовь и жалость к чучелам является высочайшим идеалом культурного человечества, к которому надо стремиться, но который еще, к сожалению, неосуществим. Любовь к чучелу является конечной целью на пути любви к ближнему и любви к дальнему человеку. А как немного мы прошли еще по этому великому пути!

– Разрешите добавить к этому и следующее, многоуважаемый коллега, – перебил речь педагога другой педагог. – Я нахожу, что предложение нашего многоуважаемого Директора даже несколько жестоко. Если, с одной стороны, наука и разум лишают человечество любви к кумирам, то, с другой стороны, жестоко лишать его и ненависти к чучелам. Джентльмены, надо же пожалеть и душу человека!

Таким образом выяснилось, что лекция о любви и жалости к чучелам должна быть отложена на неопределенное время.

9. Печальный случай

В Студию как-то пришел бледный и худой молодой человек и попросил принять его сразу в последний, высший класс.

– Почему так? – спросил Директор, прищурившись.

– Видите ли, – сказал молодой человек, – я уже достаточно люблю людей, но мне не хватает только немногого. Чего-то самого маленького (молодой человек отмерил четверть своего указательного пальца на правой руке), – вот такого маленького не хватает. Бог его знает почему.

– А людей вы резали? – спросил Директор.

– Боже сохрани! Никогда! – ужаснулся молодой человек.

– Били?

– Почти нет.

– Что это значит: почти нет?

– Видите ли, я был клоуном в цирке и бил по щекам и голове моего партнера Тика.

– Как же били? Воедь цирковые пощечины не настоящие.

– Верно, господин Директор, но Тик, чтобы лучше тешить публику, бил меня по-настоящему, пребольно, и я отвечал ему тем же.

Наше выступление поэтому всегда пользовалось большим успехом у публики.

– Хорошо. Что же нам теперь надо?

– Мне нужно, господни Директор, чтобы меня хоть немного пожалел кто-нибудь. Тик был карьерист и никогда не жалел меня, когда отпускал пощечины.

Последней фразы Директор не расслышал. Кто-то подошел к нему, как это часто бывает в общественных учреждениях, по срочному делу и отвлек разговором.

Директор рассеянно сказал молодому человеку:

– Ладно! Вы приняты. Идите и канцелярию.

Молодой человек, сорвавшись с места и хлопнув в ладоши от удовольствия, побежал и канцелярию и, торопясь и нервничая, внес плату за учение.

Уплатив и получив квитанцию, он преобразился. Стал надменным, неторопливым, брезгливо резким и весьма уверенным. Он вышел из канцелярии и спросил у проходившего ученика:

– Скажите, граф, где тут у нас высший курс?

– Графов давно нет, сударь! – ответил ученик. – А высший класс в пятой зале, налево.

Бывший клоун нетерпеливо прошел в высший класс, направился прямо к эстраде и обратился к аудитории с горячей просьбой, прозвучавшей весьма искренно, потому что клоун действительно был искренен:

– Товарищи по любви к людям! Пожалейте меня! Меня никто никогда не жалел. Пожалейте меня, мои милые, мои чудные! Я уже внес деньги, квитанция у меня в кармане, я хочу учиться любви к человеку, я почти уже умею любить людей, но мешает любить их то, что меня никто никогда не любил и не жалел. Пожалейте же меня, друзья, пожалейте, дорогие товарищи! Я хочу ласки! Ласки! Ласки!

Неожиданная просьба клоуна была так горяча и страстна, что педагог, собиравшийся читать очередную лекцию о технике уважения, оторопел и, не зная, что ему делать – протестовать или покориться, находчиво обратился к аудитории со следующим предложением:

– Братья! Мы собирались заняться техникой уважения. Но брат клоун так трогательно просит пожалеть его, что я ничего не

имею против того, чтобы вы исполнили его просьбу и высокой техникой жалости и ласки, показанной тут же, выразили бы ему этим самым глубокое уважение, что вполне будет соответствовать сегодняшнему нашему уроку.

– Хорошо! Хорошо! – раздались голоса с мест.

В зале все стихло.

Клоун стоял на эстраде и ждал.

– Ну, начинайте же, – тихо сказал учитель.

Кто-то робко кашлянул.

– Смелее! – подбодрил учитель.

Из задних рядов поднялся высокий губастый и хмурый человек. Он, деловито и тяжело топоча, подошел к эстраде, взобрался на нее, стал против клоуна, откашлялся и заорал на всю залу:

– Мы тебя жалеем! Жалеем!.. Жалеем!.. Жалеем!..

Потом повернулся и ушел на свое место.

Вслед за ним на эстраду вышли двое. Один – фабрикант, другой – старик лавочник с весьма темной репутацией. Оба они начали кланяться клоуну, счищать воображаемую пыль с его костюма и говорить ему ласковые слова, причем фабрикант предлагал ему деньги, а лавочник – продукты в кредит из своей лавки.

После них на эстраду вышел низенький злого вида человек и долго гладил клоуна по голове, привстав для этого на носки.

Гуманная ученица, рассказавшая Директору свою горькую жизнь, поцеловала клоуна в лоб.

Министр стертого с лица земли государства медленно приблизился к клоуну и важно, торжественно вручил ему свою визитную карточку.

Затем кто-то начал рассказывать клоуну длинную историю своей любви, от времени до времени крепко обнимая и целуя его.

Клоун начал плакать от умиления.

Однако многим этот урок сильно не понравился.

Из залы занятий больше, чем когда бы то ни было, выходили по потребности злобы.

В Комнате Злобы были заняты все чучела.

Стоял гортанный звериный гул и глухой треск от ударов.

У одного из чучел была оторвана голова, и шесть человек, толкая друг друга, гонялись за ней, швыряли и били ногами.

В пылу избиения чучел пострадали двое из учеников, которым были кем-то нанесены тяжелые удары но лицу и голове.

Но самое печальное произошло с Директором Студии Любви к Человеку.

Он, когда проходил через Комнату Злобы, был – умышленно или неумышленно, этого установить не удалось, – ушиблен в голову железной палкой и скончался тут же, среди истерзанных и измочаленных чучел.

10. Национализация Студии Любви к Человеку

Печальная кончина Директора Студии Любви к Человеку вызвала много толков в обществе и печати и обратила на себя внимание правительства.

Последнее решило Студию национализировать и несколько изменить ее программу и установившиеся порядки.

Прежде всего, при Студии Любви к Человеку учрежден был штат полиции.

Затем Комната Злобы была отремонтирована, чучела были окружены железными перилами, и бить их могли только те из учеников, кто был испытан в примерном поведении и выказывал незаурядные успехи в трудной и ответственной науке любви к людям.

Совет педагогов тоже был изменен и дополнен новыми испытанными силами.

Пост главного администратора Студии занял бывший министр стертого с лица земли государства.

А Директору Студии, столь мученически скончавшемуся за действенную пропаганду любви к людям, был поставлен памятник.

Для безопасности на всякий случай памятник этому славному человеку был заключен в крепкую железную решетку.

1918

Знакомые мертвецы



У каждого живущего в это великое и грозное время преодоления и ломки старого есть список знакомых необычных мертвецов – разнообразных жертв истории. У меня список такой.

Исаак Койлер. Лавочник. Плотный меланхолический еврей в засаленном лапсердаке. Торговал стеклами для ламп и жестяными ведрами. Лавочка у него была узенькая, темная. Он в ней копался с утра до вечера. Гремел ведрами, вытаскивал цилиндрические стекла из соломенной упаковки.

Вдруг повесился. Ушел с вечера на чердак и повесился.

Почему?

Прислуга рассказывала:

– Сына его на войне побили, единственного. Жены нету у него. Только сын и был.

Странным показалось это самоубийство. Был всего только январь 1915 года. Война только начиналась. Иллюстрированные журналы печатали снимки щеголеватых героев, комфортабельные поезда с раненными «солдатиками»…

И вот еще далекая, еще неясная война полыхнула горем по какому-то Исааку Койлеру – одному из многих. Отыскала в темной лавочке среди жестяных ведер и цилиндрических стекол, потащила на чердак и – повесила…

Помню, узенькая дверца лавочки на белой снежной улице чернела весь день открытая. Вечером вынесли труп. Три нанятых еврея шли за катафалком.

Потом пришла твердая старуха, заперла лавочку, два раза потрогала замок и ушла.

Орлов. Петербургский рабочий. Слесарь. Работал на оружейном заводе. На второй год войны разочаровался в ней. Начал небрежно работать. Прогнали с завода и лишили отсрочки. Попал в запасный полк, а оттуда на фронт. Через три месяца вернулся с контуженой головой и зеленым лицом. На войне у него страшно вытянулись губы. Стали белыми, безнадежными.

О войне говорил мало, только вздыхал или отплевывался, но с такой мрачной тоской, с такой безмолвной ненавистью в усталых морщинах худого небритого лица, что жутко становилось, холодно, тяжело.

Не знаю, что меня тянуло к нему, но все же что-то тянуло. Он был отпущен «на поправку» и жил дома. Я приходил, сидел на табурете и слушал его короткие душные вздохи.

Теперь ясно, что занимал меня в нем – увы, занимательный – процесс выталкивания из жизни живого человека. Его выталкивали медленно, но верно. Отнимали силы, отнимали жизнь.

Дети начали чуждаться больного, исхудавшего, позеленевшего, ставшего чужим отца.

Жена, энергично смуглая, молодая, здоровая, занялась торговлей. Приходила вечером – румяная, пыхтящая, злая – и демонстративно резко убирала комнату.

Через два месяца Орлова опять отправили на фронт и – убили.

Я никогда не забуду этого человека, которого знал живым и целых три месяца видел полуубитым.

Еще один. Конторщик типографии. Неугомонной энергии, деловитейший человек. Присылал с фронта германские каски – дарил знакомым. Присылал также использованные шрапнельные стаканы – для пепельниц…

А всего через два месяца вернулся без ноги, бледный, всклокоченный, неузнаваемый. Но деловитость не оставила его и теперь.

На вокзале, лежа на носилках в ожидании очереди, показывал мне готовое прошение.

– Для чего прошение?

– Как же! Нужно. Ради бога, помогите, чтобы меня отправили в императорский лазарет.

– Не все ли равно?

– Это очень важно! Пенсия первого разряда! Понимаете? Первый разряд – все-таки не второй разряд.

Он всегда добивался намеченной цели. И на этот раз добился: попал в императорский лазарет.

И умер через три дня от истощения.

1917 год. Революция.

Первая «жертва». Петербургский паспортист. Тихий, рябой, вежливый. Чистенькая квартира. Граммофон. Пухлая жена в капоте. На этажерке «История человечества» в новеньких позолоченных переплетах. («Навыплат»). На столе – «Новое время».

Убили 27 февраля.

Лежал на снегу с разбитой головой до вечера. Одно ухо – в запекшейся крови, другое – прикрыто воротом пальто.

Китаец нищий.

Он стоял обычно на углу Невского и Знаменской.

Коричневый лысый обветренный череп мудро кланялся чужим, далеким, непонятным людям чужой северной столицы. Голодный иссушенный рот безмолвно открывался навстречу каждому прохожему, и жестко тянулась за милостыней пергаментно ветхая желтая рука.

Рано утром в сизом тумане, полузасыпанный снегом, лежал на тротуаре его труп.

Накануне была стрельба, и неведомая пуля далекой русской революции отняла жизнь на холодном тротуаре у одинокого заблудшего китайца.

Два дворника тащили желто-синий труп.

Прохожий рабочий в кожаной тужурке с бутылкой подмышкой стоял и смотрел с холодной недоуменной жалостью.

Матрос. Кажется, второго балтийского флотского экипажа. Не помню его фамилии. Он приходил в просветительный комитет, где я работал, за литературой. Белозубый, широкоплечий, могучий, добродушный русский ребенок.

Я встретил его 4 июля семнадцатого года в рядах большевистской вооруженной демонстрации на углу Невского и Литейного.

Играла музыка. Июльское солнце сверкало в витринах. Красные флаги алели молодо и буйно.

На краю тротуара были сложены рельсы (для ремонта). Шесть-восемь полос. Я взобрался на них и смотрел на шествие. Как раз когда матрос поравнялся со мною, началась стрельба по демонстрантам. Дикая, жуткая. Налетели откуда-то грузовики. Какие-то звероподобные люди в бандитски надвинутых на лоб фуражках стреляли во все стороны. От оглушительного треска точно запрыгали и съежились дома. Захлопали окна. Посыпались стекло, штукатурка. Завизжали вывески. Собачий тошный хриплый смертный вой вихрем взвился среди топота бегущих и падающих людей.

Я был смят, опрокинут и прижат людскими телами к рельсам. Стреляли залпами и в одиночку. В просвете между навалившимися на меня ногами, головами, животами я видел, как стрелял с грузовика тип в солдатской шинели с фиолетовым прыщавым безумным лицом. Он стрелял беспрерывно. Дрожащими руками поворачивал во все стороны винтовку, точно хотел расстрелять сразу и солнце, и дома, и прохожих, и эту пеструю синерубашечную толпу матросов.

Стрельба длилась минут десять и прекратилась.

Матрос полулежал на мостовой в луже крови. К нему подошли, подняли. Подошел и я, хромая от твердых объятий рельс. Он был ранен в грудь, но находился еще в полном сознании.

– Дурачье… – слабо простонал он, прижимая платок к груди и отплевываясь кровью, – такое дурачье…

Странно и значительно прозвучала невинная, почти добродушная брань в устах только что раненного.

Его внесли в кафе. Кляксы крови отмечали весь путь его – увы! – последний. Поднялась суматоха. Кричали, суетились, телефонировали.

Матрос угасал. Глаза помутнели, но он слабо повторял:

– Дурачье… дурачье…

Через двадцать минут умер почти без стона.

В открытые окна кафе звонко ударилась музыка. Это шел Московский полк. Веки матроса вздрагивали на закрытых уже глазах. Музыку опять прервали новые выстрелы…

Высокий неизвестный человек снял шляпу и перекрестился.

Кто был тогда в этом кафе, тот никогда не забудет этой смерти без стона среди солнца, музыки и выстрелов…

Братья Лазерсон. Оба рыжеватые, с веснушками, в пошловатых котелках, в болтающихся щеголеватых коротковатых брючках.

Были очень похожи друг на друга лицом и ростом, обоих отличала ласковая спокойная энергия, вежливо улыбающаяся настойчивость. У одного только сидел в глазах упрямый честный огонек, а у другого огонька не было, а была водянистая «светская» ироничность.

И вышло так, что тот, с честным огоньком, был противником революции и злобствовал, а другой вскоре после Октябрьской революции записался в коммунисты.

Оба убиты.

«Коммунист» расстрелян чрезвычайной комиссией за спекуляцию кожей. А второй к концу года признал советскую власть и поехал с продовольственным отрядом по деревням менять мануфактуру на хлеб.

Его убили крестьяне. Не хотели его мануфактуры и не хотели, чтобы жил на свете этот рыжеватый еврей с честным огоньком в глазах.

Этого мертвым я не видел, а «коммуниста» видел в Москве, в мертвецкой, в Знаменском переулке.

Он лежал с вытянутыми в мольбе руками, с простреленной головой, с открытым ртом, уткнутым в необструганную свежую сосновую доску.

Сторож мертвецкой, старик, сказал задумчиво, позвякивая ключами:

– Платье на ем хорошее.

И в доказательство провел ключами по мертвой ноге.

В Петербурге в кабаке «Кавказ» матросы убили лакея за какую-то путаную пакость.

Лакея я знал давно. Несчастный грязный глупый человечишко. С назойливой типичностью, представляя целые поколения мелких подлецов, подленько улыбались черные корешки льстивых зубов и подленько болтались фалдочки затасканного лакейского фрака.

Перед убийством кабак заперли вместе с посетителями, и я не мог уйти от мрачного зрелища.

Жиденькому оркестру приказали не прекращать игры, «чтобы не было паники». Потом подозвали лакея и начали бить – стульями, столами, подносом, прикладами и ножами. Десять минут длилась звериная давка, и лакей, наконец, захрипел. У поляка дирижера от ужаса вздулся на узкой спине парусиновый пиджачок.

Когда лакей был мертв, его поднял за ворот низкорослый крепыш, поставил на мертвые ноги, дотащил до дверей и, как живого, с размеренной методичностью вытолкнул во двор.

...Помню, как широкими резкими ударами билось у меня в висках и в сердце.

В прошлом году заболел у меня приятель. Лежал в городской больнице, где я посещал его.

Когда я приходил, лишь только завидев меня, из смежной палаты, с трудом ступая от слабости, выходила больная девушка, товарищ Лиза. Черноглазая, с нежной улыбкой и такими незабываемыми голодными жадными глазами.

– Умоляю, дайте папиросу, – обращалась она ко мне. – Умоляю! Здесь не разрешают, а я с ума схожу. Дайте! Умоляю!

Обыкновенно просьба заканчивалась мучительным кашлем.

– Кто она? – спросил я приятеля.

– Партийная. Чудный человек! Совершенно одинока, бедняжка! Ездила по фронтам, заработалась, измучилась. Несомненно кончается... Ужасно больно. Тут вокруг все холодные хамы, даже поговорить не с кем, а партийные заняты... известное дело...

– А что мне делать? Дать папиросу?

– Давай! Все равно... И с папиросой, и без папиросы...

Я давал, а на другой день опять:

– Дайте папиросу. Умоляю! Кажется, никто не видит. Давайте скорее!

Как-то я пришел, и никто не вышел из палаты... Широкие больничные окна равнодушно белели. С тупой покорностью открывалась и закрывалась дверь.

Приятель был расстроен, угнетен.

– Что?

– Позавчера ночью.

Я зашел в ее палату. Стояла накрытая шершавым одеялом пустая койка.

У изголовья висел привязанный к железному прутику тощенький пучок цветов.

Недавно проездом я остановился на сутки в провинциальном городке, в котором несколько лет назад провел весну. Тогда я объездил на велосипеде окрестности и любил останавливаться у кузницы Гришкина.

Привлекал меня в кузнице буйный огонь, веселый треск молота, лошади и мужики, топтавшиеся у входа, а потом стал привлекать и сам Гришкин, здоровенный бодрый умный мужик. Я любил с ним разговаривать, слушать его рассуждения о лошадях и местных нравах, которые заканчивались у него неожиданным пессимистическим выводом:

– Эх, жизнь… твою мать!

Теперь, уезжая из городка на лошадях, увидев знакомый черный силуэт кузницы, я остановился и пошел повидаться с Гришкиным.

Но Гришкина я не нашел.

В соседней лавчонке мне сообщили, что Гришкин сильно поспорил «за политику» и разбил кому-то голову молотом, а зимой крестьяне связали его и утопили в проруби.

– Беспокойный был человек, царствие небесное, – закончил лавочник. – Мы ничего, жили с ним по суседству ладно, а многие не признавали.

– А кузня, что же, пустует?

– Пустует.

Я вошел в кузницу. Не было в ней буйного огня, не было буйного Гришкина и не было веселого яростного треска. Запыленная наковальня накренилась. На земляном пороге росла трава.

На земле на гнилом дышле в центре кузницы сидела огромная крыса, похожая на ежа.

Увидев меня, она нисколько не испугалась и оставалась неподвижной.

Я хотел вспугнуть ее, сделав два шага вперед, но она не двигалась с места. Только повернула темную усатую морду, мигнула ко-

ричневым глазом, и только после того как я топнул ногой, недовольно, не спеша, крайне неохотно отошла вглубь кузницы.

За годы гражданской войны количество «знакомых мертвецов» чрезвычайно увеличилось, запомнить всех стало трудно.

Но один еще врезался в память и до сих пор стоит в ней – яркий, резкий и могучий.

На крохотной южной станции в тылу отступающей Красной Армии, отступающей от Деникина, – стоял санитарный вагон. В ней находились только что привезенные с фронта раненые. Несколько человек скончалось тут же, по дороге, и среди них Глебов, милый мой спутник по трудному пути из Москвы в Киев. Он был «комендантом» теплушки, он пел песни, он посылал нас по строгой очереди за водой… Он был во всем и всегда за правду, за справедливость, за равенство – этот истый сын народа… Он был вполне убежден, что правде мешают только плохие темные люди, и ярость его против них была безгранична. Когда он спорил, то рвал на себе гимнастерку, комично хватался от избытка чувств за бока, за колени, за сапоги; открывал рот в спазме отчаяния и – застывал.

Мне рассказали, что в атаку он пошел – зимой – без рубашки, перевязав голую грудь красной лентой… Перед самым боем бросил винтовку и побежал на белых, подняв руки и исступленно крича… Впрочем, не он один так шел. Это был стиль героического отчаяния и наивысшая форма боевого революционного пафоса.

Его убили просто и холодно.

И в вагоне лежал он раздетый – не успели одеть – с той же красной лентой на груди.

Никто не говорил о его героизме. Лица вокруг были хмуры. Точно никто не понимал ничего. Точно ничего не случилось.

На площадке санитарного вагона кто-то примеривал штатское пальто и блаженно улыбался. А внизу около кучи экскрементов худой парень, высоко задрав голову, пил из медного чайника, отплевывался, тяжело дышал, оглядывался и меланхолически ругался – совершенно бессмысленно – нараспев, все теми же неизбывными русскими кровно матерными словами.

1922

Лимонада



Посвящается Холстомеру и Изумруду

У нас в комиссариате среди средств передвижения были два автомобиля и нечто вроде экипажа, в который впрягалась Лимонада. Эта Лимонада встретила революцию еще жеребенком, мать ее была убита случайной пулей левого эсера, восставшего вместе с другими левыми эсерами в 1918 году. Лимонаду подобрал Кузьма, человек, между прочим, за все время революции не менявший профессии конюха, и в 1919 году это уже была лошадь как лошадь. Красивой ее вряд ли можно было назвать. В ее походке было что-то задумчиво сутуловатое и интеллигентное, хотя и весьма демократическое. Она была похожа приблизительно на народного учителя, на эту, как известно, наиболее привлекательную разновидность интеллигенции. Затем, когда я узнал Лимонаду в начале 1919 г., она была очень любознательна, и всем нравилось это ее особенное свойство. Она подходила к новому человеку, становилась против него на совсем близком расстоянии и смотрела прямо в глаза своим взглядом серьезной девушки, доверчивым и нежным, но одновременно и строгим.

Почему ее звали Лимонадой, я не знаю, не знал и Кузьма, и мне кажется, что это неважно.

Двор был большой, двойной. Кузьма любил во всем широту и отпускал Лимонаду бродить по двору, пока он возился с укладкой упряжи и приведением в порядок разбитого экипажа, всегда нуждавшегося в ремонте.

Когда наступили наиболее тяжелые голодные месяцы, и сено становилось таким же редким и ценным предметом, как и хлеб, выражение любознательности усиливалось на лице Лимонады, и она бродила по двору, обнюхивая уменьшенными исхудавши-

ми ноздрями остатки приспособлений для фонтана, украшавшего некогда буржуазный дом. Бывали и такие дни, когда Кузьма открывал конюшню, ложился спать, а перед тем как лечь, говорил Лимонаде не без отчаянья:

– Нет у меня для тебя ни… иди проси милостыню, может, и подаст тебе кто.

Лимонада отходила от стойла, весьма сдержанно ценя свою свободу, долго стояла и думала на пороге конюшни, и уходила во двор, переходя из одного в другой. Дом был огромный, подъездов было много не только с улицы, но и со двора. И около всех стояла и дожидалась чего-то Лимонада. Каждого входящего и выходящего она провожала пристальным взглядом, причем взгляд этот становился все более и более утомленным и недоверчивым.

Между тем времена наступили самые трудные. С фронта шли плохие вести, Москва была хмурая, в снегу, в грязи, в напряженной мысли и великой скованности. К тому же было и злобы весьма много. Но сотрудники нашего комиссариата все же кое-как держались, а некоторые, получавшие по два пайка, даже благоденствовали. Пайки же в нашем учреждении организовал ловкий человек, завхоз Брыкин, и теперь у подъезда дожидался его вместе с Лимонадой и сам Кузьма. Когда выходил Брыкин – очень важный, кричавший даже на некоторых заведующих отделами, – Кузьма обратился к нему, указывая на Лимонаду:

– Товарищ, достань овса маленько, гибнет скотина. Неужто тебе трудно достать хоть немного?

И тут, к удивлешнию Кузьмы, Брыкин посмотрел на Лимонаду и сказал:

– Хорошо. Напиши заявление. Овес есть. И сено есть. Дам и того, и другого. Ну? Что? Довольна будешь? Ты! Морда!

Эта ласка уже относилась, конечно, непосредственно к самой Лимонаде.

И действительно, Брыкин не только обещал, как многие завхозы, но и выполнил: Кузьма принес в конюшню овса и сена почти столько, сколько мог поднять. В связи с этим обстоятельством отношение Кузьмы к Лимонаде несколько изменилось. Он

стал более строг к ней. Неизвестно, чем руководствовался этот расчетливый паренек, определяя в количественном отношении ее обед или ужин, но бывали дни, когда пучок сена, подаваемый Лимонаде, напоминал по размерам обыкновенную банную мочалку. Нельзя сказать, чтобы эта мера, проводимая Кузьмой с такой твердостью, не повлияла на изменение характера Лимонады и развитие в ней той реальной трезвости, которая оказалась ее отличительным свойством. Удивительно только, как такая закаленная трезвая выдержка и непоколебимая воля совмещались в ней с поразительной худобой и крайне жалким болезненным видом.

Шея Лимонады от худобы выгнулась. Ноздри еще уменьшились и неприятно напоминали маслины. Уши повисли, и когда шевелились, то напоминали те движения, какие производит муха крылышками, когда неуклонно и безнадежно погружается в жижу липкой бумаги.

Голова стала чрезмерно большой, легкой и костлявой. Над глазами появились впадины. Грудь почти исчезла, и ноги неубедительно подпирали длинное худое тело с резко выдающимися ребрами. Круп иссох, стал крутым, и тазовые кости торчали краями кверху наподобие крыши фанзы и покачивались, когда Лимонада переставляла свои ставшие непомерно длинными ноги.

Но выражение лица было все то же: любознательное.

Как раз к этому времени я был командирован заведующим нашим отделом в типографию с отчетом, который надо было отпечатать в виде отдельной брошюры. Типография находилась в противоположном конце города, и мой заведующий, кутаясь в чудовищную шубу, полученную по ордеру, за гигантским столом в своем кабинете милостиво сказал мне:

– Скажите, чтобы запрягли для вас экипаж.

И вот Кузьма вывел Лимонаду из конюшни, а она осмотрела меня и, с усилиями передвигая ноги, стала в оглобли. Кузьма сделал, что полагается, и сел на облучок. Я тоже уселся и даже покрыл колени кожаным пологом. Каждый из нас троих делал вид, что все в порядке. Кузьма даже издал губами чмокающий звук, подавая Лимонаде знак двигаться. В этом звуке было что-то

от давно ушедшей добродушной лени и упругой кучерской сытости. Но Лимонада не двигалась с места.

Кузьма опять чмокнул и потянул вожжи.

Лимонада не двигалась.

Тогда Кузьма, выпрямив спину, строго сказал: «нно!» – сильно рванул вожжи и достал из-под облучка остатки толстого кнутовища, которыми ударил Лимонаду по горчащей тазовой кости.

– Холера! Нно! Ннну-о! Ах ты, сволочь!..

Кузьма опять ударил Лимонаду кнутовищем, ударил не раз и не два, а раз шесть, совершенно не считаясь с жалким видом животного, соскочил с облучка на землю и подошел к Лимонаде спереди, чтобы увидеть, что произошло и о чем думает Лимонада. Чтобы расшевелить думу на ее теперь серьезном и покорно строгом лице, он ударил ее кулаком по губам, ударил больно, потому что Лимонада мотнула головой как-то особенно болезненно.

– В чем дело? Она больна? – сошел и я с «экипажа».

То, что ответил Кузьма, не являлось чем-либо особенным ни по форме, ни по содержанию, но выражало вполне его чувства. С искаженным лицом он побежал в конюшню, вернулся оттуда с палкой и стал бить лошадь остервенело, не бить – рубить, как мясник, тяжело дыша…

– Ну, ты с ума сошел! – бросился я к нему. – Разве так можно? Дикарь ты этакий, негодяй!

Я отнял у него палку, причем не мог не заметить, что Кузьма охотно выпустил палку из своих рук. Похоже было на то, что он бьет Лимонаду по обязанности, но знает, что есть другой способ заставить ее двигаться.

Лимонада же стояла с тем видом, с каким стоят и люди, и лошади, когда твердо, определенно знают, чего хотят, и знают, что добьются этого.

На боках ее, спине и жалких костях на крупе виднелись серые следы побоев.

– Сволочь! – плюнул Кузьма и, зайдя опять в конюшню, вышел оттуда с небольшим, с кулак, клочком сена.

– На! На! Уж погоди! Я с тобой посчитаюсь!

Я опять уселся, подражая Кузьме, который теперь садился уверенно. Он взял вожжи, и Лимонада пошла. Шла она, правда, без особой прыти, но все-таки шла.

Когда я сдал заказ в типографии и вышел оттуда, повторилось то же самое. Сначала и Кузьма, и я усаживались, нисколько не сговариваясь, делая вид, что все в порядке, но Лимонада опять не пошла...

Опять повторилось то же самое. Была ругань, были побои. Но Лимонада пошла только тогда, когда Кузьма достал из-под облучка клочок сена и ткнул им в челюсти Лимонады.

Лимонада перестала верить в кредит... Она требовала наличного расчета при условии уплаты вперед...

Жизнь была трудна. Доверия не было. Начиналось великое недоверие революции.

У Кузьмы кончился запас сена. Из подвала, где выдавали паек, сотрудники выходили почти с пустыми руками. Очередь перед подвалом была уныла.

Лимонада хорошо знала этот подвал. Бывали дни, когда она подстерегала каждого, кто выходил оттуда. Она обнюхивала все то, что человек выносил оттуда, и, случалось, получала кусочек хлеба, морковку или кусочек сахару. Если наиболее нечуткие ее отгоняли, то она становилась в очередь... Однажды она даже, выставив вперед свои нелепые ноги, пыталась пойти в подвал... Да, да, она пыталась. Она была похожа на очень худую костлявую женщину, переступающую через большую лужу... Что и говорить, ей было тяжело... Но и всем было тяжело.

Все чаще и чаще наши сотрудники выходили из подвала с пустыми руками. Они выносили только спички. Их было много, этих вонючих спичек, которые надо было держать на метр от себя, пока они разгорались.

Стоит ли рассказывать о тех, кто издевался над Лимонадой? Были и такие. Они давали Лимонаде эти спички. Конечно, это были дрянные люди, но Лимонада не обижалась на них. Она даже из вежливости обнюхивала коробку, хотя уже узнавала по виду ее ненужность и никчемность...

Завхоз Брыкин стал тих и задумчив. Он перестал кричать не только на некоторых заведующих отделами, но даже на простых служащих. А когда подвал был закрыт, он ходил по двору, заложив руки за спину, и беспрерывно зевал – на нервной почве.

Замечательно, что Лимонада в этот период не выходила из конюшни на двор. Она стояла у пустого стойла и лизала холодные доски, слизывая с них свою собственную замерзшую слюну.

К этому времени и относится посещение конюшни завхозом Брыкиным.

Он остановился на пороге и спросил:

– На черта ты мучаешь животное? Не много с нее возьмешь, а все-таки накормил бы товарищей. Как-никак – конина.

Кузьма подошел к Брыкину вплотную и ничего не ответил. И Брыкин понял, что Кузьма не отдаст Лимонады. Брыкин и не настаивал.

Между тем жизнь шла своим путем.

Отчет в типографии не был готов. В наборных отделениях было всего четыре градуса тепла, у рабочих мерзли пальцы. Кроме того, рабочие были голодны. Работа поэтому подвигалась крайне медленно.

И наш начальник, кутаясь все в ту же чудовищную шубу, говорил мне:

– Ну, как отчет? Типография все еще саботирует? Передайте им, что если отчет не будет готов до первого числа, все они будут в Чека.

Я не был согласен с тем, что рабочие саботируют, и считал упоминание о Чека в данном случае совершенно бестактным. И конечно, и не думал повторять нелепой угрозы в типографии.

Но отчет все-таки не подвигался, и поэтому, когда в наше учреждение кто-то неожиданно прислал целую повозку хлеба, я стал проявлять инициативу. Я подошел к повозке, остановившейся в центре двора. Вокруг нее уже стояли и ходили люди, а некоторые добровольно взяли на себя функции охраны, несмотря на то, что специальная охрана в лице возницы и члена профсоюза находилась тут же.

Все же я протянул руки и взял два больших хорошо запеченных вздутых хлеба. Взял и положил на землю у колеса. Затем взял таким же образом еще два хлеба и положил поверх первых. На меня смотрели с глубоким интересом, смешанным с изумлением, но не сказали ни слова. Я действовал властно, власть в то время имел тот, кто сильно хотел и знал, чего хочет, и поэтому мне никто не мешал. Подняв затем эти четыре хлеба не без труда – истощение не миновало и моего организма, – я отнес их в конюшню и положил около Лимонады.

Любознательность ее на этот раз не превысила обычной нормы. Лимонада посмотрела на хлеб, затем на меня и после паузы – на Кузьму, который лежал в углу на мешках и курил махорку.

– Запрягай Лимонаду, – сказал я ему, – отвезем хлеб в типографию.

– Никак нельзя, – тихо и торжественно ответил Кузьма, – никак невозможно.

– Почему?

– Ничего не знаете, что ли?

– Нет, не знаю?

– Товарищ Брыкин помер. Сейчас будем его хоронить. Окромя Лимонады, некому свезти.

– Когда же он помер?

– Два дня тому назад.

Я оглянулся на двор. Он показался мне более мрачным, чем обыкновенно, и скука, великая скука свисала с крыш домов вдоль бедных общипанных исхудавших стен и тусклых, во многих местах забитых досками и заткнутых тряпками окон.

Во дворе уже собирались товарищи, и у ворот двое привязывали к нашему знамени черную тряпочку.

Мне стало очень жалко Брыкина. Но чувство это не успело занять большого места в моем сознании. Оно мгновенно же уткнулось в технические соображения: на чем же свезут на кладбище беднягу? Не на экипаже же, надо полагать…

Тут я заметил, что перед одним из подъездов стояла тележка-«платформа», небольшая, но на которой гроб поставить можно было вполне.

Наконец Кузьма, бросив курить, вывел Лимонаду. Проходя мимо меня, она взглянула на меня, без особой, впрочем, значительности во взоре. Просто взглянула. Кузьма привычным жестом повернул Лимонаду и ввел в небольшие утлые оглоблишки несолидной тележки.

Товарищи, решившие провожать Брыкина, стали приближаться к подъезду. Повозка с хлебом осталась почти без зрителей. Человека три еще оставалось около нее. Это были наиболее настойчивые люди, наиболее деловые: их не удовлетворяло одно лицезрение хлеба, они, очевидно, хотели дождаться, чтобы увидеть, куда его отнесут и кто это сделает.

Минут десять спустя из подъезда под звуки «Вы жертвою пали» вынесли белый некрашеный гроб с телом нашего бывшего завхоза и бережно поставили на тележку. Надежда Ивановна, его помощница по службе, без слез, но, по-видимому, искренно переживая горечь утраты, накрыла гроб куском красной материи.

В общем, все было, что называется, прилично. Брыкина, работника комиссариата и члена советской организации, хоронили все-таки хорошо, не так, как неведомых обывателей: тех просто вывозили черт знает на чем. Зимою – чуть ли не на салазках.

Родных у Брыкина не было. За гробом стали его ближайшие товарищи по работе: члены месткома, заведующая складом, два артельщика и другие. А за ними остальные, желавшие отдать последний долг Брыкину. Говорили о том, что он был хороший человек и хороший товарищ. И действительно, похороны показали, что у него было все же немало друзей. Не понравился мне только один из тех, кто стал за гробом. Это хитрый эгоист Попов. Чистенький, аккуратненький, стройный, он стоял позади всех с велосипедом, который принадлежал комиссариату и которым нераздельно и неограниченно пользовался он один. Но разве это удобно – за гробом ездить на... велосипеде?

Лимонада, уже давно запряженная, стояла спокойно, одними глазами, не поворачивая головы, поглядывая по сторонам. Кузьма, несколько стеснявшийся необычной для него роли по-

хоронного возницы, стоял шагах в десяти от готовой к шествию процессии.

Ждали почему-то коменданта дома. Когда он явился, захлопотавшийся, быстрый, и махнул рукой, Кузьма смущенно подошел к Лимонаде, взял вожжи и чмокнул, как всегда.

Но тут осталось невыясненным одно обстоятельство. Люди бывают забывчивы. Кузьма, очевидно, не подумал на этот раз о Лимонаде, пойдет ли она… А сена у него не было.. Покойника же возить в кредит было бы совсем уж бессмысленно…

И когда Кузьма чмокнул губами и потянул вожжи, он застыл, смутился, растерялся, оглянулся, открыл рот… Он вспомнил.

И тут произошло следующее.

Собственно, не было решительно никаких оснований думать, что Лимонада и тут, при таком тяжелом случае, как покойник, не свезла бы его в кредит. Правда, Кузьма чмокнул губами и потянул вожжи. Но мало ли что! Он мог еще раз чмокнуть и потянуть вожжи. Лимонада вовсе не обязывалась пускаться в ход с первого чмокания. Таким образом, повторяю, весьма возможно, что Лимонада пошла бы в кредит; по крайней мере, я глубоко в этом убежден, но на всякий случай из жалости к Брыкину, из уважения ко всей похоронной процессии, ко всему комплексу благородных чувств, заставляющих людей оказывать почести уже никому не нужному трупу, я подошел к Лимонаде и дал ей ломоть хлеба, заблаговременно отрезанный в конюшне от одного из четырех хлебов, предназначенных для наборщиков…

Никто не обратил внимания на то, что в такой торжественный и печальный момент я подошел к лошади и стал ее кормить хлебом. Публика была дисциплинирована: если кучер на меня не кричал, то, значит, так нужно было… А Кузьма на меня не думал кричать. Наоборот, он с благодарностью смотрел на меня, в то время как Лимонада смотрела на меня виновато и смущенно, пока ее челюсти вяло от хронической слабости жевали тяжелый черный хлеб…

Четыре хлеба я запер в конюшне на замок и, так как замок был ржавый и слабенький, я на всякий случай посидел около конюшни до вечера, а вечером перенес хлеб в канцелярию и спрятал.

Утром же мы отвезли хлеб в типографию. Отчет набрали, отпечатали, и он выскочил в виде брошюры.

Лично я был рад этому чрезвычайно. Мне приходилось меньше бывать в этой очень далеко отстоявшей типографии, меньше приходилось прибегать к услугам Лимонады и слышать брань Кузьмы и удары палки по несчастным ее ребрам.

Однако эта же Лимонада, почти ничего не евшая, дошедшая до предельной худобы, трезвая Лимонада, знающая цену людям и никому не верящая, оказалась нужной мне, несмотря на мое нежелание пользоваться ее усилиями…

Работа моя была связана с частым передвижением по городу, а средств передвижения не было никаких. Два автомобиля находились в распоряжении начальства и были недосягаемы для нас, рядовых работников. Поэтому, когда арестовали чистенького и аккуратненького Попова за довольно регулярные хищения, я завладел его велосипедом и стал забывать о том, как мучили меня чувства острого стыда, неловкости и жалости, когда меня возила Лимонада.

Два месяца я носился по холмистым улицам Москвы на благородной стальной машине, не знающей усталости и не имеющей чувств, столь ненужных и тягостных для раба и осложняющих чувства повелителя.

Два месяца я мог свободно, без задних мыслей эксплуататора, гладить жилистую шею Лимонады и трепать сухие вялые волосы ее поредевшей гривы.

Но на третий месяц я был настигнут на крутом спуске автомобилем как раз в тот момент, когда несся на велосипеде. Уступить дорогу автомобилю я не мог, потому что с левой стороны мокрые рельсы торчали из-под камней развороченной мостовой, а с правой продавали картофель с воза, и вокруг кишела оживленная и азартная толпа. Соскочить же с велосипеда нельзя было, потому что спуск был очень крут. Автомобиль по этой же причине задержаться не мог или не хотел, и вот немедленно же после удара в заднее колесо я взвился на аршин вместе с велосипедом, а так как эта машина, как известно, вовсе не приспособлена для того, чтобы так высоко под-

прыгивать на ней, то несколько спиц вонзились туда, куда им вовсе не следует вонзаться, и одновременно же образовалась каша из колес, резины и моего мяса, а что произошло после – я не помню.

Помню только, что из больницы меня везла домой Лимонада, и из-под бинтов, свисавших, между прочим, и на глаза, я видел края все той же покачивающейся фанзы и большие худые уши на ставшей совсем тонкой голове… Друг милый, как благодарить мне тебя?.. Что пожелать тебе?

И вот вдруг, то есть, конечно, не «вдруг», а, вообще-то говоря, весьма вовремя, раздался клич Троцкого: «Пролетарий, на коня!». Обычным зрелищем после этого явились люди всевозможных видов, но одинаково ведущие на сборные пункты коней без упряжи, на одном поводке.

Среди этих людей можно было найти и Кузьму. Он вел Лимонаду, как все, и Лимонада шагала несколько удивленная: любознательность ее еще не покинула, и она раздумывала, куда это ее ведут без экипажа. О чем думал Кузьма, неизвестно, но факт таков, что, вернувшись без Лимонады, он долго и охотно смеялся:

– Взяли шкилета моего. От конь! Арабский скакун! Кто на ней будет скакать?..

Оказывается, Лимонаду взяли, несмотря на худобу и истощенность.

– Ничего! За месяц откормится! – сказали там, на пункте. – Главное, класс хороший и порядок в лошади есть.

И вот не стало Лимонады на нашем дворе. Кузьма числился на службе и ничего не делал. Тогда еще не «сокращали», и это было возможно даже при условии длительности. Но Кузьма не терял времени даром, он попал в кружок по ликвидации неграмотности, и это обстоятельство, крайне тонкое и, в сущности, хрупкое, связало его с Лимонадой, вернее, дало возможность не терять с ней связи, а через него и мне…

Тут я не могу обойтись без лирического отступления. У кого из нас нет таких дел, которые и не дела вовсе, а так, чепуха, о которой не рассказывают никому, далее близко-

му товарищу, даже другу, потому что неловко об этом рассказывать, потому что нет, собственно, материала для рассказа. Например, стоит ли, есть ли смысл рассказать о том, что собака у сапожника выросла и стала грустить, и что если смотреть ей в глаза, то она не может выдержать взгляда, потому что чувствует себя виноватой, или о том, что сын водопроводчика, двухлетний Алешка, который выползает во двор в одной рубашонке, будет похож не на отца и не на мать, а на своего дядю, который в воскресенье играл на гармонии, а затем лихо танцевал цыганские танцы с топотом и пришаркиванием. Ну что это за сообщение? Кому вы об этом расскажете? Все заняты, у всех свои сложные путаные дела. Станете ли вы делиться с кем бы то ни было такими пустяковыми наблюдениями?.. Если вы еще выходите из дому вместе, скажем, с вашим другом и если вы не заняты важными разговорами, и вам на пути попадется собака сапожника, вы еще можете сказать вскользь:

– Смотри, как она выросла! (Если, конечно, ваш друг знал эту собаку и раньше.)

Или вы можете высказать предположение об Алешке, на кого он будет похож. Но просто говорить об этом где-нибудь в учреждении, на службе или еще где-либо неудобно ведь. Просто глупо. Могут усомниться в вашей нормальности, не говоря уже о том, что будут считать бездельником и пустым человеком. А сколько у нас таких наблюдений, о которых не говоришь до времени и о которых нет никакого смысла говорить!

Ну так вот, среди подобных дел было у меня и такое: когда я встречал Кузьму на лестнице, в воротах, он говорил мне сначала о том, что Пищик хорошо кормит Лимонаду. Ах, вы не знаете, кто такой Пищик? Пищик это красноармеец, которому досталась Лимонада, когда она попала в эскадрон. За две недели хорошего питания она поправилась. Пищик относился к ней хорошо. Кузьма часто ходил и эскадрон и рассказывал Пищику о привычках и свойствах Лимонады. Времени у него, по-видимому, было достаточно: на службе ему нечего было делать.

– Парень бедовый, – говорил Кузьма о Пищике. – Хороший парень!

Но эскадрон с Пищиком и Лимонадой ушел на фронт неожиданно, тихо. Кузьма не знал, когда и куда он ушел. И тут помогла ликвидация неграмотности. Пищик написал Кузьме письмо, а Кузьма ему ответил, и переписка вообще наладилась. Таким образом, во время моих встреч с Кузьмой я узнавал не только мелкие вещи, о которых не стоит рассказывать никому, попадались и крупные новости, и даже очень крупные, например, месяца через три Кузьма мне сообщил, что Пищик убит в рубке, а Лимонада жива и досталась Богомазову. Но Богомазов – это уже не Пищик, нет… Вот он написал письмо, этот Богомазов, но какое странное письмо… Слог такой торжественный и строгий. Он, видите ли, доволен Лимонадой, а после окончания войны он возьмет ее к себе в деревню – такое будто бы вышло постановление, что красноармейцам после войны будут подарены лошади… Для чего ему было писать такое письмо? Кому это интересно, что будет после войны?

Время было трудное.

Я уехал в другой город и вернулся в Москву через два года. Один раз я написал Кузьме письмо, но ликвидация неграмотности не зашла еще так далеко, чтобы он мне ответил. Кроме того, Кузьма был мужчина с характером – таких знакомых, как я, было у него много, и зря переписываться тоже был не расчет.

Так я и не знал ничего больше о судьбе Лимонады и стал забывать о ней, пока, вернувшись в Москву, не встретил однажды Кузьму на Петровке на облучке наемной извозчичьей пролетки и с тем выражением лица, какое можно видеть у всех извозчиков, когда они долго ждут седока.

Когда я подошел к нему, он очнулся от окостенения и с готовностью нагнулся ко мне, знакомым мне жестом шевельнув вожжами. Не узнал и спросил по-профессиональному:

– Куда прикажете?

– Здравствуй, Кузьма!

Посмотрел. Узнал. Обрадовался.

– Откуда? Как? Вот встреча-то!

Побеседовали и, конечно, вспомнили о Лимонаде.

Оказалось, что Лимонада в Москве…

– Да неужели?

– Да, да… А как же!..

Эскадрон, в котором находилась Лимонада, прибыл в Москву; Кузьма случайно узнал об этом и навестил его. Там он узнал, что Богомазов тоже убит, и Лимонада перешла к другому красноармейцу, Кушнеренко, и под ним была ранена в шею пулей. Кушнеренко выходил ее во время болезни, и с ним же она прибыла в Москву, когда прибыл весь эскадрон. Теперь она для строя не годится. Подбор лошадей стал более строгий, и ее передали в санчасть, где она сейчас и находится.

И на этом пришлось бы закончить рассказ о Лимонаде, если бы не случайная встреча с ней у Александровского сада первого мая 1923 года, встреча, которая сильно помогает закончиться рассказу теплым чувством, обыкновенно сопровождающим разлуки и встречи между всеми живыми существами, если они происходят редко…

День быль ярчайший. Воздух, раскаленный синевой и музыкой, волновал бесчисленные красные знамена, и песни, как зарево, стояли над домами, разукрашенными зеленью и радостью распахнутых окон.

Улица перед Александровским садом была заполнена колоннами рабочих, ждущих очереди, чтобы пройти на Красную площадь. Вперемежку с рабочими шли и допризывники, спортсмены, комсомольцы, а среди них попадались украшенные зеленью и флажками автомобили, до предела заполненные кричащими, хохочущими и поющими детьми. Но, очевидно, количество автомобилей было недостаточно, так как в одном случае повозку, тоже груженую детьми, везла лошадь, украшенная ленточками и зеленью. Во время ожидания, когда часть детей, чтобы размяться, сошла с повозки, буйный мальчонок, возясь около лошади, ударил ее веткой.

– Зачем бьешь Лимонаду? – наскочил на него другой, и я, взглянув на лошадь, взволновался.

Да, это была Лимонада… Но как она изменилась!.. Голова значительно наклонилась, спина погнулась, живот увеличился и повис… Лицо стало суше, губы почернели и покрылись морщинами, глаза стали меньше, терпеливее, сосредоточеннее, но уже без выражения любознательности… Один глаз был красный и глядел так, точно хотел сказать:

– Да, нелегко жить на этом свете…

Но другой, чересчур спокойный, тут же спокойно добавлял:

– Но все же жить интересно и следует жить, пока живется.

И губы при этом шевелились некрасиво, по-старчески. И уши подрагивали у Лимонады от удара барабана в оркестре, и узловатые ноги как будто хотели шевелиться в такт, но не шевелились, а стояли и думали о чем-то прямом, тяжелом, давно предрешенном.

Я подошел к Лимонаде и погладил ее по порядком выцветшей гриве. Она взглянула на меня, не повернув головы, и не узнала меня… Совершенно не узнала…

– Здравствуй, Лимонада! – сказал я и объяснил заинтересованным мальчишкам: – Я давно знаю эту лошадь. Ее зовут Лимонада, да? А кто ее хозяин?

– Доктор! Доктор! – отвечали дети. – Доктор, дядя Иван Семенович, дал нам повозку.

– Она не узнает меня… – сказал я и еще раз потрепал ее по сухой почерствевшей коже шеи. – Ну что, не узнаешь меня? Ты! Морда! (Такими словами ласкал ее давно покойный завхоз Брыкин, и почему-то те же слова произнес и я.)

Но Лимонада смотрела спокойно и сдержанно равнодушно, и я ничего не мог прочесть в ее глазах, кроме того, что ею много пережито, что она немного устала, как все мы, но хочет жить, так же, как и мы, люди, и вот, постаревшая и измученная, все же мотает головой и прядает одним ухом, когда ликующе бьет первомайский весенний барабан…

«Прощай, Лимонада, – мысленно сказал я, когда повозка тронулась, – прощай, честная советская лошадь! Ты не узнала меня

и ты молчишь, но наша встреча не стала от этого менее содержательной. Да здравствует в этот светлый майский день молчаливая и скрытая правда всех оправданных страданий и радостей: людей, животных, цветов и всего живого!»

1923

Немой роман



Я подошел к умывальнику, чтобы вымыть руки. Взял кувшин, нагнул его, но оказалось, что вместо воды кувшин наполнен какими-то бумажками.

– Черт знает что такое! – выругался я. – Ну и гостиница!

В самом деле, гостиница была неважная. И номер дрянненький. Но что же делать? Лучшие были заняты, а я устал с пути и надоело искать..

Я направился к звонку, чтобы вызвать номерного и, как водится, поворчать для собственного успокоения, но вместо этого подошел к кувшину и полюбопытствовал, что за бумажки. Мне показалось, что они исписаны.

Действительно, на первой бумажке, которую я достал из кувшина, было написано мужским почерком:

«*Женечка, милая, не плачьте! Все будет хорошо*».

А на обороте тем же почерком, но более нервно и, несомненно, в сильном волнении выведено:

«*Не кричите. Вы сами не слышите, что кричите, а в коридоре могут услышать*».

Я ничего не понял.

Очевидно, стены этого видавшего виды номера видели нечто страшное и жуткое. Но что это было?

Сильно заинтересованный и даже взволнованный, я высыпал все бумажки из кувшина на стол и, забыв про усталость, погрузился в чтение.

Некоторые записки были на больших листах, и на них писали попеременно: он и она – герои этого странного свидания в гостинице. Это помогло мне восстановить последовательность любовного объяснения, запротоколенного, как оказалось потом, по печальной и горькой необходимости.

Вот эти записки в чуть-чуть исправленном виде:

«*Куда вы меня привели? Это – гостиница. Я никогда не ходила по гостиницам*».

«*Нам надо поговорить. На улице нельзя. Ведь вы не слышите*».

«*Да, я глухая. Зачем вы подошли ко мне?*»

«*Вы мне нравитесь. Я уже неделю слежу за вами*».

«*Я заметила. Но это неправда, что я вам нравлюсь*».

«*Правда*».

«*Я сейчас уйду. Я не хочу здесь быть. Здесь кровать. Зачем вы меня привели сюда? Это нехорошо*».

«*Как же иначе? На улице с вами нельзя поговорить, а я хочу с вами познакомиться*».

«*Нам не надо знакомиться. Вы – говорящий, а я глухая девушка*».

«*Это ничего не значит. Один мой знакомый влюбился в глухую и женился на ней. У них уже дети. И дети говорят. Как вас зовут?*»

«*Женя*».

«*Где вы учились? Вы так хорошо пишете*».

«*В приюте для глухонемых, я окончила*».

«*А что сейчас делаете? Где живете?*»

«*Одна живу. Мать умерла в прошлом году. Вышиваю. Ну, я уйду, всего хорошего*».

«*Нет, вы не уйдете. Я вас не отпущу*».

Тут ровный тон переписки кончается. Очевидно, знакомство продолжалось иным путем, но нервный взволнованный почерк записки говорит о том, что ухаживатель за глухонемой держал себя грубо.

«*Я ухожу,* – писала дрожащей рукой девушка, – *вы не имеете права трогать меня. Что такое? Как вы смеете?*»

В тоне же и почерке его ответной записки чувствуется спокойное самодовольство обыкновенного тротуарного пошляка:

«*Извиняюсь! Но, уверяю вас, это полезно. Ну, я вас не буду трогать. Не уходите! Сами будете жалеть*».

В промежутке между этими записками и последующими, очевидно, происходила та молчаливая борьба улыбками, взглядами и молчанием, которая почти всегда оказывается более решающей, нежели борьба словесная или даже физическая.

Слабое сопротивление девушки отразилось только в одной записке.

«*Почему вы не хотите сесть там, где я указываю? Что вам от меня нужно? Отпустите меня!*»

…Я долго всматривался в лежавшие предо мной скомканные записочки, в их кривые наскоро набросанные слова и

строки и постепенно представил себе во всей полноте картину соблазнения глухонемой девушки говорящим искателем приключений.

В сущности, необычайного в этом ничего не было. Но в трепетной дрожи рук, которая отразилась в записках, в нервной торопливости, с какой теснились одна к другой буквы и строки, чувствовалось что-то бесконечно жалкое.

Чем больше я всматривался в почерк девушки, тем глубже чувствовал ужас ее немого одиночества, бессильного, неуверенного и томящегося.

Это было ясно: она не могла противостоять соблазну.

«*Я больше не хочу здесь сидеть,* – писала она. – *Чего вы целуетесь? Это нахальство! Это низк…*»

Прервано.

Записка скомкана. Очевидно, опытный глаз соблазнителя лучше читал по лицу девушки, чем по ее записке. Он не дал ей дописать.

Что-то слабое, женское, покорное было в этой недописанной и скомканной записке.

Но, по-видимому, дело шло не все время легко и гладко.

Пришлось писать и ему:

«*Женечка, бросьте ссориться! Отчего вы плачете?*»

«*Обидно. Коли бы я была говорящая, – вы не смели бы*».

«*Дурочка, я вас не обижаю. Вы мне нравитесь. При чем тут, что вы глухая?*»

«*Я не дурочка!*»

Тут чувствуется пауза. Следующие записки написаны на новой бумаге, каких-то обрывках, чуть ли не на газетных полях.

Она пишет. Тон резко изменившийся. Примиренный.

«*Вы лезете целоваться, а кто такой – не говорите*».

«*Я служу в конторе «Шпэк и К-о» и получаю 100 руб. одного жалованья*».

Опять пауза.
Затем опять нервный твердый разгонистый почерк:

«*Как вам не надоест все целоваться и целоваться? Я зашла с вами по глупости. Вы верно написали, что я дурочка*».

«*Вы не дурочка. Вы умница! Вы мне все больше и больше нравитесь. У вас чудное личико. Я обожаю такие лица*».

«*Если вы не будете сидеть спокойно, я уйду. Я не хочу целоваться с вами. Вы не смеете!*»

«*Сколько вам лет, Женечка?*»

«*Как вы думаете?*»

«*17*»

«*Нет, 19. Старая уже. Ну, теперь я уйду. В другой раз встретимся. Который час?*»

«*Еще рано. Вы не уйдете. Это судьба, что я вас встретил. Мы часто будем встречаться. Я буду вас любить, Женечка!*»

«*Неправда*».

«*Правда. Я даже могу жениться на вас*».

«*Отпустите меня. Вы – говорящий, а я глухая девушка. Говорящие не женятся на глухонемых*».

«*Женечка, милая, не плачьте, все будет хорошо*».

«*Зачем я пришла сюда? Какая я глупая! С первой встречи нельзя…*»

Опять перерыв.

На этот раз, по-видимому, наиболее продолжительный.

Последующие записки написаны усталым почерком – это сразу бросается в глаза.

Он пишет:

«*Я больше не буду. Хотите лимонаду?*»

Ответ, вероятно, был дан не письменный.

Остальные записки относятся к различным моментам, несомненно, запутавшихся отношений.

Вот они:

«*Знаете, как мы будем жить? Шикарно! У меня будет собственная контора. Я буду работать, потом приду домой. Дома меня встретит красотка женка, и я буду…*»

Следует нецензурная, наивная и в то же время безжалостно хамская фраза, из-за которой, по-видимому, сильно скомкана и изорвана вся записка.

Мне стало душно. До чего примитивно нечуток, по-детски жесток и наивно циничен этот безжалостный цельный городской дикарь!

Следующая записка.

Трудно сказать, когда она была написана: до последней или позже.

Надо полагать, что позже.

Он пишет.

Пишет твердо и злобно. На картоне папиросной коробки чернильным карандашом:

«*Зачем вы кричите? Замолчите! Закройте рот!*»

И то же самое на обороте одной из записок, которая попалась мне в руки первой:

«*Не кричите. Вы сами не слышите, что кричите, а в коридоре могут услышать*».

Затем опять ее записка – горькая, тяжелая:

«*Не трогайте меня! Я вас не знаю. Что вам от меня надо? Отпустите меня! Что вы со мной делаете?*»

И еще одна, ее же, – прямо жуткая:

«*Вы – нехороший человек. Я вижу по вашим губам, что вы меня ругаете*».

Его ответ:

«*Я вас не ругаю. Только вы не кричите. А то вы кричите и сами не слышите. Безобразие!*»

Затем опять перерыв и две последние записки, так не вяжущиеся с предыдущими.

Она пишет:

«*Я знаю, вы больше не встретитесь со мною, потому что я сама виновата. С первой встречи нельзя позволять мужчине…*»

Не дописано.

Затем еще строка:

«*Отчего вы шевелите губами? Опять меня ругаете?*»

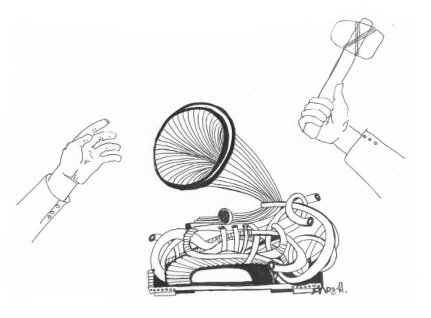
Его ответ.

«*Я не ругаю вас. Я пою!*»

И на этом протокол романа кончается.

1917

Граммофон веков



1. Кукс наконец добился цели

Едва ли возможно обстоятельно описать вид изобретателя Кукса и обстановку его рабочего кабинета, когда в это счастливое для него утро к нему пришел его старый друг Тилибом.

– Что с тобой? – развел руками Тилибом. – Кукс, посмотри на свои вывороченные ноздри, на поседевшую голову, на красные глаза и дрожащие руки! Взгляни на себя в зеркало! Что с тобой?

– Я счастлив, – закрыв глаза, утонул в улыбке Кукс. – В первый раз в жизни счастлив. Правда, я не спал шестнадцать ночей и совершенно обалдел, но все-таки счастлив. Ты говоришь, что у меня вывернутые ноздри, – пожалуй, это возможно, так как восемь ночей подряд я нюхал изобретенный мною состав. Но все-таки сегодня я счастлив.

Желчный Тилибом, лукаво усмехаясь, спросил:

– Не закончил ли ты свой замечательный «Граммофон веков»?

– Ты угадал, Тилибом,– мягко и беззлобно, как всегда, ответил на колкость ученый. – Ты угадал, мой друг! Ты, конечно, не поверишь, но сегодня я все-таки победитель. Да, «Граммофон веков» закончен. Совершенно закончен.

Тилибом но только не поверил, он искренно пожалел своего друга. Ему слишком надоела сорокалетняя история этого горемычного изобретения. Сорок лет Кукс работал над утверждением теории, что звуки человеческого голоса и вообще всякие звуки запечатлеваются в виде особых невидимых бугорков на всех неодушевленных предметах, вблизи которых они раздаются. Бугорки эти, по теории Кукса, сохраняются в течение веков, и новые отпечатки звуков ложатся на старые слоями, как наслаиваются пыль, песок и многие вещества в природе. В доказательство основательности своей теории Кукс обещал изобрести аппарат, который расшифровывал бы наслоения звуков. И этот аппарат – в соединении с усовершенствованным,

усложненным граммофоном – должен был восстановить слова давно умерших людей, миллиарды слов ушедших поколений…

Задача, поставленная себе Куксом, была столь грандиозна и дерзка, что два короля (Кукс начал работу за десять лет до полного и всеобщего социалистического переворота в Европе) давали ему субсидию, а третьим королем, более нетерпеливым, он был посажен в тюрьму, и только по настоянию королевы, отличавшейся добротой, переведен в сумасшедший дом.

Кукс же все-таки не смущался и, освободившись от субсидий, тюрьмы и сумасшедшего дома, продолжал работать над изобретением и, как сможет убедиться читатель, добился-таки своей цели.

«Граммофон веков» был закончен. Кукс не лгал.

2. Изумительное изобретение

По старому лицу Кукса, изрытому годами, трудом и муками гения, продолжала блуждать усталая и счастливая улыбка.

Тилибом стоял неподвижно и чувствовал, что его недоверие тает, как мороженое под весенним солнцем. В усталой улыбке Кукса было то, что убедительнее фактов и, во всяком случае, слов.

– Покажи же мне аппарат, Кукс, – сдался наконец Тилибом.

Но было поздно: Кукс уснул.

Счастливый изобретатель спал тридцать пять часов и проснулся от собственного крика. Ему снилось, что кто-то ломает и топчет его чудесное изобретение.

Он вскочил с глубокого кресла, в котором спал, протер глаза и оглянулся: в кабинете никого не было, и аппарат, на создание которого он потратил почти всю жизнь, стоял с невинным, затаенным и равнодушным видом всякой машины.

Кукс вызвал по телефону Тилибома, и друзья приступили к осмотру и пробе чудесного аппарата.

Кукс необычайно оживился, бегал вокруг «Граммофона веков» и обращался к каждому винтику, как к живому существу:

– Ты успокоился, наконец, – погрозил он пальцем какому-то рычажку, похожему на полуоткрытый рот идиота. – Побежден, брат, ага! Шестнадцать лет не покорялся, а теперь я тебя завое-

вал, хе, хе… Теперь ты на своем месте… Да, товарищ, терпение и труд все перетрут.

На вид «Граммофон веков» был неприятен: он напоминал гигантского паука, перевитого змеями-трубами. Из боков его, как мертвые рыбьи морды, неподвижно торчали широкие клещевидные рычаги. Всюду жесткой небритой щетиной волосатилась черная проволока, а у белой маленькой головки-верхушки машины с одним синим стеклышком-глазом была пристегнута большая и кривая раковина, похожая на ухо.

– Как тебе нравится? – потирал от удовольствия руки Кукс.

– Ничего, занятная штука, – неопределенно ответил Тилибом.

3. «Граммофон веков» на работе

Щупальцы, рычаги и трубы аппарата были приспособлены для укладки в ящик-футляр. В ящике «Граммофон веков» имел вид обыкновенного фотографического аппарата и был весьма удобен для переноски.

– Где начнем? – спросил Кукс.

– Где хочешь. Но испробовать надо основательно. Спешить некуда, денег за это не дадут, патент тоже не нужен. Нужно только представить Академии, а для этого не мешает хорошенько испытать его…

Шутки Тилибома не отличались оригинальностью – денег давно уже не было в употреблении, патентов тоже, и даже остроты на эту тему никого не смешили.

– Да и хорошо, что нет денег, – вздохнул Кукс. – Во всяком случае, лучше, чем получать субсидии от королей и богачей, будь они прокляты, и бывать за это на их празднествах и именинах, толкаться в свите дураков и ничтожеств, поздравлять, улыбаться, унижаться, льстить. Ах, на что ушла моя молодость!.. На какую чепуху!..

– Ну, нечего, нечего, старик! Ближе к делу. Начнем.

– В кабинете я уже все выслушал. Вплоть до того, что говорили каменщики, когда складывали стены на постройке.

– А что они говорили?

– Судя по темам их бесед, дом этот строился лет за десять до торжества социализма. Прежде всего, они, конечно, скверносло-

вили. Затем двое ссорились из-за партийных разногласий. Потом подрались. Две пощечины звонко восприняты и отчетливо повторяются машиной. Затем постройка, очевидно, долго оставалась недостроенной и служила бойницей, баррикадой или чем-то в этом роде. Машина оглушительно стреляет, кричит, стонет и плачет на разные лады. Я думаю, что лет пять постройка пустовала – вероятно, в период революции, гражданских войн и упадка производства – потом ее достроили. С песнями достроили, со смехом, с бодрыми звуками охотного радостного труда… Я слушал звуковую биографию постройки, эту симфонию строящегося дома, с огромным интересом… Ну, идем, нам предстоит еще многое интересное.

– Если ты говоришь правду, то поставь аппарат сюда, в твою столовую, я хочу немедленно убедиться. Это слишком уже сказочно, – засуетился Тилибом. – Кабинет ты выслушал, а теперь послушаем столовую.

– Хорошо.

Кукс принес аппарат, повозился над ним, отошел, сел и пригласил сесть Тилибома.

«Граммофон веков» задрожал, зашипел и начал… Слова, десятки, сотни, тысячи слов, нанизывались на тоненький металлический заунывный бесконечный стон валика…

Будничные слова, разговоры, восклицания, звуки шагов, хлопанье дверей, смех, плач…

Вдруг особенно громкий детский плач.

– Это моя Надя плачет… – тихо сказал Кукс. – По поводу смерти Мани, моей жены… А вот голос покойницы Узнаешь?..

Тилибом, бледный и взволнованный чудом, встал и слушал с раскрытым ртом. Из раковины машины ровно вылетали слова и фразы:

– Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста! Здесь душно. Я открою окно.

– Мой муж так занят.

– Всегда, всегда занят.

– Надя! Надя! Оденься теплей!

Тысячи обыденных слов, фраз. Но оба слушали, затаив дыхание.

И вдруг – крепкий молодой голос молодого Тилибома:

– Мария Андреевна, Маня, Манечка, я люблю вас! Так люблю! Я не могу видеть этого старого дурака, вашего мужа, этого сумасшедшего… Как мне жаль вас… Маня, я люблю… тебя…

Тилибом закрыл руками лицо.

Кукс смотрел на пол. Машина продолжала вить нескончаемую ленту из слов, фраз – четких, беспощадных, страшных и невинных. Разных.

В живой стенографии былого нашлось, между прочим, и такое место:

– Кто тут был? Опять этот каналья Тилибом? Как надоела мне его бездарная рожа! Как надоела!

Это говорил Кукс сравнительно недавно…

Пять часов пролетели незаметно. Друзья устали. Они выслушали многое нелестное о себе, сказанное в разное время устами обоих. Тилибом не раз пытался соблазнить жену друга, но оказалось, что ее соблазняли другие друзья…

Но все это затмили слова и обстоятельства людей, раньше живших в доме. И на фоне звуков жизни, горя, радости, смеха и отчаяния маленькими и неважными казались личные обиды или измены.

– Руку! – добродушно улыбнулся Кукс, подойдя к Тилибому. – Видишь, мы стоим друг друга. Но забудем об этом. Все это минувшее. Двадцать лет живем в царстве социализма, а все еще продолжаем быть маленькими, подленькими… Но наши дети уже иные… Твой сын, Тилибом, уже не таков.

– Да, Кукс, мой сын иной, а следующее поколение будет прекрасно. Уже сейчас, всего за двадцать лет, успел наметиться облик будущего человека. Нам, Кукс, будет казаться он несколько странным, но это неизбежно. Будущий человек будет наивнее нас, здоровее, крепче, чище, а главное – счастливее, Кукс… счастливее.

– Это не все и не совсем так, – добавил Кукс. – Новый человек будет умнее нас, несмотря на наивность. Да, друг, просто умнее. Напрасно думаешь, что ты умен с твоим великолепным цинизмом. Цинизм – это величайшая неразборчивость, смешанная с глубочайшим равнодушием, а между тем то и другое происходит только от бессилия, только от слабости. Новому человеку не для чего быть циником. Он будет умным, великодушным и гордым, потому что будет, прежде всего, сильным. Посмотри, какие сейчас

попадаются лица у молодежи, какие чистые глаза, какие цельные натуры сквозят в них, какие отчетливые черты и чуткие души.

– Да, да, – радовался Тилибом, что неприятный разговор принял столь неожиданный поворот. – Новый человек будет прекрасен. И даже мы, старые псы, от одной близости этого нового человека стали лучше и умнее… Если бы твой проклятый «Граммофон веков» разоблачил нас лет двадцать тому назад, разве мы были бы так спокойны?..

Друзья стояли и смотрели на пол, и глубокие черные морщины бороздили их усталые лица. В этих морщинах шел невидимый и великий процесс. Новая мысль, новая жизнь вспахивала старое и искала почвы для новых ростков…

– Кто знает, – задумчиво вздохнул Тилибом, – может быть, для победы над слабостями человека, которые нам казались непобедимыми, вовсе не нужны сотни лет…

– Конечно, гораздо меньше, – согласился Кукс.

4. Люди стремились стать хорошими, но жизнь уже была прекрасна

В 1954 году, в десятый год всеевропейского социализма, был проведен закон, по которому не должно было быть ни одной квартиры, ни одного дома, ни одной комнаты без солнца. Тысячи старых сырых темных домов были разрушены. К наиболее же крепким приделаны стеклянные крыши и потолки, а в совершенно бессолнечные квартиры и комнаты солнце привлекалось особыми перекидными зеркалами.

И солнце в этом году сияло, как никогда, и как никогда освещало и радовало. Город, утопающий в зелени и зеркалах, с аэроплана казался морем света и радости, а внизу давал то же ощущение в еще более ярких живительных оттенках.

Восход солнца встречали музыкальные гудки и оркестры. В некоторых районах города в фабричных трубах сохранились аппараты, которые первым пытался ввести еще в 1920 году голодный героический Петербург. В каждой трубе аппарат издавал отдельные мощные ноты, а все трубы вместе оглушительно пели прекрасные

песни. Сейчас эти старые аппараты звучали только в некоторых районах. Они имели особых любителей – старых революционеров.

Новое поколение завело – по тому же принципу – оркестры. В каждом доме – жилом или рабочем – была впаяна мощная звуковая гамма, правильно сочетавшаяся с нотами других домов.

И яркая мощная музыка встречала восход солнца, будила трудящихся, провожала их на работу, на обед и домой.

Заводы и фабрики представляли собою уютные гнезда удобств, располагающих к труду и созиданию.

Город управлялся советами, причем так как советов было много, то участие в них не освобождало от трудовых повинностей. Порядок в городе охраняли по очереди жители районов. Постоянная милиция была упразднена, но потребность в ней все же сказывалась, и ее заменили всеобщим дежурством по районам. Преступность сократилась до неслыханных в истории человечества размеров: в крупных городах за год убивали не больше десятка людей, причем убийства происходили большей частью только на романической и патологической почве. С каждым годом таких убийств становилось меньше. Суд почти не функционировал. Нечто похожее на суд, но в более мягкой форме, представляли собой организованные с 1951 г. «Камеры Способностей и Призваний», в которых ежедневно судили людей за вялую непроизводительную работу, доискивались причин ненормального отношения к труду и старались открыть в обвиняемых настоящее их призвание и дать работу по способностям.

Для наиболее отсталых имелись специальные «Мастерские Опытов», в которых ученики пробовали себя на различных поприщах. Вопрос о способностях и призваниях был одним из труднейших вопросов социалистического быта. Еще в 1919 году в молодой неокрепшей Социалистической Республике России служащих социалистических учреждений опрашивали, к чему они склонны и чем бы хотели заняться. Вопрос этот оказался более сложным, чем можно было предположить, и он не нашел полного разрешения за первые двадцать лет существования социалистического общества. Довольно значительным группам трудно было найти себя.

Но как помогло им в этом отношении общество?

Одна из следующих глав даст читателю представление о «Камерах Способностей», так как ученый Кукс, прославившийся

необычайной любовью к своему делу, был в числе людей, помогавших широко прививать это необходимое для творчества и созидания свойство.

5. Кукс не расстается с «Граммофоном веков», и изобретение становится известным в городе раньше, чем в Академии

Кукс сросся с аппаратом. Он не мог расстаться с ним, а Тилибом не отставал.

– Смотри, какая умница, какая прелесть, – восторгался Кукс.

В самом деле, радостно, легко, прекрасно было на улицах, как, впрочем, и в домах в светлую эпоху второй половины двадцатого века.

По широким тротуарам двигалась масса людей. Эпоха выработала новый тип человека: горожанин этой эпохи был крепок, сухощав, строен, легок. Формы платья отличались простотой. Совершенно не видно было мудреных визиток и фраков, которые носили в начале бурного столетия, и которые делали мужчин похожими на птиц, а женщин, одетых в разноцветные тряпки, – на кукол. Любое сердце, любая душа, любые глаза радовались, глядя на новых мужчин и женщин, на свободные формы костюмов, на радостные лица, чистые глаза, белые счастливые зубы девушек.

Улицу вдруг залило что-то светлое, яркое, многоголосое, свежее, буйное и прекрасное.

Это были дети… Их было несколько тысяч. Полуголые, смуглые, счастливые, с песнями и смехом они шли за город на прогулку и занятия. На обвитых зеленью и цветами фургонах ехали маленькие, слабые или уставшие. Бодрым, буйным и радостным ветром повеяло от быстрого шествия детей. По дороге шествие разрасталось, так как к детям, жившим отдельно в огромных «Дворцах Детей», присоединились и ночевавшие у своих родителей.

Кукс и Тилибом многое множество раз видели утренние шествия детей, но всякий раз испытывали чувство восторга.

Так старый лесной житель, давно привыкший к чудному воздуху, все же с наслаждением вдыхает его полной грудью и находит слова для выражения восторга…

– Хорошо! Как хорошо! – вырывалось поочередно то у Тилибома, то у Кукса.

– А все-таки, что было раньше на этой улице? – спросил сам себя, поглядывая на «Граммофон веков», Кукс. – Было ли всегда так?

– Давай послушаем.

Кукс вынул из ящика аппарат, поставил и завел.

Прохожие сначала мало обращали внимания на двух стариков и машину. Думали, что демонстрируется чья-то странная речь или пьеса. Они не знали происхождения звуков, вылетавших из странной раковины, похожей на ухо.

Несколько подростков окружили аппарат, но мало понимали из того, что слышали.

«Граммофон веков» опять нанизывал на тихий заунывный визг валика тысячи и десятки тысяч слов и звуков…

Все это было такое обычное, такое повседневное для старой ушедшей жизни…

Кого-то били. Кричали. Ловили вора. Арестовывали. Крики и брань сменялись возгласами извозчиков и прохожих. Жалкие песни и мольбы нищих часто прерывали обычные звуки уличной жизни. В третий час работы аппарата старики услышали крики убиваемых, насилуемых. Это был какой-то погром…

Постепенно все-таки аппарат собрал толпу любопытных.

– Какая это пьеса? – спрашивали у Кукса.

Кукс горько усмехнулся.

– Это не пьеса, граждане! Это жизнь! Сама жизнь этой улицы. Ее биография. Через несколько дней Академия Наук примет «Граммофон веков», по его образцу будут сделаны копии, и вы узнаете историю каждого камня, каждой глыбы земли. Граждане, камни – это немые свидетели страшной истории человечества. Но они немы только до поры до времени. Вам известно выражение, что камни вопиют. Вот они возопили. Слушайте, сколько горя, сколько отчаяния, сколько человеческих слез и человеческой крови знает каждый камень старого мира, и послушайте, как они говорят – камни, когда наука дает им возможность рассказать все, что знают.

Люди смотрели на Кукса и слабо понимали его речь. Он говорил долго, искренно и горячо, но его все-таки не понимали.

Дикие крики рвались из рупора машины, стоны, горькие унижения нищих, столь обычные в свое время, окрики полицейских, унылый гомон подневольно работающих измученных, издерганных рабов…

Но люди слушали живые жуткие звуки ушедшей жизни и воспринимали их, точно в кошмаре.

Старые понимали, но проходили, а молодые только глядели удивленно, с гримасами боли и отвращения.

6. В «Камере Способностей и Призваний»

Тилибом сдался окончательно:

– Ты великий человек, Кукс, – сказал он. – Я покорен твоим изобретением. Но знаешь, история человечества страшна. В книгах и даже картинах это производит не такое ужасное впечатление, как в живых звуках. Вчера, когда тебя не было дома, я разрешил себе воспользоваться аппаратом и послушал мою квартиру… У меня на лестнице лежит большой старый щербатый камень… Будь он проклят, но даю слово, что он был плахой, или же я заболел галлюцинациями. Крики. Понимаешь, сплошь крики и стоны замученных, зарубленных, зарезанных…

Затем я гулял по саду с аппаратом. И там то же самое… Всюду плач, крики, пощечины, издевательства, насилия… И только иногда все это сменяется однообразными словами любви. Редкие однообразные слова любви и избиение – вот главная ось истории людей. Когда об этом читаешь – это одно, но когда слышишь живые голоса, стоны, крики и мольбы – это ужасно, непостижимо, страшно. Ты великий человек, Кукс, если ты смог заставить говорить неодушевленные предметы.

Кукс поблагодарил за комплимент и сказал:

– Все это хорошо, я только не знаю, какое применение найдет «Граммофон веков». Видишь, люди не понимают его. В социалистических школах учат больше строительству будущего, чем знакомят с делами прошлого. Очевидно, им некогда особенно ревностно интересоваться старым. Мой аппарат, надо полагать, ста-

нет только пособием для историков, а о широком применении придется забыть.

– Да это и понятно, Кукс! Интерес к больному и скверному прошлому вызывает больное и скверное настоящее, а если настоящее радостно и прекрасно…

– Завтра я сдам аппарат в Академию. А сегодня я еще проделаю опыт в «Камере Способностей». У меня там занятия сегодня. Хочешь, поедем со мной.

– Поедем.

«Камера Способностей и Призваний» представляла собой зал, занятый особыми аппаратами и приспособлениями. Сюда приходили трудящиеся, недовольные своим трудом, чувствующие равнодушие к своему делу. Они просили особых специалистов помочь им разобраться в причинах, посоветовать, в крайнем случае, взяться за другое дело, и за какое именно. «Камера» была преддверием многих корпусов, объединенных общим названием «Мастерская Опытов».

«Мастерская Опытов» представляла собою изумительное зрелище. Здесь велась разнообразнейшая работа. Результаты бывали порою чудесны: в плохом слесаре обнаруживался талант актера, в актере – призвание к консервированию сельдей, а в педагоге – влечение к пчеловодству.

Работа «Камер» и «Мастерской Опытов» с каждым годом постепенно уменьшалась, так как работу ее предупреждали усовершенствованные школы, помогавшие ученикам вовремя разобраться в своих способностях и остановиться на определенной профессии.

Куксу выпало на долю беседовать с высоким хмурым молодым человеком с широко развитой нижней челюстью и глубоко сидящими узкими глазами. Молодой человек был очень силен. О необыкновенной силе его говорили длинные узловатые руки с тяжелыми выступами мышц.

– Садитесь. Чем вы занимаетесь? – спросил Кукс.

– Я каменщик. Разбиваю в щебень камни.

– Давно занимаетесь этим?

– Четыре года, то есть со времени окончания образования.

– Почему вы тяготитесь своим делом?

– Я грущу во время работы, и это уменьшает производительность моего труда.

– Раньше работа интересовала вас?

– Интересовала.

– Что вы испытывали тогда во время работы?

– Я сначала не мог разбивать крепкие камни и старался научиться этому. Приятно было видеть, как большой камень от двух-трех ударов моего молота разлетается вдребезги. Затем приятное чувство притупилось. Приходилось развлекать себя как-нибудь во время работы. Мне начинало казаться, что у камней есть лица. Если лицо мне нравилось, я откладывал камень, если нет – разбивал его. Однажды большущий камень мне показался похожим на морду отвратительного пса, и я разбил его в бешенстве. Вообще я чувствую, что подобная работа возбуждает во мне скверные инстинкты… Самое приятное в моей работе – это когда мне в камне чудится интересное лицо, и я в нем стараюсь высечь черты, нос, глаза… Но тогда моя работа непроизводительна, и я отстаю от товарищей…

– Вы должны заняться скульптурным искусством. Это ясно. Занявшись этим, вы будете чувствовать себя на своем месте.

Каменщик восторженно поблагодарил Кукса и отправился в «Мастерскую Опытов» поступать на скульптурное отделение.

– Вот во что превратился «суд» в социалистическом обществе, – улыбнулся Кукс Тилибому. – А интересно, что скажут эти молодчики, когда узнают как следует про суд прежний? Тут недалеко есть ветхое старое здание, в котором когда-то был суд. Сейчас в этом здании какой-то музей, и никто не помешает нам выслушать воспоминания его стен, потолков и половиц.

Кукс пригласил с собой нескольких посетителей «Камеры» и отправился с ними в музей.

«Граммофон веков» заработал более удачно, чем когда-либо.

Кукс и Тилибом сидели, точно и оцепенении.

Одна яркая страшная картина суда сменялась другой. Грозные речи прокуроров, показания свидетелей, реплики судей, вопли обвиняемых и осужденных – все это было захватывающе жутко.

Как минута, пролетело несколько часов.

Когда Кукс и Тилибом очнулись, они обменивались растерянными взглядами: никого из молодежи не было. Им, очевидно, было скучно, и они ушли, занятые собой, своей работой, определением своих способностей, своей здоровой и яркой жаждой творчества…

7. Вечер

Торжественно садилось огромное красное солнце.

Трудящиеся давно вернулись из фабрик, мастерских и всяких учреждений. Улицы поливались водой. Над крышами приятными волнами струилась механическая музыка домов.

На высоком здании «Вечерней Кино-Газеты» дежурные готовились отпечатать на темном небе важнейшие сведения за день. Они ждали захода солнца.

Молодежь разбрелась по садам и паркам. Веселый смех заполнял аллеи. Передвижные летучие театры забавляли и развлекали гуляющих. В некоторых местах к артистам присоединялись прохожие, образовывалась толпа, которая разыгрывала тут же экспромтом составленную пьесу. Восторги участников и зрителей сливались в общем ликовании.

Когда небо потемнело, на нем появилось множество сведений за день: отчет производства, который интересовал всех, потому что производимое принадлежало всем; усовершенствования, примененные за день в различных областях груда, виды и указания на завтрашний день и новости, полученные из других городов и стран.

Желающие могли в сотнях кинематографов наблюдать картины труда за истекшие сутки, жизнь всего города, учреждений и многое другое.

Кто хотел, шел смотреть жизнь школ и детских колоний, кто – заводов, кто – театров. А были и такие, которых интересовала снятая в течение дня и показанная на экране только жизнь улиц за день.

Играли симфонические оркестры, пели хоры.

Были и «Кварталы Тишины», куда могли уходить желающие полного покоя.

Кукс и Тилибом сидели в саду на крыше огромного дома Кукса. Старики молча читали вечернюю небесную газету и обсуждали, как и все жители города, прочитанное.

– А о моем изобретении пока ни слова, хе, хе… – усмехнулся Кукс.

– На днях прочтем, – утешил друга Тилибом. – Скоро прочтем, и во всех кинематографах замаячит твоя физиономия.

8. Скандал и Академии Наук

«Граммофон веков» был, наконец, испытан, и наступило время сдать его в Академию Наук.

Не без волнения сделал это Кукс.

В Академии был собран цвет человеческого гения и знаний. По случаю исследования нового изобретения были приглашены представители всех крупных Академий Наук Европы.

Целую неделю испытывали «Граммофон веков».

Испытание изумительного аппарата вызвало, к сожалению, два несчастья. Один из ученых, творец «Новой этики», присутствовал при том, как аппарат работал в саду под старым дубом.

Оказалось, что когда-то под этим дубом расстреливали человека, и поистине ужасна была мольба обреченного:

– Стреляйте, только не в лицо!

Эта просьба кем-то неизвестно когда убиваемого человека произвела столь удручающее впечатление, что чуткий создатель «Новой этики» начал биться головой о землю и, как выяснило дальнейшее его поведение, сошел с ума.

Второе несчастье было не менее трагично.

Когда аппарат в другом саду начал с беспощадной яркостью воспроизводить сцену истязания мужика помещиком, и сад огласился жуткими воплями истязуемого, присутствовавший среди ученых старый революционер вдруг бросился к аппарату, повалил его и начал топтать и ломать ногами.

В общем шуме даже не слышно было, что при этом выкрикивал возмущенный революционер.

Кукс лежал в глубоком обмороке.

Когда он очнулся и несколько успокоился, его пригласили на собрание ученых.

Усталый, разбитый пошел он в зал, ожидая выражения сочувствия и думая о том, можно ли исправить аппарат.

Но, к изумлению своему, Кукс сочувствия ни от кого не получил, и никто даже не протестовал против порчи аппарата.

– Ваше изобретение, гражданин, – сказали ему, – велико, но, к сожалению, оно совершенно бесполезно. Пусть будет навеки проклят старый мир! Нам не нужны его стоны, нам не нуж-

ны его ужасы. Мы не хотим слушать его жутких голосов. Будь он проклят навеки! Кукс, посмотрите в окно! Сегодня праздник. Смотрите на наших детей, слушайте их голоса – здоровые, счастливые, слушайте, скажите, не кощунство ли слушать одновременно этот ужас, каким вопиет ваша дьявольская машина? Вы гениальны, Кукс, но во имя новой радостной жизни пожертвуйте своим гением. Не мучайте нас. Мы не хотим знать и слушать о старом мире, от которого ушли навсегда.

Кукс хотел возразить, что он не согласен, что он видит даже сейчас многие несовершенства, которые можно было бы устранить именно действием его машины, но он устал, возражал слабо, и его не слушали.

9. Печальная судьба «Граммофона веков»

Кукс взял изувеченный аппарат и побрел домой. Дома ждал его Тилибом.

Кукс рассказал ему о пережитом. Тилибом выслушал и произнес:

– А ведь они правы, Кукс! Знаешь, с тех пор, как я ознакомился с работой «Граммофона веков», а потерял покой. Я обалдел. Я грущу. Я часто плачу. Я начал сомневаться в тебе, в твоей дружбе. Я тебе не рассказывал, но я завел аппарат в моей квартире и услышал немало гадостей, которые ты изволил говорить у меня дома в моем отсутствии.

– А скажи, пожалуйста, разве ты не пытался соблазнить мою покойную жену Маню?

– Да, да. Мы стоим, конечно, друг друга. Старый мир с его лицемерием, ложью, предательством и гнусностью еще но окончательно вытравился из наших душ, но не надо освежать его в нашей памяти.

Кукс молчал.

– И помимо личной мерзости, – продолжал Тилибом, – в ушах моих постоянно звучат стоны, крики, проклятия и ругань, которыми был переполнен старый мир и о которых вопиет при помощи твоей адской машины каждый камень, каждый клок шту-

катурки, каждый неодушевленный предмет. О, я счастлив, что «Граммофона веков» уже нет. Я прямо счастлив.

Кукс молчал.

Когда Тилибом ушел, он лег на диван в кабинете и предался размышлениям.

Изувеченный «Граммофон веков» лежал на полу. По инерции в нем двигались какие-то валики и сами собой вылетали нахватанные в разное время слова и фразы.

Старый мир дышал в машине последним дыханием, выругивался и высказывался унылыми обыденными словами своей жестокости, тоски, банальности и скуки.

– В морду! – глухо вырывалось из машины.

– Молчать!

– А, здравствуйте, сколько зим, сколько лет!..

– Не приставайте! Нет мелочи. Бог даст.

– Ай, ай, тятенька, не бей, больше не буду!

– Сволочь!.. Мерзавец! Меррз…

– Работай, скотина!

– Молчать!

– Застрелю, как собаку!

– Я вас люблю, Линочка… Я вас обожаю…

– Человек, получи на чай!

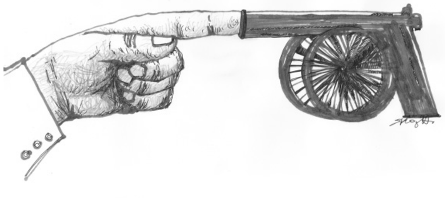
И так далее, и так далее.

Бессвязные слова и фразы, но одинаково жуткие, на всех языках вылетали из испорченной машины, и Кукс вдруг вскочил и начал добивать машину и топтать ее ногами, как тот революционер в Академии.

Затем остановился, поскреб лысое темя и тихо произнес:

– Да. Пусть сгинет старое! Не надо… Не надо…

Мелочь



Сначала на узком шоссе заклубилась пыль. Потом из пыли что-то мерно забухало. Через несколько минут из буханья выросли трубные звуки. Наконец на солнце блеснула медь, и стало ясно: в городок входили войска.

Оказалось, всего полк. Около пятисот грязных, пыльных, лишаистых людей, обветренных, оборванных, обвешанных рыжими облезшими винтовками, ножами и бомбами.

Часть их была на лошадях. Когда заполнилась – шумом, топотом и дыханием – первая узкая уличка, и лошади застучали по дощатым тротуарам, еврейские домишки и лавочки как будто потемнели и сжались.

От твердых скуластых заросших лиц, от скрипучего топота, от запаха кожи и полей, какой отряд принес с собой, от рассыпанного строя и отсутствия знамен повеяло недобрым.

Впереди на лошади ехал маленький, сухонький, в гимназическом мундире с красной грязной лентой через плечо, с длинной нагайкой, с зеленой веткой на фуражке и гармонией на боку.

За ним, тоже на лошади, – круглый, с жирным затылком, с узкими щелочками вместо глаз, с открытым беззубым щедро нарезанным косым ртом. В такой рот легко вставляются четыре пальца, и оглушительный разбойничий свист, легко вылетая из него, сотрясает поля.

За ними шла музыка: один с барабаном, двое с флейтами, один с медной трубой и еще двое или трое с чем-то. А дальше: многоликое, глазастое, шумное, парное от дыхания и пота, с лошадьми и без лошадей, с железом, кожей, ремнями, мешками, хлебом, сеном, пылью и махоркой.

В одном домике с жалобным стуком сама собой закрылась ставня. Старый еврей высунул голову из лавочки и скорее, чем

мог что-либо увидеть, исчез. Из калитки выбежала собака, дважды переживавшая кровавые погромы, остановилась, скорбно посмотрела на входящий отряд и с поникшей головой протяжно безнадежно залаяла.

Кто-то – в черной рубашке и в очках – уже несся по прямой линии по задним дворам и, прыгая через улицы, как через канавы, – в местный исполком.

Неизвестно какой и чей полк занял бани.

У всех входов и выходов выросли часовые – в лаптях, в сапогах и босые, но с цилиндрическими бомбами на животах, прикрепленными к поясам или веревкам. У каждого на руках, кроме того, было по винтовке или обрезу, то есть той же винтовке, но с укороченным дулом и без штыка. Из обрезов днем стреляли в свиней, в кур, а ночью – в воздух, бесцельно. Ни к каким властям никто из полка не являлся.

Жарили убитых свиней и кур, кололи дрова, купали в реке лошадей.

По вечерам пели, охотились за девками по огородам.

На третий день рано утром арестовали на улице старика еврея и отвели в бани. В бане пировала компания. Еврею предложили есть яйца. Он отказался. Тогда двое стали заряжать винтовки. Еврей начал есть. Когда он открыл белые дрожащие губы, один крикнул ему:

– Как ты смеешь жрать, жидовская морда? Это твои яйца, что ли?..

Много и гулко хохотали под темными сводами бань.

Через час еврея отпустили.

Ночью были мобилизованы коммунисты. Утром звонили по прямому проводу в губисполком, за семьдесят верст. Из губисполкома в ответ предложили собрать точные данные. Это означало, что помощи не будет, или, во всяком случае, она придет нескоро. И даже было ясно, почему: потому что председатель губисполкома уехал в Москву, а заместитель был мямля.

Говорил по проводу товарищ Бриллиант, председатель местного уездного исполкома.

У него был белый нос и высокий белый лоб на красном лице. Пристальные немигающие глаза и всегда пренебрежительно-скучливое выражение на зубах. Он был неизменно похож на человека, который что-то хорошо знает, но которому лень рассказывать всем. Кроме того, он умел слушать внимательно и, выслушав, ничего не отвечать. Его уважали и побаивались.

Когда он положил трубку, к нему подошел ожидавший его товарищ Ежекевич, председатель местной Чека.

Оттянув вниз большим пальцем поясок на своей солдатской гимнастерке, подчеркивая, что ему все ясно и – как обстоят дела у него в Чека – нечего спрашивать, он сказал после бодрой и суровой паузы:

– Давайте коммунистов. Побольше коммунистов.

Он знал, что коммунистов в городке в наличии человек семьдесят, из которых около трети – женщины, все смуглые, стриженые, коричневые девочки с книжками. Кроме того, и мужчины-коммунисты еще не обучены военному строю. Он все это знал, и Бриллиант понял, что Ежекевич заранее снимает с себя ответственность за исход событий.

Бриллиант ничего не ответил, но подумал, что дело не в этом. При местной Чека был отряд в тридцать-сорок человек. Это все равно не спасет положения.

В соседней комнате кашлял петербургский матрос, товарищ Степанов. Широко раскинув по столу локти, он писал и кашлял:

– Что ты пишешь, Степанов? – спросил Бриллиант.

– Письмо.

– Как кашель? Не ослаб?

– Ну его к…

У Степанова была чахотка; Бриллиант это знал, но говорил о кашле только для того, чтобы что-нибудь сказать. Он не хотел первый заговорить об опасности, грозящей городу.

В комнате для посетителей дожидалось человек десять. Все растрепанные, взъерошенные, не выспавшиеся люди со смертельным испугом на лицах. Это зажиточные обыватели спешили хлопотать о выезде из города. Они трепетали от нервного нетерпения и, раскачиваясь перед чуть открытой дверью, старались

заглянуть и хотя бы увидеть Бриллианта. Слышно было, как они ссорились с курьером, который мрачно повторял:

– Ничего не срочно. Всем срочно. Вас много, а я один тут.

– Только что звонил в губ, – сказал Бриллиант.

– Насчет чего? – спросил Степанов.

– А насчет бандитов этих.

Степанов перестал писать.

– Это насчет полка? Да это дураки! Я был у них. Сукины сыны! Я бы их не пустил революцию делать. Сволочи проклятые! «Тай не ходы Грыцю на мою вечерныцю». Не разберешь, кто они. Не то наши, не то банда. Там какая-то сволочь, язва! Все мутит. Так ничего публика, но есть, которые говорят: «Да здравствуют большевики, долой коммунистов и жидов». Конечно, несознательность. Надо бы маленько обработать. Я схожу еще к ним сегодня. Они меня сначала пустить не хотели в бани-то, да я ругаться начал. Пустили. Горилки у них много. Вот что плохо! Горилку надо отнять.

– Погоди, не напирай, – опять загудел курьер за дверью. – Всем срочно. Много вас тут.

Поднялся шум. Вылетели слова фальцетом: «Это общественное дело. Отлагательство немыслимо…».

В комнату воткнулся курьер и жестко закрыл за собою локтем дверь, хлопнув кого-то по голове.

– Товарищ Бриллиант, тут аптекарь просится. Говорит – без отлагательства.

– Пустите.

Вошел бывший местный аптекарь Лысевич – полный, желтый, испуганно-корректный.

Бриллиант взглядом спросил его, что надо.

– Я не успел изложить письменно, – начал он, сложив, как певец, дрожащие руки и учтиво изогнувшись, – извиняюсь… Дело в том, что над горизонтом нашего города надвинулись тучи. Предстоят большие неприятности. Вступившие дезорганизованные личности начинают производить самочинные обыски. Начинается погромная агитация. Войск в городе нет. Все на фронте. Поэтому я считаю долгом, простите меня за дерзость, ввиду того, что это дело общественное, и все мага-

зины хотя запечатаны, но в них много народного добра, и они хотят учинить грабеж и погром, – то я предлагаю срочно вызвать товарища Троцкого. Тут поблизости войск нет, а у товарища Троцкого есть поезд, он скоро, без задержек, приедет и восстановит порядок.

Бриллиант слушал и смотрел на аптекаря, как на вещь. Степанов же даже вздохнул от скуки, открыл рот и, плюнув на середину комнаты через стол, за которым сидел, сказал с задумчивым презрением:

– Без промежутков говорит человек...

Бриллиант спокойно сказал:

– Уходите. Не отнимайте времени.

Аптекарь смутился, но не растерялся:

– Будет очень жаль, если все завоевания революции будут потеряны. У нас уже два раза были погромы. Один раз при Деникине, а другой...

– Уходите, вам говорят! Пожалуйста, не беспокойтесь!

Резко позвонили по телефону. Спрашивали из «первого дома советов» – бывшая гостиница Ройзмана «Неаполь», – выезжать ли ответственным работникам и коммунистам.

Бриллиант спросил, кто говорит. Звонила женщина. Она замялась, и Бриллиант услышал мужской торопливый тенорок: «Не говори, не говори, кто», – и Бриллиант все-таки узнал по голосу, кто заставлял свою жену «устраивать панику». Это был один из его товарищей по местному исполкому.

– Это говорит... Это... Это... Я хотела только спросить.

Повесили трубку. Бриллиант отошел от аппарата.

Помещение исполкома сразу тревожно оживилось. Пришла группа мобилизованных коммунистов. Спрашивали про оружие, продовольствие. Опять звонили по телефону. Кто-то для чего-то опоясывался веревкой. Разлили на столе чернила. Двое хотели сразу пройти в узкую дверь, столкнулись и нелепо застряли. Дверь завизжала и заскрипела. Забегал по комнатам комендант дома, молодой человек с пышными желтыми усами. Сообщили, что пулемет внизу уже поставлен. Кто распорядился ставить пулемет, – не знали. Двое сидели на столе и болтали ногами. Их до этого никто не видел и не знал.

В коридоре тяжело затопотало много ног. Это пришли тоже проездом находившиеся в городе красные курсанты. Одиннадцать человек. Кто-то посредине комнаты ел селедку, нелепо подмигивая всем, потрясал свободным кулаком и кричал, бессмысленно подражая фронтовым красноармейским выкрикам:

– Даешь бани!..

Экстренное соединенное заседание пленума совета с представителями профсоюзов назначено было на два часа дня.

Зал заседаний был тщательнее, чем всегда, убран. Портреты Маркса, Ленина и Троцкого, украшенные красными лентами, выглядели торжественно и бодро. Окна были открыты настежь. Звонок перед креслом Бриллианта блестел празднично. У двери появились часовые с патронами и винтовками. Такие же часовые появились и внизу, у входа. Разводящий со свистком деловито подходил то к одному, то к другому. В комнатах, смежных с залом заседаний, дожидалось человек тридцать.

В повестке дня значилось: 1) О текущем моменте – доклад т. Бриллианта; 2) Текущие дела.

Открыв заседание, Бриллиант с обычным своим скучливым выражением лица предложил прежде всего почтить вставанием товарища Гулько, секретаря топливной комиссии, недавно мобилизованного и геройски погибшего на фронте.

– В его лице, – сказал Бриллиант, – погиб одни из лучших сынов пролетариата. Рабочие и крестьяне никогда не забудут своего передового борца. Над его могилой мы должны сплотиться и поклясться, что довершим то дело, за которое самоотверженно боролся товарищ Гулько.

Собрание встало. Бывшие в шапках – сняли их…

Бриллиант знаком разрешил сесть.

Секретарь собрания Урчик, испуганно сбоку взглянув на Бриллианта, крикнул:

– Слово имеет товарищ Бриллиант!

Произошло движение. Кашель. Сморканье. И все замерло.

Бриллиант встал и, размахивая карандашом, как дирижерской палкой, сообщил, что в город вошел большой хорошо вооруженный партизанский отряд. Отряд, очевидно, не признает советской

власти. Его представители не являются ни в совет, ни к военным властям. Отдельные группы вооруженных партизан производят самочинные обыски, арестовывают на улицах мирных граждан и издеваются над ними. В помещение, самовольно занятое отрядом, приходят темные элементы города, бывшие мясоторговцы и лавочники, начинается погромная агитация. Все это следует считать явлением недопустимым. Необходимо дать отпор дезорганизованным вооруженным людям.

В то время, когда лучшие сыны пролетариата и передового крестьянства проливают свою кровь на многочисленных фронтах за рабоче-крестьянскую власть, – закончил он, интонацией и манерой речи явно подражая Троцкому, – мелкобуржуазный элемент, подстрекаемый меньшевиками, эсерами и анархистами, старается в тылу дезорганизовать власть советов и нанести удар в спину рабоче-крестьянской революции. Но это им не удастся. По дерзкой руке должен быть нанесен решительный удар. Надо решительно сказать темным наймитам буржуазии: руки прочь!

Бриллиант сел. Собрание аплодировало.

Секретарь, опять испуганно взглянув на Бриллианта, крикнул:

– Прошу слова к порядку заседания! И имею предложение!

– И я прошу слова! Я! Я! Я! Я прошу слова!

Вторым, столь бурно просившим слова, был меньшевик Клейнер. Он был сильно возбужден, нижняя губа у него заметно дрожала. Он обеими руками дергал и оправлял почти одновременно пенсне, ворот пиджака и волосы. Не получив еще слова, он повернулся к собранию и начал:

– Я протестую. Это инсинуация. Откуда товарищ Бриллиант взял, что полк подстрекают меньшевики? Никаких данных у него нет… Это демагогия! Это – провокация!

Поднялся шум.

– Вы не имеете слова, – сказал Бриллиант.

– Тише!

– Не говорите с мест!

– Призываю собрание к порядку!

– Тише!

– Тише!

– Теперь не время сводить счеты…

– Это провокация. Это демагогия! – надрывался Клейнер.

– Тише!

– Товарищи! Товарищи!

– Пусть он говорит.

– Молчать!

– Призываю к порядку!

Резкий звонок.

– Товарищи, – сказал Бриллиант, – нам сейчас некогда заниматься полемикой. Прошу сохранять спокойствие. Нарушающие порядок заседания (он повысил голос) будут удалены. Слово имеет товарищ Урчик.

Урчик почесал темя и начал:

– Товарищи! Так как время не ждет и момент серьезный…

– К делу, товарищ! К делу!

– Я говорю к делу! То предлагаю прения по докладу товарища Бриллианта прекратить. И одновременно прошу выслушать резолюцию. Кто за прекращение прений? Прошу поднять руки. Большинство. Разрешите предложить резолюцию.

– Просим.

– Общее соединенное собрание пленума совета с представителями профсоюзов, заслушав доклад товарища Бриллианта о вторжении в город дезорганизованного отряда, единогласно постановило принять энергичные меры к ликвидации его вследствие могущих возникнуть беспорядков, угрожающих великой пролетарской революции. Выработку конкретных мер поручить исполкому совета с правом кооптации.

Приняли единогласно. Пропели «Интернационал» и разошлись.

Вечером над городком нависла жуть. Она началась еще с сумерек, когда опустели улицы и с пастбища одиноко возвращалась чья-то корова; корова остановилась на главной улице поперек мостовой и длинным заунывным мычанием выражала удивление необычной пустоте.

Небо, ясное, освещенное ярким закатом, казалось чужим, настороженно равнодушным. Траурными лентами курился дым из

труб низеньких домишек. От времени до времени откуда-то доносились звуки одиночных выстрелов.

Прохожих почти не было. Редко-редко раздавались торопливые шаги и замирали. Вот еще один сдержанно-торопливо идет по дощатому тротуару, оглядываясь одними глазами. На перекрестке у столба с ободранными афишами остановился, впился глазами в прошлогоднее «обязательное постановление» и исчез за поворотом.

Когда стемнело, стало еще более жутко. Не во всех домах зажглись огни. Лаяли и выли собаки.

Целых полчаса осторожно, тайно ликующе и призывно звонили в церкви, хотя никакого праздника не было.

Ночью ветер качал деревья, гнал сор по мостовой, тормошил закрытые ставни.

Продребезжала неведомая телега.

Пел во тьме заблудший пьяница, бормотал пьяный вздор под вой ветра.

И опять зловещая, гнетущая тишина.

В «первом доме советов» в маленьком номере с кривым умывальником и скрипучим полом шло заседание исполкома с кооптированными лицами.

Бриллиант сидел за ломберным столиком и спокойно и серьезно, как всегда, предложил высказаться по поводу создавшегося положения.

– Прошу предлагать только практические меры, так как вопрос в целом достаточно ясен, – сказал он. Затем, взглянув внимательно на присутствующих, спросил: – Где товарищ Степанов?

Никто не ответил.

Но в это же мгновение из коридора послышались шаги, дверь открылась. Степанов вошел и остановился посреди комнаты.

Все вопросительно-выжидающе повернулись к нему.

– Пока спокойно, – тихо сказал он, сдерживая кашель. – Человек двадцать с вечера ушло из бань, но не в город, а за город. Должно, за продовольствием пошли в деревню. А так спокойно. Девок понатаскали… устроили кавалерчики, мать их…

– Вокзал обеспечен, – сказал начальник коммунистического отряда. – Четыре пулемета и тридцать товарищей, в том числе шесть курсантов, уже находятся на местах. Местность возвышенная, в случае чего некоторое время продержимся.

Бриллиант доложил в деловито-небрежном тоне:

– Да, товарищи! В шесть часов вечера мною получены сведения, что рабочие спичечной фабрики, часть литейщиков и часть кожевенников образовали отряд и под начальством двух курсантов укрепились на слободке.

– Какие патрули на улицах? – спросил кто-то.

– Это наши, – сказал Степанов, – я проверял.

Бриллиант, не меняя ни лица, ни позы, – он сидел, нагнувшись над листом бумаги, – одними только глазами дал понять, что он собирается сказать нечто важное, и, выдержав после обращения «товарищи» соответствующую паузу, начал:

– Товарищи, все то, что предпринято на случай осложнений, конечно, хорошо. Но надо отдать себе полный отчет в создавшемся положении. Выйти из него своими силами мы не сможем, а помощи ждать неоткуда. Обстоятельства в этом смысле сложились для нас крайне неблагоприятно. Поэтому я считаю, что мы должны все наши военные приготовления вести как можно более замаскированно и осторожно. А в качестве ближайшей и неотложной меры я предлагаю следующее: ввиду того, что партизаны никого к себе не пускают, и товарищу Степанову, например, удалось пройти к ним с трудом, я предлагаю завтра днем пригласить весь отряд – в обычном порядке, точно мы ничего не знаем об его поведении, – в театр, на концерт или спектакль, а перед спектаклем предложить товарищу Белякову, который как раз приехал к нам из Москвы, поговорить с полком и выяснить положение. Одновременно же предлагаю на случай, если полк придет в театр, но это удовлетворительных результатов не даст, принять меры к окружению театра и разоружению полка, чего бы это ни стоило.

Последнюю фразу Бриллиант произнес повышенным голосом с чеканно мужественной интонацией.

Спустя пятнадцать минут план Бриллианта начался осуществлением, пока в подготовительной своей части.

Степанов был назначен комендантом театра и устроителем концерта-митинга. Белякову, который жил в этой же гостинице, предложено было приготовиться к завтрашнему выступлению в театре, а передать партизанскому полку приглашение на концерт-митинг взяли на себя две девушки – Надя и Татьяна, сотрудницы политотдела дивизии, на днях приехавшие с фронта покупать карандаши.

К часу ночи все разошлись.

Степан вышел на темную улицу. Шумел во мраке ветер. Звенел стеклом в разбитом, кривом, два года не горящем фонаре.

Матрос прошелся вдоль улицы. Где-то сбоку совсем близко выстрелили. Он достал из заднего кармана револьвер и осторожно пошел на звук выстрела. Прошел шагов двести. Тишина. Никого. Тишина и ветер.

Но ночь была тревожна. В тишине чудились шаги, голоса, злые шорохи.

Опять зазвонили в церкви. Осторожно, нестройно…

Степанов, стиснув зубы, стоял, слушал, смотрел в тягостный ветреный мрак и, не зная, как излить горечь, боль, тоску, усталость и злобу, глубоко вздохнул и длинно выругался, в такт каждому слову покачивая головой и отплевываясь…

Начало светать.

Запел первый петух – пронзительно, по-идиотски резко и самодовольно.

Усталый надтреснутый свист паровоза ответил ему с вокзала. Прибыл поезд.

Вскоре побрели с мешками хмурые пассажиры. На безрессорном фаэтоне протащилась натыканная, как грибы, целая семья с подушками, тюками, чайниками и с худым ловкачом папашей во френче, беженцем-кочевником. Он с привычной зоркостью смотрел по сторонам, еще не совсем понимая, но уже нюхом чувствуя, что не вовремя прибыл в этот город. Грязная фуражка на его голове сама собою скорбно и странно надвинулась на лоб, и что-то сзади над ушами и теменем тревожно поднялось и изогнулось, как спина у насторожившейся кошки.

Степанов, около часу дремавший в одежде на неприбранной койке своей в том же «первом доме советов», встал, откашлялся и, пошатываясь от усталости, вышел в коридор. При утреннем свете – заросший, больной, издерганный бесконечными мытарствами, постаревший за время революции – он все же выглядел ненамного старше своих тридцати лет, но обычно ему можно было дать сорок. Пройдя несколько шагов и на ходу борясь с желанием спать, он направился к выходу, но вдруг остановился, что-то вспомнив. Постояв и подумав, он вернулся в коридор и постучался в комнату, отведенную сотрудницам политотдела Наде и Татьяне. Дверь оказалась незапертой. Матрос вошел. Девушки спали, укрытые солдатской шинелью.

– Товарищ, а товарищ! – разбудил он одну из них.

– Что такое?

– Ты вот что... Запрещаю вам идти в полк приглашать в театр... Не надо вам, значит, идти...

– Почему?

– Да потому... Артисты пойдут. Я пошлю. Поняли? Ну вот!

– Да почему же, товарищ Степанов?

– Приказываю – и все. Почему да почему! Потому что артистов никакая банда не тронет. Ихнего брата, артиста, даже всякая сволочь любит. В театр попозже придете. Там, может, нужны будете.

Он вышел в коридор, опять направился к выходу и снова вернулся. На этот раз в свой номер, где взял со стола листок бумаги, перо и чернила и со всем этим прошел на кухню. На кухне спешно поднималось с пола вместе с жиденьким тюфяком неимоверно растрепанное босое существо – одно из тех странных, жалких и беспризорных существ, которые водятся только в России на кухнях захолустных гостиниц и трактиров.

– Вот что, товарищ, – обратился к нему Степанов, – достань-ка ты мне кипятку, да поскорее.

Пока товарищ доставал откуда-то кипяток, Степанов тут же, на кухонном столе, писал следующее, старательно выводя каждую букву:

«Исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов предлагает в порядке боевого приказа 1-му государственному теат-

ру сего числа (оставлено место для часа) мобилизовать лучшие силы и дать спектакль и концерт для находящегося в городе отряда партизан.

В случае невыполнения приказа виновные будут привлечены к строгой ответственности».

Степанов прочел написанное, остался доволен и, подумав, добавил:

«А также приказываю играть с подъемом».

Глотая принесенный кипяток из синей грязной чашки, он опять прочел предписание и отправился в комнату Бриллианта за подписью и печатью.

Бриллианта дома не было.

Жена Бриллианта – заведующий местным отделом народного образования – в нижней юбке поджаривала на примусе картошку и сообщила Степанову, что муж в помещении совета говорит по прямому проводу с губисполкомом.

Деревянное здание единственного местного театра по стилю напоминало смесь синагоги с цирком. У главного входа, однако, был навес над двумя дверьми, поддерживаемый деревянными колоннами, а на небольшой площади перед театром еще красовалась обитая зеленью арка с надписью: «Добро пожаловать, товарищи делегаты!» – так как недавно в театре заседал уездный съезд советов.

Внутри театр состоял из двух ярусов и непомерно большой и просторной сцены.

Стены фойе и буфета пестрели плакатами, больше по части здравоохранения: «Сифилитик, не употребляй алкоголя», «Вошь – носитель сыпного тифа» и так далее.

Когда Степанов, не найдя Бриллианта в совете, пришел в театр, коллектив был уже предупрежден о предстоящем чрезвычайном концерте-митинге и даже о том, что комендантом назначен он, Степанов. Предупредил председателя коллектива по домашнему телефону еще ночью сам Бриллиант.

Этот председатель – он же режиссер, организатор коллектива, он же художник-футурист, поэт и драматург, автор пьес «Красная звезда», «Красный часовой», «Красный герой» и «Красный

фронт» – товарищ Валерианов был здесь и встретил Степанова с выражением бодрой озабоченности.

– Ну что? – спросил он. – Как дела? В три часа придут молодчики.

– Как в три часа?! Они разве согласны прийти?

– А как же! Я рано утром послал, согласно предложения товарища Бриллианта, двух гармонистов. Один там играет еще, в бане, а другой вернулся и сообщил, что полк придет в театр в три часа. Сейчас репетируют для них революционную украинскую оперу с гопаками. Товарищ Бриллиант предложил не налегать на политику. Ну, и будут, значит, гопаки. В самом деле, так лучше. Обрабатывать их будет товарищ Беликов из Москвы. Он сам с ними справится. Что он, хороший агитатор?

– Хороший. Значит, в три часа полк придет?

– В три часа. А скажите, товарищ Степанов, по какому случаю всю ночь аресты шли? Брата моего арестовали; он зубной врач, человек никогда политикой но занимался. За что? Всю интеллигенцию забрали. Это, по-моему, ни к чему.

– Не знаю. Погоди. Надо готовиться. Сколько у вас входов и выходов, в театре-то? Идем, покажи!

К трем часам, когда вокруг бань началось оживление, когда стали седлать лошадей, прилаживать к седлам, – город вымер. Из немногих советских учреждений, работавших в этот день, разбежались по домам все барышни. Некоторым навстречу бежали с платами на плечах полурастрепанные от волнении матери и сестры. Из ворот и калиток высовывались испуганные головы обывателей. Наиболее смелые выходили на улицу, смотрели в оба конца ее и возвращались в подворотню сообщить новости. Кое-где в окнах появлялись обрамленные белыми полотенцами иконы.

В три часа полк двинулся к центру города, вступив через третий переулок на главную, раньше Скоболовскую, а теперь Коммунистическую улицу.

Впереди на лошади ехал тот же маленький и сухонький, который возглавлял полк при вступлении его в город. Рядом с ним – тот же жирный, с косым ртом. Нагнувшись с лошади,

он что-то энергично и злобно втолковывал маленькому, уснащая свою громкую речь отвратительной бранью и бешено размахивая над лошадиной гривой огромным кулаком с зажатой в нем нагайкой.

На самом (раньше) «аристократическом» месте главной улицы, около аптеки, фотографии и заколоченного отделения банка, ему, очевидно, удалось в чем-то убедить сухонького, и полк остановился.

Винтовки, которые сейчас у большинства пеших были не на спинах, а на руках, брякнули о мостовую почти как у кадровой части. Несколько человек из авангарда, подхлестывая лошадей, проскакало для чего-то по тротуару к задним рядам.

Сам сухонький тоже медленно повернулся на лошади и качнул головой в сторону жирного. Тот, раскрыв свой огромный рот, заорал, как казалось оцепеневшим от ужаса в квартирах обывателям, не на всю улицу, а на весь город диким голосом:

– Козява! Козява-а-а…

В замолкшем топоте и той тревожной, болезненно настороженной тишине, какой были объяты улицы и дома, его голос в самом деле прогремел разяще резко и оглушительно, как в лесу.

– Козява-а-а…

Из середины толпы начал проталкиваться молодец и ситцевых штанах, босой, в белой матросской рубашке и с двумя револьверами на животе.

– Я, – приблизился он к своему начальству.

И вот между жирным и Козявой начался длинный разговор, который окончился весьма странно: жирный вдруг наехал на него лошадью, ударил сапогом в грудь и хлестнул по голове нагайкой.

Полк двинулся дальше. Очевидно, это было семейное недоразумение…

В театре все было готово к приему необычайной публики.

За кулисами в одной из уборных сидели Бриллиант, агитатор Беляков и стоял Степанов, несколько озабоченно сообщавший, что банда идет в полном вооружении и с лошадьми.

Бриллиант подумал и сказал:

– Это неважно. Переведите только караул из-за кулис куда-нибудь поближе к выходу, чтобы в случае чего они подумали, что театр окружен.

Степанов, молча не соглашавшийся с некоторыми распоряжениями Бриллианта, махнул рукой и вышел исполнять приказание с видом: «хорошо, исполню, посмотрим, что дальше будет!». Он перевел шесть вооруженных винтовками людей из соседней уборной вниз и спрятал их в каморке за вешалками.

Артисты, смиренно сидевшие в гриме и костюмах в двух остальных уборных, курили и шептались:

– Я вам говорю: это кончится переворотом.

– На прошлой неделе приехал один человек из Москвы… Знаете, у архитектора Друтика есть брат… Так это его знакомый… Он рассказывал, что в Москве то же самое… Переворот полный. Ленин уже уехал в Смоленск… да… да… вы можете не сомневаться…

– Я вам могу сообщить из достоверного источника, что Ленин арестовал Троцкого…

– Это верно… Я тоже слышал.

– Вместо Троцкого будет назначен Бриллиант… Факт!

– Это возможно (женский голос)! Вы видели, какое новое пальто у его жены, у этой рожи…

– А вчера… Что было вчера!.. Пока во всем городе шли аресты, в гостинице Ройзмана всю ночь пьянствовали… Тише… Идут…

Из фойе и партера донеслись шум, топот, грохот, голоса и скрип колес.

Пришел полк.

Прежде чем войти в театр, полк окружил его, у всех входов и выходов, как при банях, стали часовые, лошадей привязали у главного входа к перилам, колоннам навеса и подальше, на площади, к фонарным столбам.

Небольшие патрули остались также на ближайших перекрестках улиц.

Остальная масса наполнила театр.

На сцене стояли декорации первого действия «украинской оперы»: вход в шинок, кузница, по бокам деревья.

Занавес был поднят.

Когда полк уселся, быстро вышел Беляков, подошел к рампе и сразу начал:

– Товарищи! Весь мир объят пламенем революции. Трудящиеся всех стран пробуждаются от векового сна и под знаменем Третьего Коммунистического интернационала ведут борьбу против царей, помещиков и капиталистов…

…Беляков вдруг почувствовал странную неловкость в ногах. Пустая освещенная сцена, на которой он стоял, – один, один перед враждебной массой, перед людьми, на все готовыми, сидящими перед ним с ножами, бомбами и заряженными винтовками, – казалась ему огромной. Многие держали винтовки вертикально, поставив приклад на колени и с бездумной готовностью скитающегося отбившегося от работы крестьянина положив заскорузлый палец на курок.

Когда во время речи где-то наверху, на галерке, в напряженной тишине вдруг хлопнула дверь, несколько бандитов в паническом деревенском страхе резко вскочили с кресел, и жутко, странно защелкали в освещенном театре ружейные затворы…

Но речь – незаметно усиленная в темпе – продолжалась, и спокойно-бодрый ритм ее успокаивал больше, чем это могли бы в данном случае сделать специальные призывы к спокойствию.

…Его могли убить каждое мгновение. Он был живой мишенью для каждого из нескольких сот сорванных со своих устоев, вырванных из привычного быта, опрокинутых вихрем, потревоженных, страдающих, в крови и грязи ищущих правду, запутавшихся и взмытых непонятной стихией людей.

Он был им чужд и страшен – городской, тонконогий, с узкой бородкой, с двумя смешными стеклами пенсне, оседлавшим тонкое переносье.

Чего ему нужно от них? Зачем им слушать его речи? И что есть такого в этих речах, что о них говорят на всех базарах, в избах, в лесах и на дорогах? Отчего столько крови льется из-за этих речей? Отчего мирные люди, добрые и трудолюбивые, берут ружье и стреляют без колебаний в грудь, в лицо, в голову таких же, как они сами? Отчего вообще стреляют на всех границах, заставах, дорогах, в городах и в деревнях?

…Товарищи! Нам выпала великая честь первыми поднять мировое восстание. Мы первыми освободились от ига царя, помещиков и капиталистов, от генералов и урядников…

Беляков не знал переживаний своей аудитории.

Опытный и смелый оратор, он был на редкость ненаблюдателен. То, что он говорил, казалось ему таким ясным, простым и понятным, что он искренно изумлялся, когда его не понимали. Когда ему приходилось на митингах отвечать на вопросы, он отвечал со смущением, с каким отвечают родители на вопросы детей об общеизвестных тайнах жизни. Сам он почти не думал о своих речах и, вероятно, испытывал бы некоторую неловкость, если бы среди слушающих оказались его личные друзья, а в особенности невеста, – до такой степени ему казалось несложным их содержание.

И это органическое, всем существом усвоенное убеждение, что ничего нет особенного в его словах, что они доступны и должны быть доступны сознанию самого неразвитого человека, придало им своеобразный оттенок сугубой будничности и простоты, доходящей порой до небрежности. Он, не задумываясь, пользовался иностранными словами. Самые возвышенные мечты человечества о равенстве и братстве излагал без пафоса и с таким видом, точно это реальнейшее дело, которое, если захотеть, совсем не трудно осуществить, а главное, что оно само собою осуществляется и осуществится. И это отсутствие пафоса, беспредельная будничность тона и построения речи наряду с грандиозностью темы были исполнены своеобразной силы и убедительности.

Ему ничего не стоило перейти от слов о конечных целях социализма к вопросам о разверстке, мобилизации, дезертирстве, транспорте и еще многом другом, и все это звучало в его устах как-то приемлемо обыкновенно, неслыханно ново и в то же время буднично просто.

Лозунги «Все на транспорт», «Все на фронт», «Все на борьбу с разрухой» всегда и во всем все были так естественны в его устах, что было бы странно, если б он в своих призывах сохранял для кого-нибудь ограничения.

…Но странная неловкость в ногах продолжалась. Он понимал, что его могут убить, и нелепость того, что могло случиться, – не-

лепость страданий или смерти за то, что так просто и ясно, – злила его и придавала словам страсть и ту особую взвинченность, которая действует на толпу в такой же мере, в какой действует и спокойствие оратора.

– Товарищи! Неужели же вы, батраки, крестьяне и рабочие, пойдете против братьев своих, проливающих кровь на фронтах за вас, за вашу свободу? Неужели вы будете способствовать палачам генералам отнимать у крестьян их землю, а у рабочих – фабрики? Товарищи…

– Мы это слышали! – раздался из залы резкий голос.

– Сказки! Соловьями разливаться умеете! – подхватил другой.

Но все остальные молчали, и по этому молчанию, как шары по гладкому кегельному желобу, гулко и прямо, одно за другим прокатились заключительные слова агитатора:

– Сегодня исполкомом совета получена телеграмма, что с фронта сюда идет дивизия. Сегодня вечером она вступит в город. Мы уверены, товарищи, что вы сами сумеете удалить из своей среды тех, кто мешает вам выполнять свой долг перед республикой. Мы уверены, что бесформенный партизанский отряд из крестьян и рабочих превратится в стройную часть Красной Армии и будет честно и геройски биться в ее рядах за власть трудящихся. Да здравствует Красная Армия!.. Да здравствует советская власть рабочих и крестьян!

В зале раздались аплодисменты вперемежку с негодующими восклицаниями, шумом, свистом и бранью.

Беляков повернулся, намереваясь уйти, но почувствовал, что уходить сейчас нельзя. Он поднял руку, как бы готовясь что-то сказать, и в этот момент из-за кулис вышли Бриллиант и Степанов.

– Товарищи! – очень громко и торжественно начал Бриллиант. – От имени совета рабочих и крестьянских депутатов приветствую красных партизан и предлагаю сегодня до трех часов ночи сдать оружие с целью реорганизации полка и переформирования его в образцовую красноармейскую часть…

Кто-то за кулисами потушил электричество. Дикие крики, шум и грохот наполнили мрак. Оглушительно резко раздались почти одновременно два ружейных выстрела. Бриллиант и Беля-

ков хотели уйти за кулисы зажечь свет, но Степанов удержал их, схватив за руки, и крикнул не своим голосом:

– Сейчас будет свет! Спокойно! Спокойно!

Электричество зажглось, и в наступившей тишине раздался его злобно-добродушный, нисколько не взволнованный голос:

– Что же это вы, товарищи?! Обалдели, что ли? Кто стрелял? Что за баловство? Удалю из театра, если это повторится! Сейчас начнется спектакль. Приказ совета все слышали. Оружие сдавать можно здесь мне лично, в театре, или товарищу коменданту города.

Когда Бриллиант, Беляков и Степанов повернулись, чтобы уйти, заиграла музыка, и им навстречу выходили загримированные артисты.

Это начиналась революционная украинская опера с гопаками.

Когда через неделю вернулся из Москвы в губернский исполком деятельный его председатель и спросил по телефону у Бриллианта, что произошло, Бриллиант, сам полузабывший многое из этого происшествия, заваленный очередной и сложной работой, рассказал в нескольких словах о случившемся и таким тоном, точно иначе и быть не могло, кратко вывел заключение:

– Мелочь.

1922

Мастерская человеков

Роман



Предисловие первое

Да здравствует литература!

Да здравствует вымысел!

Он один приблизит нас к будущему!

Он один – реальный, дедуктивный, художественный, веселый – уведет нас от прошлого!

«Мастерская человеков» – опыт реалистического вымысла, – вымысла, основанного на реальном.

«Мастерская человеков» – опыт аналитической сатиры, сатиры, борющейся не только смехом, но и анализом.

Для чего это?

Какова установка «Мастерской человеков»? Чего хочет автор?

Он хочет: увидеть нового человека, представить себе его, вообразить его, присутствовать при его родах, суетиться в его ожидании.

Нового общественного человека создаст коммунизм.

Он придет вместе с новыми производственными отношениями.

Автор «Мастерской человеков» хочет: угадать его, увидеть хотя бы его контуры, почувствовать его дыхание, услышать его первые шаги. Он хочет: окончательно скомпрометировать все, решительно все, что может помешать родиться, расти и развиваться новому человеку!

Новый человек рождается непросто.

Новый человек рождается в грязи, в крови, в слезах, в резкой смене температур.

Трудны роды нового человека!

Автор «Мастерской человеков» хочет: быть одной из повивальных бабок при этом великом, остром, серьезном, очень болезненном и трудном, но в то же время и радостном, и веселом – самом занимательном из всего, что происходит на земле, – процессе!

Он хочет помочь этому процессу!

Он хочет стоять с остро отточенными щипцами сатиры в руках.
Ведь надо
всеми мерами,
всеми силами,
всеми средствами
вытянуть нового человека
из темной утробы старого мира!
Читатель!
Перед вами пройдет много материала
для
серьезных,
важных,
активных,
острых
дум о человеке.
Дум о том,
из чего состоит человек
и как идет процесс его переделки.
Дать этот материал
возможно шире,
возможно обильнее
задача автора.

Предисловие второе

Два вопроса – в числе многих – никак пока еще не разрешены человечеством. Это, во-первых, вопрос о том, как изобретателю приходит в голову счастливая идея изобретения. И, во-вторых, почему самые простые изобретения и открытия приходят черт знает с каким опозданием.

Вообще это совершенно неисследованная область, полная невероятной мути и всевозможных сюрпризов.

В самом деле, нельзя даже приблизительно учесть обстоятельств, родивших то или иное великое открытие или изобретение!

Давно известно, что изобретателей считают обычно большими чудаками и даже с придурью. Действительно, пути их мысли совершенно не-

понятны. Даже строгая последовательность часто строится на неизвестно откуда взявшихся предпосылках.

В этих предпосылках, то есть во внезапно неизвестно откуда возникающей идее, и весь вопрос. В специальных журналах, посвященных изобретательству, можно прочесть много непостижимых историй о том, что кому и как приходит в голову! Вы можете, например, прочесть о том, что, скажем, учитель – только потому, что он опоздал на поезд и вынужден был с тоской рассматривать пустые рельсы около пустынного перрона, – придумал вдруг новые гайки, новый тормоз или что-либо другое, что является кладом для железнодорожного дела, к которому, однако, учитель не имел никакого отношения, точно так же, как и к физике и металлотехнике.

Или – история изобретения железобетона. Разве она не поразительна?

Как известно, железобетон изобрел французский садовник Монье. У него была длинная возня с кадками для цветов. Не выходило у него с кадками! Ах, эти кадки! Деревянные не выдерживали большого количества земли, необходимой для крупных растений. Кроме того, они быстро гнили, и старик делал кадки из цемента. Но цементные были тяжелы, громоздки, их стенки были нелепо толсты – тут надо было что-то придумать. И он неплохо придумал: он сделал каркас из железных прутьев и залил его цементом… Вот хорошо! Теперь кадки будут и тонки, и прочны!

Вот вам и кадки… А подумал ли садовник о том, что это соединение цемента с железом даст такой толчок развитию человечества, который даже учесть нельзя, так он велик?

Мы уверены, что он не подумал. Нет, наверное, не подумал. Он тер свой красный или фиолетовый, или розовый нос и ни о чем не догадывался.

Затем еще вопрос. Думает ли изобретатель о благе человечества? Этим ли ценным устремлением руководится он, изобретая?

Трудно сказать. Говорят, что газы как средство военной обороны выдумал педантичный немецкий профессор только потому, что злая прислуга, которой он не мог отказать по невыясненным причинам, жаря котлеты, устраивала такой угарный смрад, что старик в чем попало бежал в соседний сквер и тут выдумал не на радость, а на гибель людям кошмарное свое изобретение.

Он просто собирался, делая свои опыты, отравить прислугу усовершенствованным светильным газом, для чего два раза открывал газ в ванной, но, к сожалению, прислуга спаслась и, говорят, продолжает жить в Берлине, переменив только район.

Или вот пример совершенно ничтожного изобретения. О нем – тоже в Берлине – в одно ноябрьское утро кричал на улице чрезвычайно потертый человек в засаленной шляпе.

Это утро было очень холодное. С неба падала невероятная мокрая гнусность. Благоразумные люди были, конечно, дома. Ходили только те, чьи дела были неотложны. А этот изобретатель стоял на Фридрихштрассе и, выпуская изо рта огромные клубы пара, орал о своем изобретении. Около него останавливались, конечно, не только из жалости, а из этого ненасытного интереса людей к изобретательству. Люди внимательно вслушивались в его крики. О чем же он кричал? Чего он хотел?

Оказывается, он продавал мазь, которою – подумайте только! – можно смазать в ванной комнате или в бане зеркало, и зеркало не будет покрываться паром… Удивительный человек! Как это ему пришло в голову?

Как он додумался до этого? Собрал ли он какие-нибудь наблюдения? Почему его так беспокоило то, что принимая горячую ванну или моясь в бане, люди не смогут несколько минут видеть своего отражения в зеркале? Подумаешь, какое несчастье!..

И вот этот полуголодный изобретатель с красной, опухшей от холода и от беспрерывного крика физиономией, орет на улице об этой мази! Что можно сказать по такому поводу?

Конечно, он хотел заработать – возможно быстрее и лучше, – он рассчитал, что человек, находящийся в бане, захочет видеть себя во всей красе.

Он преувеличил, бедняга, степень интереса людей к самим себе!

Его мазь покупали очень мало. Но не в этом дело.

Важно то, что глаза изобретателя горели, как они горят у всех изобретателей, хотя на его изобретении особенно останавливаться не стоит. В самом деле, что такое мазь для банного зеркала! Чепуха!

Открытие, легшее в основу нашего романа, – совсем другого порядка. Оно относится к числу открытий и изобретений, которые делают эпоху в жизни человечества. Даже больше, которые производят коренной переворот в истории. Это вам не мазь для банного зеркала.

Об открытии, легшем в основу нашего романа, вы прочтете тысячи книг. Оно открывает новую эру.

Это ничего, что оно опоздало на многие и многие тысячелетия.

Все великие открытия и изобретения так опаздывают. Что же делать, когда до самых простых вещей, которые ясны любому ребенку, человечество додумывается после тысячелетий, потратив понапрасну неисчислимое количество усилий и заливая горький опыт морями собственной крови.

Например, как воевали? Подумайте только.

С одной стороны были солдаты в синих штанах и синих мундирах, а с другой – солдаты, скажем, в желтых штанах и в желтых мундирах.

Для чего это? Для того чтобы в бою дерущиеся узнавали своих и отличали неприятеля. Как будто понятно.

Но в течение долгих веков никто, никто не подумал о том, как легко стрелять в человека, ярко разодетого… Синие стреляли в желтых, а желтые в синих, и те и другие восторгались четкостью мишеней… Поразительно!

И только совсем недавно кто-то в специальной французской военной литературе пробовал разобраться в вопросе – что было бы, если бы французы при Седане не носили свои красные штаны? Очень возможно, что Седана бы не было, размышлял военный специалист… Да, совсем бы не было Седана, если бы французы вовремя расстались со своими красными штанами! Во сколько же обошлись Франции эти красные штаны?

Но это, так сказать, частный вопрос. Можно запросить шире: во сколько обошлись человечеству цветные военные штаны и мундиры?

Были блестящие генералы и полководцы, были гениальные стратеги, их имена сияют до сих пор с любой страницы великой истории человечества, но таких простых вещей, которые ныне знает любой пионер, эти почтенные мужи не знали… Не знали – и все!

И вот понадобились века, чтобы японцы придумали для полевой войны специальный костюм защитного цвета, то есть спецодежду такого цвета, как трава, как песок, чтобы не так легко было попасть пулей в человека.

Казалось бы, куда проще! А для этого, вот видите, понадобились века…

Естественно, что то открытие, которому посвящен настоящий роман, а именно: умение искусственно создавать людей, пришло с еще большим

опозданием, нежели многие более простые изобретения и открытия, и родилось, конечно, не в результате каких-нибудь сотен, а многих тысячелетий беспрерывного и разнообразного кромсания людей.

Но о том, что искромсанных людей можно чинить, возвращать к жизни, об этом никто не подумал. О том, что ловко вырванные кишки можно положить на место и опять заставить выполнять свои функции, – этого никто не знал. Даже более: по-видимому, не хотел знать. Важно было выпустить кишки, оторвать человеку голову, выломить ему руки и ноги и разбросать в разные стороны. Это делали виртуозно. А чтобы зашить, собрать человека по кусочкам и заставить вновь работать его сердце – это величайшее из чудес – до этого никто не мог додуматься, хотя это чрезвычайно просто, еще, пожалуй, проще, чем цвет хаки в полевой войне.

Конечно, неизвестно, как это происходило детально, но на одном из больших погромов великое открытие наконец было сделано, и не только в негативной своей части, а именно – починка разорванных и исковерканных людей, но больше того: был найден рецепт изготовления человеческого теста и умение лепить из него – что чрезвычайно важно – людей новых.

Описанию этого знаменательнейшего, этого достойнейшего, прекраснейшего погрома, происшедшего в отсталой монархической стране – стране, которая даже не стоит того, чтобы ее называли, – посвящается первая глава.

Глава первая

Погром был как погром. В нем участвовали не только чужие погромщики, подонки общества и жители окраин, Активное участие в погроме принимали и многолетние соседи убиваемых и разгромляемых. Эти соседи деловито переносили к себе вещи убитых – благо им было совсем близко. Правда, некоторым из них было совестно убивать старых соседей. Как-то неловко было. В этих случаях они ждали, когда их убьют другие, и, дождавшись, уносили вещи все-таки к себе.

Громилы очень интересовались содержимым животов беременных женщин. Животы эти вспарывались и, как водится, на-

бивались пухом из подушек. Почему-то это считается особенным лакомством у погромных убийц. Младенцы убивались на ходу: ударом головой о фонарь или тумбу. Молодые девушки насиловались, а потом убивались. Мужчин убивали с большей поспешностью. Они все-таки являли собою несравненно большую угрозу, нежели девушки, женщины и дети, – ведь мужчина в погромной суматохе может укокошить и кого-либо из погромщиков. Поэтому, естественно, мужчин убивали деловито и без разговоров. Зато стариков гоняли по дворам и улицам, и так как они не представляли прямой опасности, то над ними издевались, заставляли плясать, петь или, связанных, заставляли присутствовать при смерти своих дочерей, сыновей и внуков.

Разумеется, на этом погроме происходило много невероятных вещей, которые очень плохо рекомендуют человека. Смягчающих обстоятельств было мало. Правда, многие действовали в пьяном виде. Почти все были разагитированы дешевыми незажигательными теорийками. Полиция и войска поощряли погром. Тем не менее, представление о людях резко менялось не только у пострадавших, но и у тех, кто был случайным свидетелем кошмарного зверства, проявленного двуногими. Менялись даже целые хорошо сложившиеся мировоззрения.

На улицах, во дворах, на лестницах домов и в квартирах лежали убитые, раненые и на все лады исковерканные люди. Не надо было особенно пристально рассматривать ужасы содеянного, чтобы найти в изрядном количестве валяющиеся головы, руки и ноги.

Они, как принято выражаться, вопияли к небесам.

Но это, конечно, не меняло положения. «Вопияли к небесам» – это старое выцветшее выражение, да и только.

И разумеется, никто не обращал внимания на не старого еще человека, скромно одетого, который поднимал то ногу, то руку, то голову и приставлял на соответствующие места к обрубкам тел. Думали, что это одна из погромных шуток, что это какое-либо издевательство, рассчитанное на длительный эффект. Заметив это, погромщики хохотали или испускали дикие возгласы. Но уже через короткое время за странным человеком начали наблюдать.

Его поведение было действительно странное. Он заметно увлекался этим неслыханным делом. Он снял шапку, сбросил пиджак; ему было жарко, он вытирал пот, но продолжал носиться в разные стороны с оторванными руками, ногами и головами. У него нашлись добровольные помощники – несколько юношей, заинтересованных необычайными опытами, помогали ему. Странный давал им поручения, которые выполнялись ими ввиду необычности дела весьма точно и быстро.

– Слушай, сбегай на второй этаж, – кричал человек. – Там лежит рука, очевидно, принадлежащая вот этому телу.

Юноша побежал на второй этаж и принес требуемое. Человек приставил руку к плечу, что-то сделал с телом убитого (его движения напоминали энергичный массаж или то, как месят тесто). Пот лил ручьями с его одухотворенного невероятным энтузиазмом лица. Юноши тоже энергично возились с трупом и делали все, что им приказывали. Вокруг собралась толпа. Настроение ее с каждой секундой густело. Многие не понимали усилий странного человека. Зачем он складывает разные обрубки и мучается над ними? Для чего это нужно? Они так хорошо поработали, так удачно кромсали, а этот пытается приладить оторванные руки и ноги на соответствующие места… Небывалая работа! Сколько свет стоит, и сколько было погромов – такого дела никто не видывал.

В толпе раздавались насмешки, переходившие в угрозы. Еще минута – и странный человек, возможно, разделил бы участь людей, с останками которых он возился.

Но чудо произошло вовремя. Помогавшие ему юноши буквально улетели в стороны, а толпа шарахнулась: труп встал совершенно бодро, даже без небольшой сонливости, которая должна была бы быть, которая бывает после обыкновенной болезни или после летаргии. Ничего. Встал, как ни в чем не бывало. Почесал оторванную руку и довольно грубые швы (мы забыли упомянуть, что старик работал шилом, прежде чем месить) и сказал, обнаруживая полную свежесть памяти и здравого сознания:

– Мерзавцы, гнусные убийцы! Что вы делаете? Когда вы прекратите? Ах вы сволочи, сволочи!

Совершенно невозможно описать, что произошло. История человечества знает бесчисленное количество бегств, но это бегство

было первым по стремительности и по ужасу. Бежавшие погромщики подняли такой рев, плач, визг и крик, что стоны убиваемых были совершенно заглушены. Эта небольшая толпа, видевшая, как ожил убитый, своим бегством увлекла почти всех погромщиков. Даже через несколько улиц обращались в бегство целые полицейские казармы и войсковые части. Многие даже не успевали вскакивать на лошадей, и лошади бежали без всадников. Многие падали от ужаса и умирали от разрыва сердца.

Около оживленного остался только странный человек и помогавшие ему добровольцы-юноши. Они тоже не могли выговорить ни одного слова, но от радости, вернее – от состояния крайнего оцепенения, близкого к столбняку.

Наконец человек, открывший способ оживлять людей, пришел в себя и сказал оживленной жертве погрома:

– Поздравляю тебя, человечина! Ура! Отныне не страшны самые гнусные инстинкты наших ближних! Наплевать! Одни тебя укокошат, а другие тут же оживят! Нехитрая механика человеческого организма разгадана! Вот, посмотри на себя, чем ты был и чем стал? Знаешь ли ты о том, где еще час тому назад была вот эта рука и эта нога? Рука твоя лежала на втором этаже, а ногу я нашел в канаве. Твое лицо, подвернутое под спину, лежало с бессмысленной покорностью трупа, застывшего на первой попавшейся мысли. У тебя были вывороченные губы, и ты лежал, как болван, оцепенев от отчаяния только потому, что тебя рубили какие-то мерзавцы. Гнусная чепуха! Вот, смотри, теперь ты будешь жить, как все живут!

Тут произошло маленькое недоразумение. Он подошел к оживленному, осмотрел его, похлопал и заметил, что рука прилажена неправильно.

Он взял нож – их много валялось вокруг – и хотел подрезать руку, с единственной целью лучше ее приладить. Но оживленный вырвался с ловкостью животного, схватил дубину, которых тоже валялось достаточно, и отпустил своему спасителю такой удар, что череп у него лопнул в трех местах.

– Довольно! – орал он не своим голосом, прыгая с дубиной, как фавн. – Довольно! Больше я не дам себя убивать. Второй раз не удастся. Мерзавцы вы! Погромщики и убийцы!

Юноши с трудом успокоили несчастного и перевязали череп странному человеку веревкой. Он лежал, почти потеряв сознание, но успел пробормотать, что главное ему добраться бы домой, а там он череп себе починит.

Глава вторая

Юношей звали Ориноко и Камилл.

Выудив из потухающего сознания раненого его адрес и узнав, что его фамилия Латун, они отвезли его домой.

Человек, сделавший величайшее на земле открытие, жил в обыкновенной комнате, у обыкновенной квартирной хозяйки.

Комната была светлая. Два окна, выходящих на улицу, давали много света и освещали кровать – такую кровать, которая обычно бывает у многих думающих и очень занятых людей, то есть небрежную, плохо прибранную, кровать, на которой спали мало и беспокойно.

В углу находился небольшой стол, заставленный всевозможными неизвестного назначения склянками, выдувателями, самодельными приборами, мисками с сероватой массой и предметами домашнего обихода. Вдоль стены стояла еще длинная скамейка, тоже, как и подоконник, загроможденная лабораторным хламом. Неподалеку от кровати стоял большой чемодан, прикрытый ковриком. Этот чемодан был предметом особых забот хозяина. Внесенный на руках юношами, он тотчас же обратил в сторону этого чемодана озабоченное лицо. Когда его положили на кровать, он подал знак юношам, чтобы они ушли.

Затем, теряя сознание и возвращаясь к нему, он с глубоким стоном поднялся, вернее, свалился с кровати и подполз к чемодану. Около самого чемодана он опять потерял сознание на несколько минут. Очнувшись, он стал шарить ослабевшей рукой, ища нужную кнопку. Прошло немало времени, пока он нашел ее, и когда чемодан наконец раскрылся, Латун вскочил на колени, как человек, спасение которому пришло вовремя, и ткнулся головой в мякоть, занимавшую его среднюю часть. Чемодан был разграничен на отделения, и в разных клетках находились массы,

похожие на тесто и отличающиеся по цвету. Ткнувшись головой в среднее отделение, заполненное синеватой мякотью, Латун постоял так несколько секунд, затем отпрянул, и лицо его приняло такое выражение, как будто он нанюхался табаку и сейчас начнет чихать. С этим выражением, не вставая с колен, он постоял еще минуты полторы.

Затем вскочил с поразительной после недавнего состояния легкостью и, совершенно здоровый, прошелся по комнате.

Обыкновенными ножницами он срезал повязку, смахнул с волос синеватую пыль и, позвав бодрым голосом юношей, ожидавших в коридоре, стал смывать с лица кровь над обыкновенной умывальной миской.

Юноши, уже ошеломленные во время погрома зрелищем воскрешения мертвеца, все же были поражены выздоровлением Латуна не меньше, чем при операции с мертвецом.

Однако лишние вопросы, восклицания и внешнее изъявление чувств не были им свойственны. Камилл был моложе и наивнее, но и он ничего не сказал, а только открыл рот и испустил еле слышный возглас крайнего изумления.

– Садитесь, – сказал Латун, указав на кровать.

В комнате был только один стул, который он занял сам, вытирая руки и лицо мохнатым полотенцем.

– Вот что, дорогие мои, – сказал он. – Вы присутствуете при невероятном событии. Не обращайте внимания на обстановку. Потом, когда об этом будут писаться сотни, тысячи, десятки тысяч книг, вряд ли будет описан этот грязный подоконник, эта скамья или неприбранная кровать, на которой вы сидите. Мое открытие будет овеяно легендами, которые обязательно будут придуманы.

Все будет стилизовано и выкрашено в праздничные тона. Вы же присутствуете в его непосредственных буднях, но, тем не менее, значение открытия от этого не умаляется. Конечно, мне теперь нужны будут люди. Так или иначе, придется кого-нибудь посвятить в тайну моего открытия. Не возражаю, чтобы вы были первыми. Я за естественный подбор. Раз вы здесь, значит, вам нужно здесь быть. Не в том дело, что вы меня привезли домой.

Конечно, я благодарен вам и за это. Но не это главное. Главное то, что во время погрома вы обратили внимание на мой опыт

и весьма существенно ему помогли. Кстати, где тот, которого я оживил и который меня угостил ударом дубинки?

Ориноко спокойно и деловито сказал:

– Мы послали за ним третьего нашего товарища, Кнупфа. Вы его еще не знаете. Он тоже заинтересовался этим делом, и когда мы отправляли вас домой, мы попросили Кнупфа последить за воскрешенным – ведь нельзя же выпускать из виду такого человека… Это бывает не каждый день. Что касается Кнупфа, то он кое-что понимает в этих делах. Он недавно сам убил шесть человек, и вопросы воскрешения людей и человекоделания его весьма интересуют.

Латун неопределенно улыбнулся. Улыбка на его лице выглядела странно. В его чертах не было ничего особенно сурового, но что-то в корне отрицало улыбку. Улыбка так же не вязалась с лицом Латуна, как, скажем, она была бы неожиданна у кошки, у лошади или другого животного.

Минут через десять в дверь постучались.

– Это Кнупф, – сказал Ориноко.

– Неужели так скоро? – спросил Латун.

– Да, он человек быстрый и решительный.

Действительно, это был Кнупф. Он вошел, держа за рукав, как полицейский арестованного, оживленного мертвеца. В позе Кнупфа и в его сдвинутых бровях было что-то суровое, но и крепкое в то же время – та же деловитость, которая отличала и его товарищей – Ориноко и Камилла.

Это были подходящие парни. Латун подумал, что подобрались именно те, кто нужны ему для столь трудного дела. Суровая и в то же время внимательная работоспособность и решительность юношей настраивала и его самого на деловой лад. Он старался попадать в тон своим помощникам.

– Ну, что? – обратился он к приведенному Кнупфом человеку. – Как вы себя чувствуете?

Оживленный мертвец, прежде всего, не мог оправиться от изумления при виде совершенно здорового Латуна, который еще так недавно лежал с разбитым черепом. Он ничего не мог сказать. Он стоял с открытым ртом, и в глазах его была та муть, какая отличает восприятие редкого и невиданного.

– Я ничего не понимаю, – сказал он, вздохнув и оправившись. – Или я с ума сошел, или происходит что-то чрезвычайно странное. Я был убит. Вы меня оживили. Затем я сделал несомненную ошибку, ударив вас дубиной. Да, я признаю свою ошибку. Сознаюсь, это был весьма поспешный акт. Но, согласитесь, я имел право на эту оплошность. Ведь очень неприятно быть убитым во второй раз. Как вы полагаете? Я ведь не знал, почему вы кинулись на меня опять с ножом. Но по дороге этот гражданин (он указал на Кнупфа) мне объяснил все. Кстати, – добавил он, – что вы меня держите за рукав? Я не убегу никуда. Я начинаю разбираться в обстановке…

Он оглянулся, подумал, вздохнул и сказал, обращаясь к Латуну, причем лицо его приняло выражение пациента, больничного просителя:

– Дорогой гражданин, вы сделали для меня много, но я не могу поворачивать голову влево. Вы явно неправильно приладили ее. Когда у вас будет свободное время, пожалуйста, исправьте этот дефект. А теперь разрешите поблагодарить вас за возвращение мне жизни, отнятой отвратительными мерзавцами погромщиками.

– Ладно, ладно, – хмуро сказал Ориноко, не любивший торжественных сцен. – Бросьте эти благодарности, всю эту чепуху. Не в этом дело. Предстоит много работы.

Инициативный, как и его товарищи, он достал из кармана свернутую тетрадку и обратился к оживленному:

– Расскажите, как вас убивали, а я запишу.

Латун одобрительно молчал.

– Вам это нужно? – спросил оживленный мертвец.

– Да. Нужно. Очевидно, не вы первый были убиты. Однако вы являетесь первым, кто подвергся такой удачной воскресительной операции. Человечество ждет такого рассказа тысячелетия. Правда, были случаи, когда люди бежали от смерти, казавшейся неминуемой. Например, недостреленные притворялись убитыми, а потом, оставленные в поле, спасались. И так далее. Их рассказы обычно бывают довольно содержательными, но, конечно, им трудно верить. Они большей частью врут, как охотники и как всякие люди, переживающие необычное. Некоторые врут даже

незаметно для себя, то есть врут и искренне думают, что именно так было. Воображение дорисовывает и приукрашивает случившееся. Вы же вряд ли успели приукрасить. Поэтому интересно послушать голую настоящую правду. Рассказывайте скорее.

Кнупф отпустил наконец рукав приведенного, и последнему ввиду явной его слабости, вызванной необычными переживаниями, дали единственный стул, с которого поднялся Латун.

Капелов (фамилия оживленного) сел, задумался и вдруг зарыдал очень искренне и горячо. Латун и трое юношей прогуливались по комнате.

Капелов рыдал, свесив голову и поворачивая ее вправо-влево: она не поворачивалась. Слезы струями текли на его грудь и колени.

– Ах, мерзавцы, – вырывалось из его искривленного страданием, прыгающего от рыданий рта. – Вы не можете иметь представления о том, какие это мерзавцы. Я рыдаю от жалости к себе. О, что приходится переживать убитому, то есть убиваемому человеку…

Камилл подал Капелову стакан воды и вытер его лицо губкой, лежащей на столе.

– Успокойтесь, – довольно ласково сказал он. – Вы должны понять, что трагизма нет больше в этом деле. Ну, вас убили, а вы все-таки живете. Еще раз убьют – вторично будете оживлены. Вы присутствуете при величайшем на земле открытии, благодаря которому смерть будет регулирована, как многое другое.

Капелов вытер слезы жестом, напоминающим детство.

– Началось это, как обычно начинается. Мы знали, что в городе тревожно, но, в конце концов, не в первый раз переживали такую тревогу. Были всякие слухи о беспорядках на окраине города, но мы надеялись, что все успокоится. Но вдруг неожиданно в полдень, когда я обедал со своей семьей, с улицы донеслись крики, свист, вопли, выстрелы и тот особый гул, который говорит о том, что несчастье развернулось и остановить его трудно. О, вы не знаете это собачье чувство беспомощности! Начинаешь себя чувствовать в чем-то виноватым… О, как унизительны эти поиски спасения! Как омерзительна мысль о погребе, о чердаке, о какой-нибудь норе, куда можно было бы запрятать несчаст-

ное тело, которое хотят разорвать. О, какой мрак!.. Самое обычное чувство здорового возмущения и протеста тускнеет. Ослабевает воля к жизни. В конце концов, усталый мозг пронизывает одна мысль: только бы скорее. Скорее бы кончилось это издевательство, эта безмерная обида. Вы подумайте, огромная толпа набрасывается на безоружных, на детей, на женщин… Я даже не знаю, как это можно воспринять, как это происходит. Это бойня. Убиваемые свиньи должны это чувствовать так же… Это… это что-то непостижимое!.. Как им не стыдно?! Их так много, их охраняют и поощряют полиция и войска…

– А почему вы не сопротивлялись? – спросил Кнупф. – Что из этого, что их много! Терять вам нечего, все равно зарежут. Так сопротивляйтесь!!! Убивайте кого попало!!! Пусть за вашу жизнь поплатится жизнью десяток!

Капелов грустно задумался:

– Действительно, это верно. Даже мысль об этом возбуждает. Но это с большим трудом можно осуществить. Вы знаете, в нас самих сидит провокатор. Имя ему – надежда. Человек надеется до последней секунды. На что надеется? Неизвестно. Черт его знает, на что. Даже когда его присудили к смертной казни, прочитали приговор, вывели на площадь, собрали народ – уже ничего не может измениться, его не хотят слушать, бьют в барабаны, чтобы заглушить его слова, а он – идиот – надеется на что-то. Уже голову воткнули в петлю, а надежда его не покидает. Он смотрит вылупленными глазами, как баран, на руки палача, продолжая надеяться. Ну, что вы скажете?

Кнупф, который убил шесть человек, имевших неосторожность напасть на него, и которого жгло неугасимое желание рассказать этот случай, счел уместным сделать это сейчас.

– Нет, – сказал он, – надо раз навсегда отбросить в этом мрачном деле всякие сантименты. Что, в самом деле, ожидания, надежды, какие-то чувства, виноватость какая-то, обреченность? Кому это нужно? Вот на меня напало шесть мерзавцев на дороге: с одной стороны крутая гора, с другой – озеро, бежать некуда. А они стоят передо мною совершенно уверенные в том, что я буду для них игрушкой. Они не спеша собирались кончать со мной. Они даже не принимали мер предосторожности, ошибочно

полагая, что я буду терпеливо ждать своей гибели. Ничего подобного. У меня не было никакого желания расставаться с жизнью. Я отчетливо помню, что у меня не было никаких чувств, никакой виноватости. Вздор! Я их ненавидел всем своим существом, с головы до ногтей на ногах. Я холодно высчитывал, как уничтожить бандитов, и когда я неожиданно ударил одного из них страшным ударом – головой в лицо – и выхватил у него нож, я молниеносно проникся уверенностью, что ни один не уйдет. Пораженный в лицо ударом моей головы, он отступил на несколько шагов, а второй тут же упал с перерезанным горлом. На меня набросились двое, но я продолжал работать ножом, как бешеный, и справившись с ними, догнал последних двух, бежавших на небольшом расстоянии друг от друга. Ноги мои дрожали от неповторимой сладости победы. Да здравствует победа! Да здравствует решимость!! Да здравствует жестокость!! Пусть гибнет враг! Я не хотел слышать их презренные вопли, их выкрики и слова! Не хотел! Мне было безразлично, что они скажут! Если бы они говорили самые умные вещи…

– Вот, вот, вот именно, – с грустью перебил Капелов. – Это верно. Когда тебя режут, можешь говорить самые умные вещи, это не поможет. Все равно зарежут.

– Да, – продолжал Кнупф. – Я зарезал их. Почему они напали на меня, шестеро на одного безоружного? Что за гнусность, что за бесстыдство!!

– Совершенно верно, – продолжал Капелов. – Именно бесстыдство. О, если бы я мог так действовать, как вы! Но, повторяю, я не мог. Я жил исключительно надеждой. Я надеялся на счастливую случайность, на то, что они уйдут, что их отвлекут, что они забудут о нас, не заметят. Мало ли что могло произойти… И, когда они ворвались в квартиру и ударом топора на моих глазах убили мою жену, убили мою дочь, – я даже не понял, что произошло. Я ничего не чувствовал в эти мгновения. Повторяю, я просто не понимал, что происходит. Я думал, что это обман зрения, и – я помню – ко мне подошел блондин, пристально глядевший на меня. Красивые губы его были чуть-чуть сжаты. Возбужденное спокойствие на его лице перемежалось с любопытством. Он подошел ко мне, схватил меня за волосы и стал резать шею. Так

просто! Я рванулся и опрокинул стол. Я схватил лампу и – помню – очень удачно, очень ловко вклеил в его лицо. Мне казалось, что она вошла куда-то глубоко. А дальше не знаю, что было, – я потерял сознание. Скажите мне, дорогие, не можете ли вы оживить мою жену и дочь так, как оживили меня? Я не знаю, где они. Их тела так же истерзаны, как было истерзано мое. Но, может быть, их можно найти? Пойдемте поищем! Спасите их! Я буду вечно вашим рабом. Вечно! Пойдем, а?

Было ясно, что больше ничего Капелов не скажет и вряд ли сможет сказать. Кнупф высокопарно выразился, что человечество тысячелетия ждет рассказа оживленного человека о том, как его убивали. Но ничего существенного все же Капелов не сказал.

Латун громко зевнул и потянулся. На лице его отчетливо отразилась скука.

Латун был практиком. Размышления отвлеченного порядка его захватывали не очень глубоко. Во всяком случае, из-за них он не забывал текущих дел. Посмотрев на Капелова и особенно выслушав его просьбу, сделанную в столь заурядной унизительной форме, о спасении жены и дочери, он поморщился и сказал будничным тоном:

– Постараюсь, постараюсь, голубчик. Это все же не так легко и просто, как вам кажется. Постараюсь. Голову вам тоже поправлю в свободное время.

– А сейчас нельзя? – попросил Капелов.

Помимо его воли тон у него получился развязный.

Латун из обыкновенного чувства противоречия, рожденного раздражением и легкой брезгливостью, ответил:

– Сейчас нельзя. Достаточно, что я вас оживил вообще. В вашем положении уметь поворачивать голову хотя бы в одну сторону – уже большое достижение.

– Это верно, – подтвердил Ориноко. Его задел тон Капелова. – Большое счастье уметь поворачивать голову хотя бы в одну сторону, точно так же, как и носить ее на плечах. Я помню, какой вид имела ваша голова, когда она лежала в канаве.

– Так вот, – сказал Латун, явно довольный поддержкой Ориноко, – если хотите, вы можете служить у меня. Я затеваю большое дело. Люди, откровенно говоря, мне не очень нужны. Я их умею

делать сам точно так же, как и оживлять умерших. Но все-таки я согласен принять вас на работу. Материал стоит дорого, делать служащих и работников придется много, так что я охотно воспользуюсь существующими людьми. В частности, вам все равно делать нечего. Имущество ваше разграблено, жены и детей нет. Кстати, чем вы занимались до того, как были убиты?

– Я был комиссионером чайной фирмы.

– Ну что ж, очень хорошо, – сказал Латун, явно не придавая значения своей фразе, сказанной им только для того, чтобы закончить беседу.

Затем он добавил:

– Посидите здесь пока. Ориноко, составьте список штатов первой в мире Мастерской Человеков. Запишите себя, Кнупфа, Камилла и гражданина Капелова.

Глава третья

Погром продолжался. Крики, вопли, выстрелы, топот, гнусные погромные свистки и шум омерзительнейших операций по преследованию и убийству людей не прекращались почти весь день.

Но Латун решил отправиться в комитет по делам открытий и изобретений, не дожидаясь окончания погрома.

– Надо приступить к работе, – сказал он. – У меня все готово. Надо получить разрешение. А если потребуется проверка, так это денег не будет стоить: на улице сколько угодно трупов. Я покажу все, что они захотят, в смысле оживления, переделок и так далее.

Он отправился в комитет в сопровождении Кнупфа и Ориноко.

По случаю погрома работа в учреждении шла с перебоями. Настроение было полупраздничное, полутревожное. Но все-таки чиновник спросил у пришедших, что им нужно.

Латун в нескольких словах изложил ему суть величайшего своего открытия и добавил:

– Понимаете, для того чтобы изобрести какой-нибудь примус, нужно все-таки затратить медь, олово, проволоку, всякие материалы, надо, наконец, жечь бензин. Тут же ничего этого не нужно. Кровь человеческая стоит дешево, вы видите, как она льется. По цене ее

нельзя сравнить с бензином. Она просто ничего не стоит. А человеческое тесто, то есть человеческие ткани, валяются где попало, так что, пожалуйста, проверьте скорее мое открытие и дайте мне скорее патент. Я хочу открыть мастерскую, в которой буду не только оживлять умерших или преждевременно убитых, но и делать новых людей, так как секрет моего открытия вполне позволяет и это, хотя, правда, создание новых людей дороже оживления мертвых.

Юноши с волнением слушали и в подтверждение сказанного кивали головами.

Латун, проявляя огромную инициативу и полную самостоятельность в своих действиях, все же любил советоваться с окружающими, любил получать поддержку своих слов и действий и почти после каждой фразы обращался к молодым спутникам со словами:

– Не так ли? Не правда ли?

Юноши, искренно привязавшиеся к странному человеку и предчувствовавшие большое дело, соглашались с ним.

Но чиновник комитета по делам открытий и изобретений, хмуро зашнуровывая бумаги, с типичным чиновничьим равнодушием, которое во все времена и эпохи твердо, как железобетон, сказал:

– Изложите все это письменно. Устные заявления не принимаются.

На следующий день счастливец, сделавший величайшее в истории человечества открытие, принес декларацию в письменном виде. Но ему опять не повезло: декларация была написана не по форме. Чиновник пояснил:

– Вы неправильно написали. Вы должны изложить только суть открытия и должны оставить поля для примечаний. Вот и все. Остальное должен сделать комитет.

Латун спокойно спросил:

– Что же мне, опять переписывать? Ведь время же уходит зря.

– Да, придется переписать. Это не по форме. Я принять не могу.

Латун посмотрел на узкий лоб чиновника и подумал: «А ведь я знаю, как с тобой обращаться. Дали бы мне тебя на полчаса, я бы тебе череп перекроил. Перестал бы ты быть бездушным формалистом».

Кнупф надулся – вероятно, так, как перед убийством шестерых. Ориноко плюнул и отошел в сторону.

Но Латун жестом предложил им успокоиться, взял обратно бумагу и оглянулся.

В длинном коридоре вдоль стен стояли скамьи, и на них сидели понурые типы с разными бумагами и диковинными штуками в руках. Некоторые штуки не помещались на коленях у сидевших и стояли перед ними. Это были изобретатели со своими изобретениями.

Чего тут только не было! Длинные прутья с хитро навязанными нитками, деревянные и металлические конструкции, разные винты, огромные чертежи, клетки с трубами и без труб, стекольные макеты, картонные импровизации… Беспокойная, вечно ищущая человеческая мысль выбивалась наружу самыми неожиданными способами. Один совершенно облезший старик с красными глазами держал на коленях темный ящик с путаницей из валиков посредине. Из них вырывалась хриплая унылая музыка.

– Что это такое? – спросил Латун.

– Это музыкальный перпетуум-мобиле. Это вечный музыкальный ящик. Вы можете его швырять, как хотите, он будет играть. Он уже был сброшен на дно колодца. Его везли в Париж, специально везли, чтобы сбросить с Эйфелевой башни, и – вот видите – играет.

Старик с необычайной живостью вскочил и поставил свой ящик недалеко от чиновника.

– Это я его донимаю музыкой, – жутко пошутил он. – Я уже хожу сюда четыре года, и только потому, что эта музыка осточертела всем, мне, кажется, скоро выдадут патент. Остановить мою музыку нельзя. А ваше изобретение играет?

– Нет, – ответил изобретатель человеческих тканей. – Мое открытие не играет.

– Ну, тогда вы не так скоро получите патент. Не один год сюда будете ходить.

Разговор с изобретателем музыкального перпетуум-мобиле взволновал изобретателей, до этого спокойно сидевших на знакомых скамьях. Они заволновались, как волнуется болото, если в него запустить камнем. Они поднялись с насиженных мест. Не-

которые стали стонать, кричать без слов. Видно было, что несчастным надоели все слова. Они начали потрясать своими конструкциями, с некоторыми приключилась истерика. Они перебивали друг друга длинными жалобами на загубленную жизнь.

Обладателю тайны человекоделания стало жутко: что, если и его тут будут мытарить годами, как всюду мытарят изобретателей?

С таким открытием, как человекопочинка и человекоделание, медлить нельзя. Но эти бездушные формалисты и неискоренимые консерваторы ничего не хотят знать.

Что делать? Правда, можно напасть на них и без особенного труда переделать. Железы консерватизма и бюрократизма не таятся в самых недрах человеческого организма, они расположены недалеко от мозжечка и продолговатого мозга, в уютной впадинке. Выкорчевать их можно обыкновенным кухонным ножом. Но так действовать нельзя. Что скажут власти? Ничего не поделаешь, надо будет терпеливо ждать прохождения открытия по всем инстанциям комитета.

Юноши возмутились, и один из них, наиболее смелый, сказал:

– Послушайте, уйдем отсюда. Ну их к черту! Откроем мастерскую человеков, и все. Так и назовем: «Мастерская Человеков», и начнем работать. Распределим отделы, наготовим человеческого теста и начнем выполнять заказы. Нам будут привозить умерших, будем их оживлять, разумеется, если они достойны этого, – будем делать новое тесто для заказов новых людей, а патент сам собой придет. Наплевать нам на начальство. Придет какой-нибудь представитель от городских властей – мы ему выдернем, что надо, или переделаем в одно мгновение на нужный нам лад. Чего, в самом деле, стесняться!..

– Нет, – ответил обладатель величайшего открытия. – Я начальства боюсь. Начальство – это сила. Начальство – дело серьезное. Начальство умеет кромсать. У них штыки, у них войска. Правда, мы умеем зашивать прободение внутренности, нам не страшны кровавые репрессии, но, знаете, – все-таки кромсание кромсанию рознь. Начальство может обратить в порошок. Начальство все может. Нет, я начальства боюсь. Что из того, что мы можем восстанавливаться? Дома тоже можно восстановить. Однако нет

более грустного зрелища, нежели развалины и пепелища. Одним словом, я высказываюсь за законное осуществление своего открытия. Мы можем, на худой конец, сделать так.

Он привлек к себе головы юношей и тихо сказал:

– Мы познакомимся с главными чиновниками комитета по делам изобретений, завлечем их при помощи девушек и угощения к нам домой, а там… переделаем на нужный нам лад. Они вмиг выдадут нам патент.

Юноши согласились на это с той серьезностью и деловитостью, которая впоследствии определила стиль работ и быта первой в мире Мастерской Человеков.

Глава четвертая

Капелов никак не мог оправиться от всего, что с ним произошло. Безмерная тоска по жене и дочери, нечеловеческая по силе жалость к ним, страшная картина их убийства стояла в памяти и жгла. Двое суток – без сна и пищи – он бродил по городу, по моргам, больницам и кладбищам и искал свою несчастную семью. Но не нашел. От нее не осталось никаких следов. Дом сгорел, а куда девались истерзанные трупы, никто не знал.

Капелов исхудал, плохо ел, не спал. Его часто лихорадило. Часто безудержно дрожали и дергались губы и левый глаз.

Обида – огромная обида – угнетала его. Но, кроме этой большой обиды жгла и другая, поменьше, но все-таки тоже обида. Его глубоко оскорбило нежелание Латуна оживить его семью. Правда, вряд ли ее можно было бы найти, но ведь он отказался до поисков. Почему он так небрежно и грубо отклонил его просьбу? Разве можно так?

Затем неприятнейший разговор о повороте головы.

Уж раз оживил человека, так доведи дело до конца. Вот он не может повернуть голову. Кому нужно, чтобы он был лишен возможности поворачивать голову?! Это так неудобно и нелепо. Кстати, Ориноко тоже хорошенькая штучка. Полез с подхалимской речью! Ах, как тяжело зависеть от людей!.. Как тяжело!

Правда, надо бы быть благодарным Латуну за то, что он оживил его, но все-таки семью он тоже мог бы оживить и голову тоже мог бы подправить. Это ничем не оправданная черствость со стороны Латуна. Тоска переполняла Капелова. Он часами думал над жизнью, и думы его были печальны.

Во время поисков он пережил еще одно потрясение: он встретил своего убийцу!

Поразительно! Зверь нисколько не изменился! На лбу его алела шишка – это от лампы, но больше никаких изменений не было! Вот эти сжатые губы, будь они прокляты, этот, в общем, спокойный заурядный облик – кто бы мог подумать, что этакий тип будет резать горло человека, как ни в чем не бывало, вскрывать череп, как арбуз!.. Что происходит, в самом деле?!

Убийца не узнал Капелова. Он прошел мимо – хорошо одетый, спокойный. Что это был за человек?

Почему он убил его? Как он попал на его квартиру вместе с бандой погромщиков?

Капелов, конечно, следил за ним и узнал, где он живет. Точно узнал. И записал адрес.

О! Он придет к нему, к своему убийце. Он придет!

Он поговорит с ним! Это будет знаменательный разговор – разговор убитого человека со своим убийцей! Такого случая нельзя упустить! Нельзя!

Но, конечно, этого нельзя сделать сейчас. Это надо сделать осторожно, это надо сделать как следует!

После этой встречи Капелова охватило желание писать – высказать всю боль, переполнявшую его, всю неслыханную обиду, от которой у него опускались руки и ослабели ноги.

Когда ушел Латун со своими сподвижниками, Капелов сел за лабораторный стол, отодвинул две банки с эликсирами и написал стихотворение. Он никогда не писал стихов, но боль не укладывалась иначе, как в широкие ритмические строки, в которых так легко высказывалось то, о чем можно было только смутно думать, но для чего в обыкновенной речи не хватало слов.

Несколько раз он прерывал письмо, так как рыдания душили его, и он рыдал громко и долго, не будучи в силах успокоиться.

Вот что он написал:

О, как болит душа у человека,
Который беззащитен, как свинья,
Которую каждый может зарезать.
Как больно быть ненужным,
Быть пустой жестянкой из-под консервов,
Которую выбрасывают в мусорный ящик.
Как обидно это! Как тяжело!
Как страшно быть ненужным и ждать смерти от людей!..

Капелов зарыдал от немыслимой жалости к себе, от страха перед непоправимой несправедливостью и ужасом человеческого равнодушия. Слезы катились из глаз неудержимо. И, не смахивая слез, он продолжал писать:

Но кто, кто считает меня ненужным?
Ты считаешь, что я не нужен тебе?
Ты – грязный, пьяный, глупый погромщик?! Ты?
Кто же ты такой, чтобы считать так?!
Грязный глупец! Скудоумец!
За что ты режешь, рвешь,
приводишь в негодность мои ткани?!
За что ты портишь мое тело, дурак ты этакий?!
Разве ты не знаешь,
Что деревья на фоне домов – и днем, и вечером,
И в сумерки, когда расцвечены окна,
Так прекрасны, так живописны!
Ведь они глубоко радуют меня!
Ведь в них безмерное количество и тонов и переходов,
Ведь все это волнует меня и приятно мне!
Понимаешь – приятно! И радостно!
Мое сердце радуется!
Понимаешь – сердце!
Ну, зачем ты это делаешь?!
Разве ты не знаешь радости жизни?!
Разве ты не знаешь, как хорошо встать утром
И видеть солнце, и белый снег,
И даже дождь, и даже тучи – хмурые, серые, но тоже
Прекрасные в своем утверждении жизни,
Холодный день, пасмурный, –

Разве он не прекрасен?!
Ну, я еще понимаю – убивать врага!
Врага, который мешает большому делу!
Я понимаю такое убийство!
Его можно понять и оправдать!
Я и сам убью такого!
Я проткну его поганое тело штыком!
Я прострелю его череп!
Я уничтожу его, если он будет защищать черное дело!
Я не пожалею его, если он вреден, если он мешает людям
Делать великое, радостное, нужное для всех!
Есть вещи, за которые надо уметь нещадно бороться!
Гибнуть самому и губить других!
Есть вещи, за которые надо до конца ненавидеть!
Но пользоваться бесправием несчастных
И убивать их в разнузданном бесстыдстве?!
Просто убивать??!!
О, тысячи казней достойны такие убийцы!
Нет места таким на земле!
Нет места!

На лестнице послышались шаги. Капелов положил перо и быстро спрятал в карман исписанный листок. Но никто не постучал. Шли в верхнюю квартиру.

Он достал из кармана стихотворение, попробовал прочесть, но не мог. Он чувствовал, что опять зарыдает.

Он встал и, как часто делал последние дни, принялся разглядывать стоявшие на подоконнике и столе различные эликсиры и препараты.

Он глубоко задумался.

Как жизнь сложна и в то же время до смешного проста, если уметь видеть ее истоки, – подумал он. В самом деле, вот эликсир. Жидкость в обыкновенной склянке. А что она творит! Например, человек разъярен, подавлен, возмущен. Он готов совершить самый безумный поступок, его глаза сверкают, они полны невероятной злобы, его брови сдвинуты, волосы растрепаны, рот искажен, и из него бьет слюна. Человек в таком состоянии, что бьет жену, детей, топчет ногами, не помнит себя, в остервенении

уничтожает все, что попадается под руку, ломает стулья. Окружающие остолбенели. Они не знают, что делать, как успокоить мечущегося в горячке человека.

Или человек печален, удручен. Он мучается. Не спит. Мысли гложут его. Он совершил ошибку. Что-то сделал не так. Он знает, твердо знает, что будет осужден за это. Он видит людей, которые его осудят. Он слышит их осуждающие голоса. Даже больше – он согласен с ними.

Они должны его осудить. Его лоб покрывается испариной. Он встает ночью и ходит по комнате. Он не знает, что делать, куда деваться!

Между тем, если влить в его кровь вот одну, самое большее две капли этой жидкости, – и картина совершенно иная: человек гуляет, насвистывает, пьет, ест. Спит, как младенец. Лицо розовое. В глазах и в помине нет черной печали, около рта нет морщин, брови не сдвинуты, отношения с людьми становятся ясными. Он не творит той чепухи, которую неизбежно натворил бы, будучи предоставлен самому себе.

Ведь он обязательно пошел бы на телеграф и отправлял бы телеграммы! Брал бы в окошке бланки и портил бы их один за другим! На всех телеграфах во всем мире не скупятся на эти бланки – их дают охотно, – пожалуйста, берите, это дань человеческой нервозности, человеческому безумию, человеческой тоске, неуверенности, усталости. И он, конечно, испортил бы несколько таких бланков! Обязательно разорвал бы! А потом, отправив, наконец, телеграмму, жалел бы о ней, сомневался бы, и так до бесконечности!

На его темени появилось бы несколько седых волос. Под глазами к сложной ткани морщинок незаметно прибавилась бы еще парочка.

Между тем капля, одна капля, – и все дело в корне меняется.

Он пошучивает – понимаете – пошучивает над тем, что мучило его целые ночи!.. Телеграмма?!

Он смеется – широко и удивленно. «Телеграмма? Для чего я посылал телеграмму?!»

Одна капля!

Капелов долго держал склянку с эликсиром. Вглядывался в нее.

Ничего. Жидкость как жидкость. Но как ею пользоваться? Как научиться пользоваться? Ах, если бы он мог влить себе нужное количество капель!

Есть ли смысл в его страданиях, как во всяких иных?

Глава пятая

Само собою вышло так, что Капелов исполнял трудные и черные работы. Правда, от них никто не отказывался. Но все-таки выходило так, что исполнял их именно он.

После оживления он стал ощущать большой аппетит, ел больше всех, и поэтому, не работая, испытывал чувство, похожее на виноватость. За работой же он заметно успокаивался, так как положение его становилось более оправданным.

Он месил тесто, которое ему выдавал из чемодана Латун. Это тесто Латун часами разглядывал на свет, трогал языком, морщился, обливал разными жидкостями, покалывал инструментами. Иногда Латун просыпался на рассвете, подбегал, взъерошенный, к чемодану, хватал тесто, обнюхивал его, разрезал на маленькие кусочки, долго думал и опять склеивал. Иногда, глядя на тесто, он долго и оживленно разговаривал сам с собою.

Днем же Латун ходил по делам в город. Тройка – Камилл, Ориноко и Кнупф – обычно не отставала от него.

После шестикратного посещения комитета по делам открытий и изобретений юноши, посовещавшись, решили, что хозяин слабохарактерен. Как влить в него эликсир твердости, они еще не знали. Они только слышали от него изумительные речи о различных эликсирах, эмульсиях и всяких снадобьях, которыми они будут пользоваться в будущем.

Поэтому они решили проявить инициативу и, не надеясь на мягкость и нерешительность хозяина, самим найти для мастерской помещение. Надо ж, в самом деле, начать работу. Материала для мастерской было достаточно: лавки были открыты. Кроме того, можно было покупать ткани на бойнях, где они стоили дешевле. Какой смысл медлить? Никакое открытие, даже самое великое, не становится действенным, если оно лежит под спудом.

Энергичные юноши разделились и отправились в разные части города на поиски квартиры. Самым решительным и широким оказался Кнупф.

Он наметил для Мастерской Человеков целый дом с многочисленными квартирами, пристройками, службами. Камилл удовлетворился училищем, а Ориноко пытался сговориться на окраине города с садоводами. Он хотел арендовать у них для мастерской оранжерею.

Хозяин Мастерской Человеков выслушал и улыбнулся.

– Вы – дети, – сказал он. – Где нам поднять такую штуку! Ведь надо выселить уйму народа. Сколько надо заплатить отступного! И кроме того, я совсем не убежден в выгодности нашего предприятия. Кто будет покупать или заказывать у нас людей?! Ведь теперь не рабовладельческие времена. Это во-первых. Во-вторых, создание человека связано с хлопотами, с бесконечной возней. Это не так просто. В-третьих, если будут заказывать людей, то, надо полагать, захотят хороших, полезных, интересных. Ведь сволочей и так достаточно. А как делаются хорошие интересные люди?.. Вы знаете, как они делаются? Я должен вам сказать правду, что гарантий я дать пока не могу. Правда, секретом делания искусственного человека я овладел вполне. Моих людей вы никак не отличите от рожденных. Но ручаться за хорошее качество тех, кого мы будем делать, – понимаете – ручаться я никак не могу. Черт его знает, как они делаются, эти хорошие люди! Есть, например, несколько железок, смысла которых я никак не постигаю. Малейший изгиб в них – и человек другой. Скажу вам по секрету, друзья мои, что это пока самое слабое место всего нашего предприятия. Боюсь, что у нас будут крупные недоразумения. Нам, скажем, закажут хорошего человека, обладающего такими-то и такими-то качествами. Мы, разумеется, заказ примем. Раз Мастерская Человеков, так чего там! Надо принять – не так ли? Сделаем его быстро, все будет выглядеть хорошо, человек будет как человек. Он выйдет из мастерской, внешне все будет в порядке, и только мое сердце будет трепетать. Заказан хороший человек, а он черт его знает кем может оказаться!.. Он может дом разнести и своих заказчиков загрызть, как тигр, кто его знает! Есть в мозгу серое вещество, которое я никак не могу разгадать –

для чего оно. Да не только я. Никто не может! Что мы вообще знаем о мозге человека?! Серое вещество, белое вещество… И все! А какое назначение серого вещества?! Затем, есть и в разных частях тела кусочки, которых я тоже не понимаю. Но ничего! Смущаться нечего! Я уже продумал это дело. Я буду говорить заказчикам: «Давайте, мол, образец». Вот и все! Образец! Да! Мы не боги, сами выдумывать людей не можем. Мы не боги. Мы ремесленники. Давайте образец, мы точно по образцу и сделаем. По образцу – и больше никаких! Сделаем точно – и все. В самом деле, ведь мы ремесленники, а не боги! Не так ли? Но меня волнует и другой вопрос: кто нам будет заказывать? О нашей мастерской еще не знают. Пока она станет известной – пройдет немало времени. В жизни ничего быстро не делается. Чем дело проще, тем оно больше встречает препятствий и сопротивлений со стороны людей, будь они прокляты. Так что я не знаю, ребятки, как быть с квартирой. Где мы возьмем деньги?..

– Да, – сказал Кнупф, внимательно выслушавший длинную речь хозяина. – Что верно, то верно. Без денег не обойдемся. Но все-таки помещение надо снять, и именно то, которое я нашел. А деньги надо заработать сейчас. Это не так трудно. Не бойтесь отсутствия разрешения. Примем несколько заказов, выполним и получим деньги.

– А где мы найдем заказы? – спросил Латун.

Кнупф подумал и сказал:

– По рекомендации знакомых. Так начинают все. Самый лучший врач, которому предстоит большая практика, начинает с того, что лечит двоюродного кума своей прислуги. Стесняться тут нечего. С кого-нибудь надо же начать. Вот у меня, например, есть знакомая девица. У нее есть немного денег, она ищет жениха. Не сомневаюсь, что она закажет его у нас, если мы ей предложим. Она вполне благоразумная девица, зачем ей терять время и рисковать связью черт знает с кем? Если можно заказать жениха, она, разумеется, это сделает. Ей уже двадцать два года, она достаточно искала жениха кустарным способом. Ей это надоело. Если хотите, я даже могу привести ее сейчас.

– Позвольте, – растерялся Латун. – Куда же вы ее приведете? Ведь нужна же какая-нибудь обстановка!

– Никакой обстановки не надо. В вашей комнате все это можно устроить. Расставим все эти колбы, разбросаем тесто, повесим какие-нибудь зеленые занавески, пустим красноватый свет и хватит. В конце концов, она ничем не рискует. Почему ей не попытаться? Она закажет себе жениха, и если мы ей сделаем такового, она вам с удовольствием заплатит, и мы купим квартиру. Хотите? Я поеду за ней.

Латун пожал плечом и сказал:

– Ладно. Поезжайте.

Решительный Кнупф уехал и через полчаса вернулся с девушкой.

Это была очень хорошая девушка. Все в ней было нормально и даже изящно. Она выглядела привлекательно, как все здоровые нормальные девушки. Если бы не была известна цель ее прихода, нельзя было бы предположить, что преобладающим ее желанием было поскорее заполучить жениха. Но и в этом тоже, как известно, нет ничего предосудительного, и девушка говорила об этом открыто, располагая к себе простотой своего тона и приятной искренностью:

– Кнупф сказал мне, что здесь можно заказать жениха. Так ли это? – спросила она.

– Да, – не без смущения ответил Латун.

Он впервые разменивал великое открытие на объект потребления, и ему было грустно. Эту грусть испытывают все изобретатели, изобретение которых имеет практическое применение. Эдисону, вероятно, очень трудно было видеть – особенно в первый раз – какие-нибудь электрические кастрюли, явившиеся результатом применения на практике принципов использования электричества.

Латун волновался. Волна возмущения и жалости к себе подымалась в нем. В самом деле, стоило ли изобрести такое, о чем даже не могло мечтать человечество, для того чтобы стоять в позе приказчика перед этой девушкой и выслушивать ее заказ. Черт знает что происходит!

Но что же делать! Забивший со стихийной силой фонтан целебного источника распродают стаканами. Очевидно, таков закон.

И Латун, чуть-чуть нагнувшись, как нагибается всякий продавец в сторону покупателя, ответил:

– Да, гражданка. Пожалуйста. Это так. Вы можете заказать себе жениха. Какого именно пожелаете?

Молодая девушка без промедления – вопрос был ею, очевидно, хорошо продуман в утренних и вечерних грезах, когда вот эти самые милые пряди волос бывали разбросаны по жаркой подушке, а большие глаза наглухо закрыты отяжелевшими веками, – ответила:

– Знаете, я бы хотела, чтобы он был хороший.

Затем подумала и продолжала:

– Интересный. Хотя, знаете ли, внешность для меня не имеет особого значения.

– Но все-таки, – галантно сказал Латун уже совсем тоном продавца в магазине, – поскольку вы заказываете себе жениха, вы можете это сделать по своему вкусу. Нам все равно, Это не будет стоить дороже.

Ориноко, находившийся в углу комнаты за зеленой занавеской, чуть не прыснул: Латун говорил так, как говорят о фасоне ботинок. «Торговля остается всегда торговлей», – подумал он.

– Значит, можно заказать по своему вкусу? – спокойно спросила девушка.

– Пожалуйста.

– Ну, хорошо.

И с простотой, возвышающейся, может быть, до поэзии, девушка продолжала:

– Глаза чтобы были, как василечки.

Она провела ладонью по лбу и добавила:

– Или как звездочки.

И еще подумав, она продолжала:

– Чтобы он был высокого роста. Красивый. Сильный. Чтобы с ним было хорошо-хорошо… Чтобы были поэзия и настроения…

Еще пауза. И после напряженного решительного размышления:

– Чтобы был честный, благородный и чтобы хорошо зарабатывал.

– Одну минуточку, – сказал Латун. – Я запишу все это.

Он достал толстую книгу, предназначенную для регистрации заказов, записал все и спросил:

– А как насчет известности? Нужно, чтобы он был знаменитым?

– Пожалуйста. Спасибо. Можно, чтобы он был и знаменитым.

И спокойно спросила:

– А когда он будет готов?

– Зайдите через недельку, – ответил Латун, не поднимая головы, склоненной над книгой.

Глава шестая

Ориноко, Кнупф и Камилл разбрелись по городу в поисках помещения. Все находили, что в одной комнате смешно принимать заказы, и особенно изготовлять их.

– Это совершенно невозможно! – восклицали и Ориноко и Камилл с таким видом, точно они были опытными специалистами по изготовлению людей.

Латун отличался нерешительностью. Он явно нуждался в руководстве. Его длинные речи по всякому поводу, а часто и без повода, нисколько, по мнению юношей, не способствовали продвижению величайшего на земле открытия.

Эти юноши были значительно современнее Латуна и меньше придавали значения формальности и законным взаимоотношениям с властями:

– Что там думать и бояться – законы, законы! Законы сами по себе, а мы сами по себе.

На беспокойство Латуна они отвечали уверенными репликами, что ничего им власти не сделают, что если ждать, пока выдадут патент на изобретение, погибнет все.

– Нам нужно помещение, – говорили они. – Неужели вам это не ясно?

И парни энергично занимались поисками, причем Кнупф совмещал поиски помещения с вербовкой заказчиков.

Капелов же никуда не отлучался и весьма внимательно знакомился с ремеслом искусственного человекоделания.

Он обладал недюжинными способностями. Это сразу заметил Латун. Капелов легко разбирался в эликсирах и тканях. Его пальцы быстро и ловко нащупывали что нужно. Ноздри безошибочно разбирались в запахах. Ему не претили эти утробные животные запахи человеческого тела. Он любил запах живой человеческой крови – не той, которая зря проливается, а той, которая льется в жилах, проходит через сердце и пахнет тем, что не имеет имени, чем пахнут губы возлюбленной на рассвете, истерзанные, горячие и чуть солоноватые.

Бывали случаи, когда в ночных работах Латуна он помогал ему чрезвычайно существенно, легко разрешая задачи, над которыми долго бился Латун.

– Совершенно правильно, – соглашался хозяин мастерской, с удивлением посматривая на Капелова. – Вы очень способный человек. Несомненно, вы принесете пользу мастерской. Ах, надо будет исправить вашу голову, чтобы вы могли поворачивать ею во все стороны. Напомните мне как-нибудь, я это обязательно сделаю на досуге.

Первый заказ жениха для девушки очень заинтересовал Капелова. Он оживленно высказывал свои предположения, каким должен быть этот жених:

– Давайте сделаем нечто хорошее, – сказал он. – Эта симпатичная молодая девушка достойна хорошего жениха.

Когда он эту же мысль высказал в присутствии Ориноко, тот съязвил:

– Я видел, вы энергично поворачивались, чтобы получше ее разглядеть, когда она была здесь. Жаль, что вам пришлось поворачиваться всем телом, так как вам трудно поворачивать голову. Почему вы так заинтересованы в том, чтобы у нее был хороший жених?

Капелов не нашелся что ответить. Да он и не хотел отвечать Ориноко. Какой смысл в дешевом остроумии и огрызании! Пустое остроумие вообще отживает свой век. Для чего оно?

– Кем бы его сделать? – спрашивал он Латуна от смущения чересчур громким голосом и с таким видом, точно он уже исполнял множество заказов. – Какой бы профессией его наделить?

– Не знаю, – хмуро и с явным оттенком неудовольствия отвечал Латун, уж насчет этого, пожалуйста, осторожно. Кого-нибудь

попроще сделайте. Прошу не забывать, что самый дорогой материал – это мозг.

– Да! Я знаю, но ведь для такой девушки мы должны сделать уж во всяком случае интеллигентного человека! – в ужасе, боясь возражений и заранее не вынося их, почти закричал Капелов.

Латун достал из своего чемодана склянку с очень густым эликсиром, потряс ею и сказал:

– Вот это то, что нас разорит. Если будут требоваться интеллектуалы, так прямо хоть не открывай мастерской. Надо будет этой девушке дать кого-нибудь подешевле. Она хочет знаменитого, и «глаза как василечки», и прочее такое, так сделаем ей поэтишку какого-нибудь, писателишку. Вероятнее всего, это ее устроит.

– Да, но ведь она же хочет, чтобы он хорошо зарабатывал.

– Мало ли что, – невнятно и крайне равнодушно пробормотал Латун. – Зарабатывал… Он и будет зарабатывать… Как-нибудь уж придумаем что-либо.

Капелов не возражал, но только для того чтобы не затягивать пререканий. Решение же у него было твердое. Он хотел, чтобы первый человек, сделанный Мастерской, был более или менее хорош. Кроме того, он хотел сам выполнить заказ, без чьей бы то ни было помощи. Но как это осуществить?

О трех парнях не могло быть и речи: они не составляли ему конкуренции. Что касается Латуна, то обойти его было не так уж трудно. Он уходил часто и был как-то большей частью угнетен и чем-то занят и рассеян.

Вообще, Капелов чувствовал, что его положение в Мастерской Человеков может быть основано только на непосредственной работе. Так было и в управлении чайной фирмы. Какие-то люди вертелись там вокруг хозяина, шутили, приходили на службу в хороших костюмах, рассказывали анекдоты, сохраняли независимый вид, может быть, иногда что-нибудь и делали, но, во всяком случае, не очень утруждали себя, и тем не менее, очень хорошо жили. У людей бывает такая уверенность. Многие наделены каким-то особым обаянием, которое заставляет относиться к ним как к полезным и нужным людям.

Вот тут таким обаянием пользуются Камилл, Ориноко и Кнупф. В сущности, они ничего не делают, а старику Латуну уже

начинает казаться, что без них ему никак не обойтись. Кнупф даже начинает покрикивать на Латуна, Ориноко пошучивает, Камилл довольно бесцветно дуется и капризничает, и все-таки со всеми делами, которых пока, правда, немного, Латун обращается к ним.

Нет, по-видимому, играть здесь видную роль, ничего не делая, ему, Капелову, не придется. Ему надо работать. Каждое дело строится так, что работает кто-то один, а остальные более или менее мешают или помогают немного. По-видимому, он и будет этой рабочей «деловой фигурой». Так, в конце концов, бывает всюду. Он знал, что это ему удастся. Работать он любил, а ремесло человекоделания почувствовал сразу.

И вот, когда Капелов оставался один, он немедленно принимался за работу.

Нельзя сказать, чтобы это было легко. Первый опыт чуть не заставил его отказаться от дальнейших попыток посвятить себя этому опасному делу.

Из груды купленного мяса Капелов на рассвете в холодный ноябрьский день стал лепить человека. Правда, он торопился, и ошибки были слишком уж грубы. Но все-таки работа продвигалась. Дыхание, кровообращение, пищевод были им вставлены правильно. Он в этом был убежден. Маленькие затруднения были с печенью, но и ее он вставил в соответствующее место. Остальные органы человека, как главные, так и второстепенные, тоже были прилажены, как надо.

Но это все же был не человек. Это было нечто явно несуразное. Оно лежало на верстаке и ожидало эликсира жизни. Капелов последний раз пощупал сердце, осмотрел всю бесформенную глыбу, но больше возиться он не мог и, поддавшись бурному порыву великого творческого нетерпения, влил чудесный эликсир.

Был самый разгар делового дня. С улицы доносился грохот трамвая. Гудели автомобили. С другой стороны по лестнице шло почти беспрерывное движение, раздавались чьи-то громкие голоса. Вообще было очень шумно, и только благодаря этому то, что произошло, не получило скандальной огласки.

Странное существо – первый опыт Капелова – поднялось с верстака, опустило ноги-обрубки на пол и в такой позе остава-

лось несколько минут. Оно мало походило на человека. Многого, очень многого не рассчитал и не учел Капелов. Ему казалось, что он наделил его всем необходимым, но это было жалкое заблуждение. Это был не человек.

Неизвестно, что это было. Один глаз, вставленный Капеловым, действовал, другой не открывался. Дара речи у несчастного существа не было. Капелов забыл об этом существеннейшем свойстве человека… Это было ужасно. Бесформенное, нелепое, как первая мысль о человеке, грубая масса, из которой скульптор только будет высекать фигуру. Одна рука у него тоже не действовала. Она неподвижно прилипла к боку. Очевидно, общая масса тела придавила ее к верстаку. Зато другая рука, по-обезьяньи длинная и крепкая, свисала чуть не до пола. Ноги были слоновьи по толщине.

Первое, что сделал Капелов, это повернулся, чтобы взять нож. Но, увы, ножа вблизи не было, он куда-то сунул его в творческой суматохе.

Первое явно неудачное существо жутко вглядывалось в него единственным красным глазом. Капелов замер. Он испытывал те же самые ощущения, какие ему пришлось пережить перед убийством. Было ясно, что произойдет несчастье. От такого «человека» могут исходить только сокрушающие действия. Почему неправильный человек не ласкает, а разрушает? В самом деле, раз это несовершенный человек, то почему не в сторону хороших действий, а обязательно вредных? В этом красном глазу было нечто, похожее на красивое лицо погромщика, убившего его. Очевидно, и тот, как и этот, был несовершенным человеком.

Но что делать? Оно поднимается. Оно становится на землю. Бежать? Но бежать некуда. Надо его обезвредить. Какой ужас! Сейчас может вернуться Латун. Кроме того, это страшное существо может разбить все препараты. Оно может вырваться на улицу. Ведь кто не знает, в чем дело, тот ужаснется. Можно представить себе, что было бы на улице, если б появилось такое человекоподобное существо. Это была бы мировая сенсация! Никогда ничего подобного еще не было.

Капелов, обессилев от ужаса, отступил к стене. Можно сказать без преувеличения, что не только он – никто еще за вре-

мя существования человечества не испытывал таких ощущений, какие выпали на долю бывшего скромного служащего чайной фирмы.

Между тем существо надвигалось. Оно не стояло посредине комнаты около верстака. Оно приближалось к Капелову.

Бедняга потерял сознание. Надо благодарить природу, наделившую человека этой чудесной способностью так радикально и просто отгораживаться от крупных неприятностей. Трудно сказать, что было бы с Капеловым, если бы он не потерял сознания.

Однако он очнулся. Сознание вернулось к нему от страшного удара, полученного в голову. Капелов открыл глаза и увидел, что над ним занесена жуткая рука содеянного им страшного человека для нанесения второго удара.

Между тем от первого удара он упал и ударился головой об пол, так что удар был двойным. Сила ударов была неслыханная. У Капелова треснул череп, как у Латуна, которого он ударил дубиной.

Что делать? Еще один такой удар, и он не будет в состоянии сам оказать себе помощь. Он будет убит. Трудно сказать, оживит ли его во второй раз Латун…

Что же делать?

Говорить с первым неудачным опытом человека нельзя было: в него не вставлен дар речи, и не действовали органы слуха. Может быть, стрелять в него?

К счастью, револьвер находился поблизости. Но будет шум. Капелов ни на минуту не забывал, что мастерская нелегальна, что патента нет, и малейшая неосторожность может погубить величайшее на земле открытие. Он не забыл этого даже теперь, лежа с разбитой головой…

С большим трудом он поднялся, прислонился спиной к стене и, сидя, выставил вперед ноги, примитивно обороняясь таким способом. Двумя ударами ему удалось несколько отодвинуть чудовище.

Затем Капелов быстро встал, накинул своему неудачному детищу на голову электрический шлем, служащий для скрепления черепов, и пустил в него сильный ток.

Неудачный человек наконец упал на верстак.

Сам же Капелов в бессилии упал на стул и опять потерял сознание.

Однако все обошлось благополучно. Он очнулся до прихода Латуна. Он сунул голову в заветный чемодан точно так же, как это сделал в свое время Латун, – в голубое тесто, и починил себе череп. Он незаметно разрезал первую свою неудачную работу, но все же оставил наиболее хрупкие органы, так как не отказался от мысли во второй раз сделать нечто более удачное. К великому счастью, зверь ничего не разбил, а дорогостоящий эликсир, от которого Капелов отлил немного, он, боясь нагоняя от Латуна, долил водой, как это делает примерно прислуга, тайно пользующаяся одеколоном хозяина…

Прибрав в комнате, Капелов опять уселся за работу.

Он уменьшил первое сделанное им сердце. Он придал ему красивую форму, сделал особенно эластичными его стенки и старался особенно изящно отшлифовать сердечные клапаны.

За этим занятием застал его Латун.

– Что вы делаете? – спросил он.

Капелов спокойно ответил:

– Сердце для этого поэта, для жениха нашей первой заказчицы.

– А отчего у вас шишка на лбу?

Латун был наблюдателен. Он внимательно осмотрелся и заметил следы нарочитой уборки. В углу лежали груды того, что еще недавно было человекообразным существом. В воздухе было что-то определенно беспокойное, что бывает после крупных драк. Верстак был тоже сдвинут.

– Что здесь произошло? – спросил хозяин мастерской. – Повидимому, вы пытались кого-то сделать?

Капелов, чувствовавший после перенесения бедствий определенное тяготение к правдивости, хотел уже было рассказать хозяину о мрачном существе, жертвой которого он едва не стал, но воздержался. Старик ни за что не простил бы бесполезной траты ценнейшего жизненного эликсира. Этот эликсир и еще один – эликсир интеллектуальности – Латун берег со скупостью, превосходящей все самые высокие виды этой человеческой страсти. Относительно мозга Капелов не боялся. Он почти не затратил его при создании чудовища.

– Смотрите, – строго сказал Латун. – Если человек сделан неумело, он страшен. Имейте это в виду: нет более опасного и гнусного существа, чем неправильный человек. Берегитесь! Никакой зверь так не опасен! А сделать человека правильно очень трудно, хотя теоретически это вполне возможно. Но без опыта вы можете вообще натворить ужасное. Главное, это будет полной неожиданностью. У него может быть приятное располагающее лицо, вы можете испытывать к нему доверие, но если что-нибудь в нем неправильно, он вас поразит лицемерием, злобой, чудовищной завистью, бессердечием и такой жестокостью, которую, повторяю, вряд ли знает хищный зверь. В жизни неправильных людей рождают обстоятельства, условия воспитания, окружения, среды, класса. Огромную роль играет, разумеется, и наследственность. Наши люди, то есть те, которых мы будем выпускать, ничем, конечно, не будут отличаться от настоящих – материал такой же, – следовательно, и законы влияния на него окружающей обстановки те же. Но, кроме того, он может быть неправильным еще по техническим причинам. Имейте в виду, мы можем погибнуть совершенно неожиданно. Берегитесь. Нет ничего опаснее неправильных людей. Жизнь и так полна ими. Тюрьмы и каторги содержат только ничтожную часть, причем попавшую случайно.

– Нет, ничего не произошло, – сказал Капелов. – Шишка на лбу – это оттого, что я упал. Это действительно случилось со мной. А больше ничего не произошло. Вы спрашиваете, почему сердце изящное? Так вы же велели сделать поэта. Уж как-никак, а сердце поэта надо сделать поделикатнее.

– Ну ладно, деликатности мне не жалко. Только, пожалуйста, экономьте материал. Я вас предупреждаю: выгоню без разговоров, если будете зря тратить материал. Имейте в виду это раз и навсегда. Ну, давайте сделаем поэта.

Латун снял пиджак, закатал рукава рубашки и подошел к верстаку.

Капелов замер: ведь жениха для милой девушки хотел сделать он. Он хотел вложить в него всю нежность убитого и воскрешенного человека. Он хотел вложить в него всю свою тоску по жене и своей незабываемой дочери, зверски убитой погромщиками. Ах, что такое человеческая черствость! Он просил Латуна об их вос-

крешении тогда, когда это еще было возможно. Что стоило этому человеку воскресить несчастную женщину и ее дочь! Но люди остаются людьми. Он не захотел этого сделать. Не захотел. Тяжело зависеть от людей. Очень тяжело.

Капелов в отчаянии посмотрел на Латуна: неужели он сам сделает первого человека и не даст возможности это сделать ему, Капелову?

Глава седьмая

Совершенно не понимая, как это получилось, Капелов вдруг начал смело и правдоподобно врать Латуну.

– Знаете, – сказал он, – в ваше отсутствие сюда приходила заказчица. Ведь неделя прошла. Она приходила осведомиться о своем заказе. Но не это явилось главной причиной ее прихода.

– А что?

– Она, видите ли, беспокоится, сделаем ли мы ей то, что ей нужно.

Латун рассердился:

– Вы не должны были говорить с ней об этом. Вообще я стал замечать, что вы слишком много себе позволяете! Старая история – когда даешь человеку ход, он начинает забываться и лезть на голову! Я должен говорить с заказчиками, а не вы. Понимаете – я! Вы не смеете! Это не вашего ума дело!

Капелов почувствовал острейший укол обиды! Но мог ли он обидеться на Латуна, человека, который его воскресил? Есть же, в конце концов, какие-то нормы признательности… Есть же предел и для самой черной человеческой неблагодарности… И он кротко сказал:

– Я и не думал с ней говорить. Я сказал: «Поговорите, пожалуйста, с хозяином Мастерской Человеков». Так я сказал ей.

Латун несколько успокоился.

– Ну и что же? – хмуро спросил он.

– Я только сказал это. Больше ничего. Затем на вопрос, почему не готов ее жених, я ответил, что у нас очень много заказов, что мы завалены работой и не успели.

Это еще больше успокоило старика, и он, придавая голосу мягкость, спросил:

– С чем же она ушла?

– Я просил ее зайти через неделю, взял ее адрес и обещал известить, если вам будет угодно поговорить с ней или передать что-либо.

– Ну ладно. Так чего же она хочет? Она ведь ясно сказала, какой жених ей нужен. У меня записано.

И чтобы сгладить грубость в обращении с Капеловым, Латун добавил, смягчая тон:

– Черт их возьми, уже начинают надоедать! Ну ладно! Вот успокоимся немного, пойдем с вами куда-нибудь, посмотрим на людей, посмотрим, какие бывают вообще люди, и сделаем ей жениха по какому-нибудь образцу. Знаете, я уже забыл, как люди выглядят! Весь день так суетишься и столько думаешь о людях, что забываешь, как они выглядят. Вот уж действительно, из-за леса деревьев не видишь…

– Замечательно! – искренне обрадовался Капелов. – Это превосходная идея! Действительно, пойдем куда-нибудь, посидим, отдохнем. В самом деле, посмотрим на людей.

Он обрадовался, потому что, прежде всего, откладывалось исполнение заказа девушки, – таким образом, не исключалась надежда, что заказ этот он выполнит сам. Кроме того, примирение с Латуном и перспектива провести с ним несколько часов в общественном месте обещала какую-то возможность отдыха и развлечения. Он так устал!

– Черт его знает! – повторил Латун. – Кутерьма вокруг такая, что, право, забываешь, как люди выглядят. Я вижу одно тесто людское… ткани… чепуху всякую… и вот эти эликсиры и колбы. А людей не вижу. Ну ладно! Погром кончился, порядок восстановлен – люди куда-то ходят, приодетые, вымытые… Мы не хуже других. Пойдем тоже, посидим, посмотрим и подберем образец для жениха.

И на другой день под вечер, когда не было Кнупфа, Ориноко и Камилла, Капелов напомнил Латуну о его намерении.

Они приоделись, Латун, заметно оживившись и даже что-то напевая, надел гуттаперчевый воротник, с которого смыл засох-

шую – по-видимому, свою же кровь – тряпочкой. Капелов быстро побрился, и они вышли.

Город, небольшой, по-южному беспечный, отдыхал, точно в нем ничего не произошло – ни погрома, ни величайшего на земле открытия. В черной тьме приятно подтанцовывали огоньки. На главной улице, где мостовая была асфальтирована, публика разгуливала взад и вперед. Девушки попарно, по трое и по четверо жались друг к другу. Им преграждали путь парни. Некоторые с лихим видом опытных донжуанов размахивали палочками, руками, фуражками, хорохорились на все лады, курили, ругались и всячески обращали на себя внимание. Девушки взвизгивали от их приставаний и смеялись. Смех перемежался с различными выкриками тех и других. Теплый вечер благословлял и нежил всех. Население отдыхало, молодежь резвилась. В темном небе зажигались звезды.

У афишной витрины Капелов заметил большое извещение о концерте. Тут же, невдалеке, находилось и здание театра. Его освещали большие огни, и публика сплошной массой поднималась по старым покривившимся ступеням широкого входа.

– Вот, зайдем сюда, – предложил Капелов.

– Почему сюда?

– Тут концерт. На концертах обыкновенно не тушат электричества в зале, мы будем иметь возможность видеть людей. В театре и кино, как известно, зал во время исполнения не освещен.

– Хорошо, – задумчиво и мягко согласился Латун.

Положительно он был бесподобен в этот вечер! Капелов не знал, как выразить ему благодарность и восторг.

От первых резких и патетических фанфарных звуков симфонии у Капелова сперло дыхание, горло сжала спазма, и из глаз полились слезы.

Не зная от смущения, куда девать мокрые глаза и прыгающие губы, Капелов, страдая, хотел повернуть голову, – ведь люди стыдятся слез, которые они проливают в театрах, в кино и на концертах, – но он не смог: голова ведь у него не поворачивалась в обе стороны…

Опять волна ненависти поднялась в нем против Латуна: ну что ему стоило поправить голову, чтобы она могла свободно по-

ворачиваться?! Он сам бы это сделал, но резать свою собственную голову все-таки рискованно. Латуну же такая операция почти не стоила бы усилий. Капелов напоминал ему об этом довольно часто. Но ничего не выходило. В последний раз Латун сказал: «Я занят, вы же видите, что я занят», – он действительно собирался куда-то. А в другой раз огрызнулся еще резче: «Что вам торопиться! В Америку собираетесь, что ли? Вы же не уезжаете, и голова у вас на плечах, а не… где-нибудь». Он чуть не произнес «в канаве», но в последнюю секунду, сделав над собою усилие, не напомнил ему про этот печальный, но, увы, достоверный факт.

Ненависть Капелова была остра. Известно ведь, что мы особенно ненавидим тех, кто сделал нам добро, но, так сказать, недоделал, – как будто добро можно «доделать», как будто оно имеет границу… Увы, оно безгранично, как и зло, – вероятно, поэтому и обстоит так неблагополучно дело с человеческой благодарностью…

Однако ненависть Капелова к Латуну возникала вспышками и быстро потухала. Латун заметил волнение Капелова, его слезы и прыгающие губы и сказал:

– Надо будет как-нибудь исследовать вас и установить причину, отчего вы плачете в минуты эмоциональных давлений извне – от нервности, или у вас характер такой.

Но Капелов уже не плакал. Слезы от театральных или киноволнений, отчего бы они ни происходили – от расшатанной нервной системы или от свойства характера, – как известно, быстро высыхают.

Капелов с жадностью вглядывался в окружающую публику. Ему нравились люди – они пришли сюда такие чистые, вымытые, здоровые.

Его опять захлестнуло неодолимое желание писать стихи. Он достал из кармана тетрадку, которую всегда носил с собою, и начал писать, как и в прошлый раз, не зная, впрочем, что он пишет, стихи или прозу, и нисколько не интересуясь этим.

Вот что он написал:

«Гул людей.
Гул людей.
Что может быть прекраснее!

Массы!
Массы!
Что может быть прекраснее человеческих масс!
Прекрасного человеческого стада!
Как приятно,
сладостно,
опьяняюще
дыхание людей
чистое,
здоровое,
теплое,
пахучее!
Я слышу шуршание кожи.
Хруст сухожилий.
Поскрипывание скелетов!
Люди!
Люди!
Затянутые в белье и сукна – вы так же прекрасны.
Люблю, вас!
Люблю ваши мышцы и вашу мякоть!
Цветущий жир!
Блеск волос и зубов!
Сияние глаз!
Голоса!
Изломы губ!
Согретый мех на женских платьях,
гордые белые шеи,
женские колени,
ах, эти колени!
И запах кожи высоких ботинок
на ногах девушек.
Люди!
Люди!
Что может быть благороднее мужской осанки,
цветения мужественности,
жаждущей опасности, безумия и риска!
От огня ваших глаз содрогается мир.

Что может сломить вашу волю?! Ничто!
Как умно,
гармонично
и радостно
расположены на стульях тела,
как умно покоятся руки и ноги.
Великий покой!
Великий покой!
Но и в покое бьются сердца,
горит кровь,
цветет сила.
Руки девушек чувственно шевелят пальцами.
Красноватая кожа обтягивает их.
Их ноги двигаются под стульями в такт музыке.
Они играют телами,
мускулами,
тканями,
кровью.
Нескромно расставленные ноги мерцают подвязками, бельем,
туго натянутыми нитками чулок.
Люди!
Люди!
Вот они сидят,
дышат,
живут!
Сколько процессов бродит в этих телах!
Сколько мыслей, желаний!
Они испаряются в теплом воздухе!
Воздух заполнен ими.
О, если б их расшифровать!
Люди!
Люди!
Они измышляют!
Они хитрят!
Чего только нет в этих круглых головах!
Но пусть!
Пусть!

Прекрасна ваша физиология! Ваша тяжесть!
Ваши сотни тонн!
Ваша хитрость!
Ваша жестокость!
Худенькие изящные девушки,
свободно сидящие с чуть раздвинутыми ногами,
вы знаете?
Вы сидите на трупах!
Ради вас,
вашего спокойствия,
вашего благополучия
в такт музыке!
на рассвете,
одинаково во всех странах,
казнят немытых,
заросших,
очень запутавшихся людей.
Вы сидите на трупах, девушки.
На трупах!
И вы мечтаете под музыку!
Под музыку!
Вы прекрасны!
Да здравствуют мужчины и женщины,
да здравствует человеческая молодость,
сила,
радость,
счастье
и жестокость
людей!»

Играли что-то сложное, но складное, со взвизгиваниями и многоэтажным долго раскачивающимся и с большим трудом оконченным концом.

Латун слушал с явным удовольствием, прищурив глаза. Это было удачно. Он не обратил внимания на Капелова, тяжело дышащего и заносившего дикие каракули в мятую лежащую на коленях тетрадку.

Кончив писать, он поспешно сунул ее в карман.

Латун продолжал наслаждаться музыкой. Это было странно, но многое было странно в этом человеке.

Наконец Капелов, решившийся проявить инициативу, вспомнил, что он должен быть «деловой фигурой», и сказал:

– Не пора ли нам поискать образец?

– Да, да. Пожалуй, – встрепенулся Латун. Он, видимо, устал. Взгляд его блуждал рассеянно, размягченно и равнодушно. – Вот такой подойдет?

Глава восьмая

Латун указал на молодого человека с косой шевелюрой и скучным носом. Молодой человек стоял в боковом проходе у ложи. На нем был щегольской костюм цвета бычьей крови и яркий галстук.

– Этот?

– Да, этот, – совсем сонно повторил Латун, равнодушно, но в то же время прозорливо разглядывая его и зевая. – Сделать его – совершенные пустяки. Стоить будет недорого. Паренек будет средний, но приличный. Нос сделаем поумнее. Это денег не стоит. Характер у него легкий. Немного вспыльчив, но добр, самолюбие первой степени, то есть не любит, чтобы ему перечили в мелочах. После одного года мелких ссор она научится угождать ему. Упрямство тоже небольшое. Ну, дома поскандалит немного – суп пересолили, котлеты пережарили. Ребенка будет любить. Об изменах жены не будет догадываться, не хитер. Врать будет в меру, лет через шесть-восемь станет домоседом, будет играть в домино. Что еще ей нужно? На службе будут его любить: звезд с неба не хватает, милый человек. Таких любят. Ну, что? Хватит?

Как-то само собою вышло, что Капелов как бы являлся представителем девушки-заказчицы. Латун спрашивал его так, точно не самой девушке, а ему, Капелову, придется выбирать для нее жениха. И Капелов почему-то принял на себя эту роль – представителя заказчицы.

– Нет, – сказал он четко. – Что она, сумасшедшая, что ли?! Зачем она будет заказывать у нас подобное ничтожество? Что со-

бою представляет этот паренек? Почему нам не сделать нечто приличное? Не понимаю такой постановки дела. Если мы с самого начала начнем делать всякую ерунду, то какая же репутация будет у Мастерской Человеков?! Для чего тогда все это? Почему нам не сделать интересного человека?..

Латун вспылил и закричал:

– Интересного человека? Да знаете ли вы, что такое интересный человек?! Вы бормочете вздор! Вы говорите чепуху! Интересный человек! А сколько должен стоить интересный человек – об этом вы подумали?! И потом – что такое интересный человек? Ведь это зависит от миллионов обстоятельств. Ведь нам надо его сделать не для выступлений каких-нибудь, а для повседневной жизни. А тут какой же может быть интересный человек! Ведь вы знаете, и все это знают, что вблизи самые великие люди часто бывают неинтересными. Ей нужно любить его. Если она его будет любить – последнее ничтожество ей будет казаться изумительным и неповторимым существом.

И тоном человека, которому скучно излагать азбучные истины, Латун добавил:

– К тому же, ведь это мы будем знать, что он собой представляет. Она его разгадает не так скоро. Годы пройдут. И когда она его разгадает, она тоже будет уже другая. Ничего, парень подойдет. Он блеснет перед ней, он будет смеяться, будет говорить то, се, разные шутки-прибаутки…

Капелов вздохнул и грустно спросил:

– Так мы его хотя бы умным сделаем?

Латун опять вспылил:

– Опять?! – закричал он. – Так я же вам говорил, что мы разоримся, если будем делать интеллектуалов! У нас одна несчастная бутылка интеллектуальной эмульсии! Мы еще ничего не заработали, а он уже щедр! Ишь какой нашелся! Умный нужен! Будьте любезны не беспокоиться! Все будет в порядке! Шутки-прибаутки будут не первого сорта, конечно, но кому нужно, чтобы они были первоклассными?! Много ли вы слышите первоклассных шуток? Я знаю авторитетнейших и почтеннейших людей, которые шутят посредственно. Даже тупо! Так даже лучше, как-то солиднее получается, когда уважаемый человек шутит плоско и туповато.

Это вернее как-то. Так вот, я вам в последний раз заявляю, чтобы об этом даже разговора не было! Пожалуйста, без всяких нажимов на меня! Ни особенно умным, ни остроумным я его не сделаю! Умным он должен быть! Иначе она не привыкла у отца своего! Умным! Вот такого сделаем, как этот, и все. Или другого обывателя, ну, на какой-нибудь другой фасон, но чтобы это стоило не дороже! Слышите! Я, право, не знаю, можно ли вам доверять такие дорогие материалы, если вы так легкомысленны!..

Капелов слушал и не верил ушам своим: выходило так, что Латун был готов к тому, что он, Капелов, сам исполнит этот заказ. Старик волновался только по поводу затрат.

И Капелов неожиданно ласково и покорно сказал:

– О, вы можете быть совершенно спокойны – ни одной каплей больше того, что вы сами отмерите, я не волью в его череп. Вы еще не знаете, какой я честный человек. В чайной фирме, где я работал, однажды…

– Так смотрите, не раздражайте меня зря!..

– Да, да. Не беспокойтесь, господин Латун. Но, если вы помните, вы ничего не имели против того, чтобы сделать его чем-то вроде поэта, писателя…

И стараясь попасть в тон хозяину, Капелов добавил:

– Пусть он хоть за те же деньги будет поэтичным – не правда ли?.. Ведь это все-таки, как-никак, первый заказ. Зачем сразу выпускать идиота?..

– Это не идиот. Это – обыватель. Кстати, надо бы нам нанять кого-нибудь для составления каталога, чтобы был ряд характеристик по номерам и типам. Заказы, судя по всему, будут. Кнупф говорил сегодня, что даже на днях их ожидается немало. И вот нам надо составить каталог. Наметить раз навсегда типы людей. Зачем нам по поводу каждого заказа заводить дискуссию! Каталог необходим. Разместим людей по номерам. И будем спрашивать заказчиков – вам что? Кто нужен? Такой-то и такой-то? Пожалуйста, номер 15, 16, 2, 23. И все. Пожалуйста, напомните мне, составим разделы и категории. Прямо – вам что нужно? То-то и то-то? Пожалуйста! Жарь по номеру 42 или 29, или 17 – и все. Каталог необходим.

Капелов еще не сразу понял, о чем говорил хозяин, но он понял, что речь идет о новом служащем, и почувствовал неясный

страх, смутные опасения и… служебную ревность. Кто знает, кем окажется этот новый служащий? А вдруг он захочет тоже делать людей – ведь он, Капелов, еще не укрепился, при неустойчивых настроениях Латуна и его капризном характере от него всего можно ожидать. Величайшее счастье, что Кнупф, Камилл и Ориноко в этом отношении не стоят у него на пути, но кем окажется этот новый? Капелов побаивался и этой тройки, и теперь, сам того не желая, сделал попытку унизить ее в глазах Латуна:

– Да, разумеется, каталог необходим. Но, конечно, Камилл, Ориноко и Кнупф вряд ли окажутся подходящими людьми для этого. Придется поискать кого-нибудь.

Когда они выходили из зала, Латун указал еще на одного молодого человека. Он обычно спорил и раздражался, когда ему возражали, но все же известное влияние возражение оказывало, и спустя некоторое время он шел на уступки.

– Если не хотите того, может быть, этот подойдет ей больше? В отношении качества они равноценны. Форма иная…

Молодой человек, на которого указал Латун, стоял у входа в курительную комнату. Он был высок, худощав. Красивый и небрежный взгляд его блуждал поверх голов проходивших по коридору. Он кого-то искал или делал вид, что ищет. Нервный рот его покусывал папиросу, зажатую в длинных белых и узловатых, как у пианиста, пальцах.

– Ну что? – спросил Латун. – Такой подходит? Он будет первое время горячо любить ее. Потом остынет. Он ленив и эгоистичен, и это даст ей возможность забываться в работе на него и обогащать любовь содержательной материнской заботливостью… Свободное время у нее будет занято прочными формами постоянной и ровной ревности, окрашивающей жизнь и придающей ей животворящее беспокойство. Так или иначе, ей будет не скучно. Он гостеприимен, любит музыку. У них будут частые вечеринки с исполнением вокальных и музыкальных номеров… Ну, что ей еще нужно?

– Но будет ли она счастлива?

Латун опять вспылил, причем так сильно, что Капелов испугался и замер на несколько минут, пока не понял особым чу-

тьем, что эти ссоры лучше всего способствуют сближению его с Латуном.

Действительно, наскоки на Капелова превращались у Латуна в привычку, и когда это не касалось трат дорогостоящих материалов, это доставляло ему какое-то воспаленное, нездоровое, но по-своему острое удовольствие.

– Это возмутительно! «Счастлива»?! Откуда эти слова? Из каких-то старых заплесневелых романов? «Людмила, я счастлива!» – передразнил он кого-то, сделав отвратительную гримасу. – Она должна приехать к этой Людмиле в три часа ночи на окраину города, в черном плаще, сообщить, что она бежала от мужа к любовнику, и броситься – обязательно «броситься» – к ней с этим сакраментальным восклицанием: «Людмила, я счастлива!». Что за чепуха! Какое тут, к черту, счастье?! Где вы видели счастье?! Кто вам обязывался давать счастье?! Почему счастье?! И где у людей счастье?!! Что вы, с ума сошли, что ли?

Он даже остановился от раздражения и продолжал:

– Откуда счастье?! И что вы за ходатай о счастье для наших заказчиков? Вы, может быть, сами очень счастливы? Тот, который резал вашу шею, дал вам понятие о счастье? Почему вы обязаны давать больше счастья, чем его дает или не дает сама жизнь?! Вы серьезно думаете, что искусственные люди должны быть более счастливы, чем естественно рожденные?! Вы в своем уме?

Капелов не возражал. Он думал – с легкой грустью, говорившей о его природной добросовестности, – о том, что счастье есть и его надо давать людям.

Но он вдруг с грустью и тревогой задумался. Он вспомнил о том, что первые люди, сделанные Мастерской Человеков, будут иметь меньше шансов на счастье, чем последующие. И виноват в этом будет он, Капелов. Да, к сожалению, это так. Разве он не истратил на чудовище, на первого неудачного человека, столько основного эликсира – эликсира жизни?..

Ведь этот эликсир теперь водянист... Ведь сам Капелов дополнил израсходованную на чудовище часть соответствующим количеством обыкновенной воды!

Глава девятая

Кнупф не произносил слов зря. Это был серьезный человек. И если Латун утверждал с его слов, даже делая при этом озабоченное лицо и деловито морща лоб, что предстоят заказы, то Кнупф его не подвел и не поставил перед Капеловым в смешное положение: действительно, заказы были даны Мастерской Человеков.

Жаль только, что сама Мастерская Человеков еще ничего не представляла собою. У нее не было даже помещения. Разговоры о снятии оранжереи – не касаясь уже случайности и неубедительности самого выбора Ориноко – были нереальны. Точно так же мало подвигалось дело с наймом помещения школы. Пожалуй, всего осуществимее было устроить Мастерскую Человеков в заброшенном пригородном доме, который Кнупф важно называл особняком. Этот дом, будучи мало опрятным и почти совсем неблагоустроенным, был зато просторным. В нем было немало квартир и комнат, и можно было, по крайней мере, подумать о распланировке Мастерской, разграничить ее лаборатории, и уж во всяком случае, поселить ее служащих.

Самому Латуну тоже надоело ютиться в одной комнате с Капеловым и со всеми препаратами, склянками, верстаком и сгустками человеческого теста.

Вторым заказчиком, которого привел Кнупф, был подслеповатый, но твердый и хищный человек с рыбьим профилем. Он с большим трудом выбился в люди из низов, после долгих мытарств открыл небольшое предприятие по выработке кожи и очень хотел иметь в своем заведении одних только спокойных и верящих в бога рабочих и служащих.

Его профиль заинтересовал Ориноко. Он просил Латуна задержать заказчика, с важным видом пошел домой, откуда вернулся с толстым томом учебника естествознания – «Гады и рыбы».

Усевшись против посетителя, он принялся деятельно перелистывать учебник и вглядываться в иллюстрации. Минут через двадцать он точно установил, что заказчик похож на рыбу брызгун, которая водится у берегов Явы, а когда говорит, то становится похожим тоже на рыбу, которая называется норвежской марулькой.

Об этом Ориноко не замедлил оповестить Латуна в чрезвычайно уверенном тоне, точно это было самое главное – на кого похож заказчик, причем вид у Ориноко был такой, точно польза, приносимая им Мастерской, была огромна.

Латуна справедливо задела эта никчемная псевдодеятельность, и он в первый раз за время знакомства с ним грубовато сказал:

– Не в этом дело. Совсем не в этом дело. Не стоило для этого задерживать человека. Мало ли кто на кого похож! Надо исполнить заказ. Надо деньги зарабатывать. Брызгун или не брызгун, какая-то марулька – все это чепуха. Мы уже в изрядных долгах, помещения у нас нет, денег на покупку мяса для заказов тоже нет, – я уж не говорю о хорошем мясе, но вы знаете, почем теперь одна телятина стоит – этот дурацкий погром взвинтил цены! Мои запасы эмульсий и эликсиров очень мизерны. Комитет по делам изобретений патента нам не дает, рекламировать мы не можем, – я вообще не знаю, что будет с нами. И когда Кнупф, действительно энергичный и дельный человек, приводит заказчика, вы его зря заставляете ждать и устанавливаете, что он похож на какую-то норвежскую марульку… Идите, дорогой, и не мешайте работать!

Этот разговор происходил в коридоре. Повернувшись к Ориноко спиной, Латун вошел в комнату, в которой ждал заказчик, и обратился к нему с вопросом, угодливо и любезно улыбнувшись:

– Чем могу служить?

– Мне нужен спокойный и верующий рабочий, – ответил заказчик. – Пока один. Я уже заявлял молодому человеку.

– Один?

– Да. Пока один. Дело у меня маленькое, пока работаем всей семьей, но уже требуется работник. Мне говорил Кнупф – мы с ним знакомы, его отец был моим товарищем по военной службе, мы вместе участвовали в походе; я знаю Кнупфа вот каким (он указал на метр от земли). Так вот, Кнупф сказал мне, что здесь я могу получить такого работника. Главное – тихого, семейного, честного, верующего. Но, пожалуйста, без обмана. Мой товарищ, имеющий тоже небольшое предприятие, почти разорен скверными рабочими! Прямо разбойники! Каждую неделю они устраивают у него забастовки, скандалят, требуют повышения

платы – дело никак не расширяется и не растет. Так что, пожалуйста, я бы хотел с гарантией. Можете ли вы дать мне такого рабочего с гарантией?

– Жалованье вы будете платить аккуратно?

– Да.

– Квартира будет с отоплением, освещением, удоб…

– У меня нет для него квартиры… Ведь у меня же маленькое предприятие… Что вы думаете, что у меня фабрика с квартирами для рабочих?

– А что же у вас есть?

– Я ему буду платить, а жить он будет, где захочет. Я хочу только, чтобы за мое добро и за мои деньги, которые он будет у меня зарабатывать, он был предан мне. Понимаете, предан. У меня был такой один рабочий, но, к сожалению, он запьянствовал, и я его выгнал.

Заказ был ясен. Латун мог бы больше не расспрашивать. Но заказчик требовал гарантий. Какие гарантии он мог дать ему? Ведь ручаться он не мог ни за кого. Преданный рабочий…

– Чтобы был верующий? – переспросил Латун.

– Да. Обязательно. Чтобы веровал.

– В кого?

– В бога.

– В какого?

– Это мне все равно.

– Впрочем, лучше всего, в Христа, – добавил заказчик, подумав. – Это спокойнее как-то. А то, знаете, эти новые боги, там секты всякие, это, знаете ли, не дело.

– Так что квартиры с отоплением-освещением у вас нет?

– Нет.

– Жаль. Была бы квартира с удобствами – было бы легче.

Но отказаться от заказа было бы безумием. Природная щепетильность, правда, смущала Латуна, но ведь гарантии он никому не мог дать. К тому же заказ очень трудный – преданный и верующий рабочий… Пришлось покривить душой.

– Хорошо, – сказал он.

И, взяв книгу, сел записывать.

– Каким вы хотите, чтобы он был в смысле внешности?

Заказчик сказал, что ему все равно. Внешность ему безразлична. Рост тоже. Главное, чтобы не болел и был вынослив.

– Хорошо, – сказал Латун. – Через две недели будет готов.

Следующим заказчиком явился представитель не то какого-то великосветского церковного прихода, не то модного религиозного общества. Неугомонный Кнупф познакомился с ним на бульварной скамье, куда он присел отдохнуть после утомительных поисков помещения.

Кнупф был энергичен и действительно работал для Мастерской.

Представитель религиозного общества – его звали Коц – отличался невероятной болтливостью, носившей явно ненормальный характер. Причины не замедлили выясниться: он нюхал кокаин, и его потребность говорить много, неустанно, перегружая речь всевозможными планами, возникала немедленно после принятия очередной дозы белого блестященького порошка, который в коричневом пузырьке хранился у него в жилетном кармане.

Однако это не мешало Кнупфу выслушать его и увидеть в нем заказчика.

Модному религиозному обществу или приходу срочно требовался – для успешной борьбы с конкурентским приходом или обществом – красивый проповедник, который мог бы заинтересовать дам, составлявших большинство радетелей общества. Общество было богато, оно не останавливалось, естественно, ни перед какими затратами, чтобы заручиться соответствующим штатом проповедников, но их не было. Такие проповедники-красавцы буквально на вес золота.

В припадке кокаинной болтливости он рассказал Латуну, что таким проповедником в свое время был он сам, забросив для этого верное ремесло адвоката. Но одна дама, приезжая артистка, которая на его горе застряла в городе и каким-то образом проникла в общину, научила его нюхать кокаин и облачаться для этого почему-то в посеребренную, то есть обсыпанную серебряными блестками простыню. Она делала то же самое, сидя перед ним и тоже завернувшись в такую же простыню с блестками. Ничего более вульгарного и нелепого он никогда не видел и не испытывал. Это было нечто в стиле самых идиотских рождественских открыток.

Сидя в таком виде, она его спрашивала, почему у него нет шелковистой бороды. Какой он, мол, модный религиозный проповедник, если у него нет шелковистой бороды! Для какой приличной дамы могут оказаться действенными его никчемные проповеди!

Она возится с ним только потому, что ей все равно, с кем вместе нюхать. Не будь, говорила она, у нее этого недостатка, ее ноги не было бы в этом никому не нужном институте…

– Простите, – нетерпеливо прервал Латун, – для чего мне нужно знать все эти подробности? Какой заказ вы хотите дать нам?

– Вот именно, – нисколько не смутился Коц, – сделайте нам модного религиозного проповедника, почти святого, но с шелковистой бородой и с такими, знаете, глазами… Ну и, конечно, чтобы он был хорошего роста, широк в плечах, тонок в талии, строен и вообще. В общине святого Матвея работают двое таких, и дела ее блестящи… У нас же, откровенно говоря, единственная надежда на вас… Наша община хиреет. Я не пользуюсь никаким успехом. Хорошо еще, что былая дружба с влиятельными прихожанками дала мне возможность остаться хоть на должности секретаря или кого-то в этом роде. Очень вас прошу, сделайте нам такого, мы вам хорошо заплатим…

О хорошей плате Латуну еще до прихода Коца говорил Кнупф. Это, собственно, и заставило его рискнуть иметь с ним дело. Он же предложил Латуну потребовать деньги вперед.

Латун в вежливой, но твердой форме изложил это условие.

– У нас, видите ли, мало материалов. Такой серьезный заказ требует особого качества материала – так что… пожалуйста, мы вынуждены… И вообще, у нас такое правило.

Латуну не нужно было долго останавливаться на этом условии. Представитель религиозной общины нисколько не удивился, мгновенно осведомился о сумме, оставил значительную часть ее в виде задатка и обещал завтра принести остальное. Свое обещание он выполнил в точности и узнал, что модный святой с шелковистой бородой, загадочным взглядом и всем, что требуется для успеха у дам, будет готов через две недели.

Третий заказ, тоже организованный Кнупфом, последовал от богатого путешественника. Ему нужен был служащий, который обладал бы умением приспосабливаться к любым обстоятельст-

вам, порядкам в любых странах и при любых режимах. Богач любил путешествовать. Обыкновенно его сопровождали секретарь, стенографистка и фотограф. Но практика показала, что этого штата недостаточно. Ему приходилось испытывать много затруднений, пока Кнупф, с которым он был знаком через свою стенографистку, бывшую, в свою очередь, подругой девушки, заказавшей жениха, не разъяснил ему, что такого человека он может заказать себе в только что открытой, но еще нелегально работающей Мастерской Человеков. Богач немедленно направился в Мастерскую.

Латун его выслушал очень серьезно.

– Значит, вам нужен приспособленец? – спросил он.

– Да. Настоящий, чистый, беспримесный приспособленец.

– А какой внешности? – задал Латун становящийся уже трафаретным вопрос.

– О! Разве внешность имеет значение для настоящего приспособленца! – вполне справедливо заметил заказчик. – У него будет такая внешность, какая нужна будет по данным обстоятельствам и данному моменту. На то ведь он приспособленец…

– Но иногда бывает, что для того чтобы лучше приспособиться, надо быть, хоть и немного, чем-нибудь отличным – понимаете? Есть приспособление примитивное и много степеней усложнения.

– Что же, – опять-таки резонно добавил заказчик. – Я хочу, чтобы мой заказ был первоклассно выполнен. Значит, он будет приспосабливаться и примитивно, и сложно – опять-таки в зависимости от обстоятельств. Настоящий приспособленец иногда даже спорит с хозяином – для того чтобы приспособление к нему выглядело независимее и искреннее, не так ли? Ведь это общеизвестно.

– Совершенно верно, – ответил Латун. – Через две недели будет готов.

– Ну, и набрали же мы заказов! – потирал он руки и почесывал ими темя.

Капелов, не отстававший от Латуна ни на шаг, выслушавший это восклицание, хотел сказать: «Ничего, справимся!», но вовремя воздержался. Было слишком рискованно выказывать такую

самонадеянность. Это, несомненно, вызвало бы обычную у Латуна реакцию, и он не дал бы Капелову сделать даже жениха – первый заказ, о котором старик, по-видимому, забыл.

Глава десятая

Но Капелов не забыл о том, что ему предстоит. Он пользовался хотя минутным отсутствием Латуна, чтобы готовиться к предстоящей работе. Он постепенно подобрал все необходимые ткани для внутренних органов, составил схемы, делал предварительные слепки из глины, поставил поближе к верстаку эмульсии и эликсиры, максимально использовал первого неудачного человека, освежив и подновив в нем все, что можно было. И наконец, когда Латун уехал с Кнупфом, Ориноко и Камиллом смотреть – окончательно, в последний раз, новое помещение, он смело и уверенно, но тщательно избегая ошибок, едва не стоивших ему жизни при создании первого человека, принялся за работу.

И новый человек был сделан.

До боли в глазах осмотрел его Капелов, прежде чем влить в него последний животворящий эликсир, внимательно ощупал и обнюхал его. И наконец решился.

С верстака поднялся очень худой (это была неожиданность! – ткани его как-то неожиданно ссохлись перед самым оживлением, и пигмент на лице почему-то стал желтым), очень даже худой молодой человек с маленьким рыжевато-желтоватым лицом, с ввалившимися щеками, морщинистым многодумным лбом, под которым сидели болезненно глубокие, чересчур уж вдумчивые глаза. С этими глазами вязался голос – слабый, но задумчиво звучащий и своеобразно убедительный неспешащим тембром своих звукосочетаний.

Капелов в волнении, которое не имеет названия, отошел в угол комнаты и замер.

Человек спустил ноги с верстака, чуть потянулся одним плечом и вздохнул. Вздыхали все вновь созданные люди. Об этом Капелову говорил Латун, и это было верно. Даже страшное чудовище – первое детище Капелова тоже при оживлении испусти-

ло глубокий и жуткий вздох. Как-то во время изучения горловых тканей и связок Капелов спросил об этом у Латуна:

– Почему вновь созданный человек обязательно вздыхает?

– Не знаю, – ответил Латун. – Откуда я могу это знать? Точно так же мне неизвестно, почему плачет новорожденный младенец. Плачет – и все. У всех народов и во все времена – всегда плачут. Не было такого случая, чтобы младенец выскочил из утробы матери и улыбнулся радостному миру, в который он пришел неизвестно откуда.

Латун был явно раздражен. Поэтому беседа на этом прервалась.

Однако человек, созданный Капеловым, не думал плакать, хотя лицо его приняло плаксивое выражение. Он ограничился вздохом. Затем, оглядевшись, потер ладонью грудь и руки выше локтей, точно перед купанием, и, недоверчиво посмотрев на Капелова, обиженно и удивленно пробормотал:

– Послушайте. Ну чего же вы смотрите на меня? Дали бы какую-нибудь одежонку. Нельзя же так, в самом деле. Тут же холодно.

По тому, как смотрели его глаза, Капелов убедился, что интеллектуальных соков он влил в него значительно больше, чем следует. В этих глазах светилась мысль – гибкая, живая человеческая мысль.

– Боже мой, – шепнул Капелов, – что я наделал! Что будет?! Ведь старик меня заест!

Впечатление его при более внимательном осмотре своей работы подтвердилось. Странный и немного вульгарный тон, каким новый человек требовал одежду, был для него совершенно не характерен.

– Какую одежду? – спросил Капелов. – Никакой одежды вам не полагается. Я вас сейчас заморожу и сохраню в таком состоянии до прихода девушки, которая вас заказала, нашей первой заказчицы. Откровенно говоря, завидую вам. Хорошая девушка!

– А зачем она меня заказывала?

– Ей нужен жених.

– Значит, я должен быть ее женихом?

– Да, Правда, вышло не совсем так, как было условлено… Ах, черт возьми, ну как вас заморозить при такой высокой темпера-

туре?! Знаете, это помещение просто несчастье… Ни ледника, никаких вообще минимальных удобств для такой сложной работы… Скорей бы уж переехать в новое помещение…

– Скажите, пожалуйста, а можно узнать, каким должен быть жених этой девушки?

– У меня нет под рукой книги заказов – Латун, хозяин Мастерской Человеков, спрятал ее, но я помню: глаза, она говорила, должны быть, как василечки или звездочки. Затем она выражала пожелания, чтобы он был высоким, сильным, чтобы с ним было хорошо, чтобы был благородным, чтобы в нем были поэзия и настроения и чтоб хорошо зарабатывал.

– Что-то слишком много. Дайте мне зеркало. Не хочу вас огорчить, но вы, кажется, сделали не совсем то…

Капелов и сам это чувствовал. Предложить девушке вместо жениха этого заморыша с желтым лицом и ввалившимися щеками значило пойти на явный скандал.

Если б даже она захотела такого жениха – кто их знает, девушек, какие у них вкусы, ведь любят иногда черт знает кого, разве в этом может кто-либо разобраться! Но так или иначе, если б даже она удовлетворилась таким женихом, Латун и Кнупф подняли бы такой шум, что пришлось бы, пожалуй, покинуть Мастерскую. Нет, надо сейчас же скрыть и это злополучное произведение… Ледника нет, замораживать долго. Да это и бесцельно: Латун вернется и увидит его. Опять эти потраченные материалы, да еще какие!.. Что делать?

Капелов смотрел мутным ошалелым взглядом на гомункулуса.

– Послушайте, – взмолился тот, – что бы там ни было – я ведь не просил, чтобы вы меня создавали. Но раз я живу, то дайте же мне минимальные условия, необходимые для существования… Так же нельзя, в конце концов… Держать голого человека на грязном верстаке… Тут кровь, грязь, какие-то кишки… Для чего это? Мне же холодно… Дайте мне, пожалуйста, одежду и… кофе, что ли…

– Что мне делать? – совсем растерялся Капелов. – Вернуть вас опять в первобытное состояние?.. Но куда я вас дену?.. И сколько ушло на вас материалов, к тому же самых дорогих!. Боже мой,

сколько я влил в ваш череп эликсира интеллектуальности!.. Неужели же зарезать вас опять?.. Ведь это же ничего не даст…

– По-моему, не надо, – спокойно и мягко сказал несчастный. – Зачем меня резать? Вы правы: это вам ничего не даст. Потом – трудно убить человека, то есть скрыть его труп. А вы, как я понял, главным образом этим и озабочены. Я хоть и мал и худ, но все-таки вряд ли вам удастся меня скрыть. Ведь это самое трудное во всех убийствах – скрыть труп. Человек – это, как вы знаете, хозяйство, вещь, сложный аппарат, масса материала. Но давайте подумаем. Мне кажется, можно найти другой выход из создавшегося положения.

– Какой?

– Во-первых, познакомьте меня с моей заказчицей, но не официально, то есть пусть она не знает, что я тот, о котором она мечтала, заказывая… Осуществленная мечта – какая бы она ни была, – как известно, всегда разочаровывает. Но, может быть, мы сговоримся как-нибудь так. Это во-первых. А вовторых, разве у вас только один этот заказ? Может быть, я гожусь для других заказчиков? Я не знаю, к сожалению, кого вам заказывали…

– Это идея! Попробуем!

Капелов обрадовался. Может быть, это действительно выход? Он здорово рассуждает, этот заморыш! Вот что значит не пожалеть эликсира интеллектуальности!

Но радость была кратковременна: нет, этот заморыш не подойдет никому. Проповедник? Модный святой?

О нет. Верующий, преданный рабочий для кожевенной мастерской? Чепуха. Приспособленец для богача-путешественника? Ни капельки. Что же делать? Уничтожить живое существо все же было жалко.

Капелов нашел старые брюки Латуна, кое-какое белье, снял со стены чей-то пиджак, по-видимому, Кнупфа, добавил к этому свою шляпу и несколько монет, завалявшихся в жилетном кармане, и отдал все это заморышу.

– Одевайтесь скорее и уходите. Иначе… иначе я за себя не ручаюсь. Я, право, не знаю, что делать… Переживания, от которых можно с ума сойти… Но позвольте, как я вас отпущу? Ведь вы ска-

жете кому-нибудь, что вы наше изделие, и потом будут крупнейшие неприятности?..

– Обещаю вам молчание. Вы можете быть в этом уверены.

Странное впечатление производил этот человек на Капелова. Он был жалок, но одновременно внушал и симпатии какие-то, и доверие вызывал к себе вместе с мягким чувством доброжелательности, и любопытство. По-видимому, эликсир интеллектуальности здорово пропитал его мозговые извилины, произошел неведомый химический процесс, как в наложенных на холст масляных красках, и получилось, по-видимому, что-то путное…

С этим человеком можно хоть поговорить… Капелов был рад этому – ведь у него после трагической гибели семьи не осталось ни одного друга… Латун никак не подходил под это понятие, а о Кнупфе, Ориноко, Камилле и говорить нечего…

– Ну, одевайтесь скорее и уходите, – ласково торопил он свое создание.

Тот наконец оделся. В неважном костюме и шляпе он имел вид интеллигентного проходимца, каких много во всех столицах Европы… Они бродят по кафе, сотрудничают иногда в мелких газетах или театрах, а главное, занимают у кого могут незначительные суммы…

Взглянув с удивлением на Капелова, который его торопил, он сказал:

– Почему вы меня гоните? Возвращение Латуна нисколько не опасно: ведь на мне не написано, что я создан тут, в вашей Мастерской. Приберите верстак и все прочее – я просто сойду за посетителя – мало ли кто мог прийти в такое интересное учреждение!.. Мне хочется поговорить с вами… Ведь я вам обязан жизнью! Это немного, но это… кое-что.

Его речь изобиловала большим количеством резонных интонаций, которые, как известно, убедительнее слов. Капелов смотрел на него с удивлением и некоторым страхом. Он забывал, что сделал его, и смотрел на свое создание, как крестьянин на умного сына-студента.

– Это, пожалуй, верно. Но все же лучше будет, если вы уйдете. Старик может вас узнать по швам на черепе и по его форме. Ведь у нас пока только один шлем для придания формы голове. Толь-

ко один номер. В дальнейшем, конечно, будет несколько номеров для формы головы. Затем, несмотря на свою рассеянность, Латун может узнать на вас свои брюки. Если же придет Кнупф, то от его пристальных глаз не ускользнет ничего. Наведайтесь ко мне через несколько дней, тогда поговорим.

– А что же я буду делать в городе?

– Странный вопрос. Работать! Вам же надо как-нибудь жить, иметь угол и кормиться.

– Да, к сожалению, это так. Но я не хочу работать. Понимаете – не хочу. Работа ничего не дает. Ведь вы знаете, а если не знаете, то пора знать, что успевают те, кто ухитряются не работать. Я же, вступая по вашей милости в жизнь, хочу кое-чего добиться. Да, работа – это для дураков. Работать, в общем, всегда невыгодно. Когда работаешь, то делаешь ошибки, и вообще, даже когда все вокруг работают и культ труда ставится на наибольшую высоту, надо кричать больше всех о работе, о святости труда и так далее, а самому все-таки не работать. Тот, кто работает, меньше всех уважаем. Еще можно простить работу в прошлом. Вот человек, прежде чем выбиться в люди, работал, страдал, был чернорабочим, чем угодно. Если это в прошлом – это еще куда ни шло. Это можно рассказывать гостям, если их при этом хорошо кормить. Но в настоящем он должен не работать, если хочет сделать карьеру. Он должен возглавлять. Он должен приходить, еще лучше – приезжать, уезжать, быть недовольным, скупо отпускать замечания, он должен плохо слышать, плохо видеть, говорить «ближе», «громче», уезжать. Он должен быть окружен тайной. Вполне ясного человека нельзя уважать. В нем должна быть таинственность. Это совершенно обязательно. Он должен знать или делать вид, что знает что-то особенное, чего другие не знают. Без таинственности нет авторитета и, следовательно, уважения или, по крайней мере, страха.

Заморыш сел на табурете около двери и неспешащим своим глуховатым и убедительнейшим голосом, глядя перед собою непомерно углубленными глазами (эликсир интеллектуальности! Сколько его потрачено! Что скажет Латун – Капелов холодел от этой мысли), продолжал:

– Это очень серьезный вопрос. И очень тонкий. Собственно говоря, все это знают, но сами убеждают себя, что это не так. По-

моему, это надо исследовать. Такое учреждение, как Мастерская Человеков, должна была заняться вплотную, а не исполнять заказы на каких-то женихов.

– Совершенно верно. Но вы забываете, что нам нужны деньги. Мы еще пока на нелегальном положении. Надо же с кого-нибудь начинать.

– Так начали бы с каких-нибудь интересных людей. Они же окупятся быстрее. Во всяком случае, у вас есть возможность изучить в человеке то, чего никак не схватишь в жизни. Вы можете человека разобрать не только по косточкам, но и по клеточкам, и разузнать если не все, то многие его свойства. В частности, вот эта проблема авторитетности меня очень интересует. Жаль, что вы меня отправляете. Скажите, пожалуйста, нельзя ли как-нибудь остаться у вас?

Пока говорил гомункулус, Капелов смутно думал, что именно такого человека не хватает Мастерской. Он нисколько в эти мгновения не раскаивался, что переборщил, может быть, с эликсиром интеллектуальности. В самом деле, Латун совершенно не заботился о том, чтобы Мастерская имела мыслящих работников. Сам он неизвестно что собою представлял. Кнупф, Ориноко и Камилл определенно ничего собою не представляли. О себе же Капелов не хотел подумать, чтобы тоже не прийти к малоутешительным выводам. Его раздирали какие-то чувства; сладостные и горькие спазмы часто хватали его за горло и заставляли глаза наполняться слезами; он покрывал бумагу какими-то записями. Но, так или иначе, он всего только недавний служащий чайной фирмы и, в общем, подумать как следует о том, что такое человек, в Мастерской было некому. Латун был прав, когда говорил: «Мы – ремесленники». Действительно, он свое открытие сразу повернул в коммерческую сторону и превратил Мастерскую в лавочку.

Однако что делать с этим заморышем? Оставить его сейчас невозможно. Это во всяком случае. Если Латун узнает о количестве потраченного на него эликсира, он совершит нечто непоправимое.

– Вот что, – сказал Капелов, подойдя к своему созданию и похлопывая его по плечу. – Я, откровенно говоря, рад, что создал вас. Даже горжусь. Правда, я еще не знаю, что вы собою представ-

ляете. Ваши рассуждения пока странноваты. Но не в этом дело. Латун учил меня не считать человека сейчас же после создания законченным. Он должен еще, так сказать, просохнуть, отстояться, тут могут быть еще всякие химические процессы, которые могут произвести существенные изменения, но, во всяком случае, мне кажется, что в вашем лице мне удалось создать нечто такое, что нам пригодится. Если хотите жить – храните тайну, что я вас сделал. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уходите, найдите себе какое-нибудь занятие. Мы на днях переезжаем в новое помещение, принятые заказы выполним, на вырученные деньги приобретем новые материалы, все эти эмульсии и эликсиры, старик перестанет сходить с ума от скупости, и я постараюсь так или иначе свести вас с ним и – если будет возможно – устроить у нас в Мастерской. Хорошо? Откровенно говоря, меня тяготит одиночество, а с вами, мне кажется, и поговорить можно, и кроме того, ведь я вас создал! Вы мой первенец. Это кое к чему обязывает меня, а также, надеюсь, и вас. Не правда ли?

Первенец Капелова кивнул головой и вышел.

– Придумайте себе какое-нибудь имя и фамилию! – крикнул ему вдогонку Капелов.

Глава одиннадцатая

От желания – еще недавно им всецело владевшего – сделать самостоятельно жениха для девушки Капелов отказался. Это было слишком рискованно. Получалось совсем не то, что нужно. Каждая работа оказывалась совершенно неожиданной, нисколько не соответствующей плану. Великое счастье, что он разделался с чудовищем, еще большее счастье, что во втором случае катастрофа не повторилась. Но, так или иначе, заказ не выполнен, а материалов истрачено много. У Капелова не было никакой уверенности, что и в третий раз не получится нечто еще более неожиданное. Материалов было очень мало. Он и так не знал, как покрыть недостачу. Он долил в эликсир еще воды… Что из этого выйдет, он не представлял себе и даже боялся думать…

Наконец он сказал Латуну:

– Господин Латун, я приготовил все материалы. Следовало бы сделать жениха для девушки.

И выражая полную лояльность, соединенную с умеренной инициативой, он добавил:

– Я купил справочник, сборник биографий разных писателей. Мы сможем, если вам будет угодно, воспользоваться некоторыми чертами…

– Ну что там – чертами! – недовольно проворчал Латун. – Писателей мы будем делать в свое время – тогда разберемся в чертах. Подробно и как следует. А теперь сделаем кого-нибудь подешевле – по образцу тех, кого мы наметили на концерте.

Капелов не возражал. Латун был раздражен, завязался бы опять озлобленный спор. Да и не все ли ему равно, в конце концов? Пусть будет кто угодно. Вряд ли девушка будет очень уж разочарована.

– Ну ладно, – как всегда, в последнюю минуту уступил Латун. – Сделаем по второму образцу и впрыснем в него чуть-чуть литературных основ…

– А из чего они составляются?

– Это различно. Весьма различно. Прежде всего, конечно, эликсир интеллектуальности, но его я не дам. Дудки! Обойдемся. Я знаю примеры, что многие достигали славы и хорошо зарабатывали и без этого. Ну, разве одну-две капли, не больше. Затем уксус, соляная кислота, вот эта черная жижа. Я еще сам хорошенько не знаю, из чего она состоит, но она хорошо развивает зависть: зависть маленькому писателю совершенно необходима, ведь он живет ею, питается ею, как хлебом; ну, еще там чего-нибудь…

– А таланта?

– Таланта? Честное слово – лишнее. Ничего это ему не даст. Это обуза. Загрызут. Лучше сделаем ему седалищный позвонок покрепче, а также ноги. Пусть сидит и пишет, ходит по редакциям. Без крепких ног писателю не прокормиться. Вот и все.

– А что он будет писать?

Латун преувеличенно изумился и пожал плечами.

– Вы вечно задаете свои удивительные вопросы! А откуда я могу это знать! Будет что-то писать или не писать – какое мне

дело! Как будто важно, что они там пишут. Если попадет в моду – будут читать, и все будет казаться интересным, а не попадет в моду – все равно не будут читать.

– Господин Латун, вы говорили, что нам нужен человек для составления каталога – этакой широкой галереи типов современности. Может быть, раз мы уже все равно потратим материалы, не используем ли для этой цели этого писателя? Мы и деньги за него получим от заказчицы, а потом используем…

– О нет! Для этого нужен настоящий глаз, опыт, ум, совсем другой материал! С какой стати мы будем тратиться неизвестно на что! Нет! Такого мы найдем, а этого давайте сделаем поскорее и избавимся.

Они принялись за работу.

Работа была несложная. Не зная того, что Капелов уже создал двух людей и у него был опыт, Латун похвалил его за понимание дела и несомненные способности.

Ободренный похвалами, он работал еще ловчее и точнее, но когда дошло до смачивания мозга эликсиром интеллектуальности, когда Капелов увидел этот большой красивый мозг, который должен был ороситься всего только одной-двумя каплями к тому же не полноценного эликсира, а дважды разбавленного в свое время водой, он не выдержал…

И природная добросовестность, и доброжелательность, и простое опасение, что они создадут идиота, заставили его решиться на обман.

Когда Латун отвернулся, он собрался влить побольше капель чудесного эликсира, но это ему не удалось. Латун не вовремя оглянулся, бросил укреплять сухожилия на ногах, сказав: «Хватит, для кабаков и редакций достаточно», – и, приблизившись к Капелову, четко отсчитал:

– Ну, лейте: одна капля, две и – стоп! Теперь осторожно поставьте на место эликсир и давайте череп.

Капелов, растерянный и удрученный, повиновался.

Латун быстро составил кости, подпилил слегка лобную, сказав: «Пусть будет побольше, для вида, – все-таки писатель», – и приказал:

– Скорее шлем. Надо кончать.

Капелов принес все тот же шлем – другого не было, – и Латун ловко натянул его на еще мягкие от долгого кипячения в особом составе кости.

Удрученное состояние Капелова усилилось. Он чувствовал себя как человек, опоздавший на похороны друга. Нужно сказать прочувственную речь, все, все высказать о друге над свежей могилой, но все разошлись, никого у могилы нет. Кладбище пусто, темнеет и идет дождь.

Он посмотрел на Латуна, как лунатик, посторонним взглядом, и Латун спросил:

– В чем дело? Что это вы? Болит что-нибудь?

Капелов махнул рукой.

– Нет. Ничего не болит.

– Когда придет девушка?

– Завтра.

– Ну, ладно. Завтра и оживим его. Как вы думаете, не протухнет?

– Пожалуй, может случиться. В комнате тепло, заморозить не удастся. Эх, ледник бы…

– В новом помещении будет большой ледник. Прямо огромный. Нам не нужно будет каждый заказишко выполнять отдельно. Оптом будем работать, если будут заказывать чепуху. Если посложнее кого-нибудь – тогда другое дело. Но если так, обычное, – будем делать сразу нескольких. И дешевле будет. Массовое исполнение всегда дешевле.

– Ну, а пока? Что мы сделаем с этим? Он, пожалуй, до завтра протухнет.

– Что ж, оживим. Пусть посидит тут, за ширмой.

– А он не уйдет? – спросил Капелов исключительно для того, чтобы понравиться Латуну своей заботливостью, предусмотрительностью и преданностью интересам Мастерской.

– Конечно, может уйти. Но ведь он будет голый.

– Неудобно… Он подымет шум, скандал… Притом голым его нельзя держать… Все-таки холодно… Он, вероятно, потребует одежду и кофе, что ли… Им всем холодно, им хочется согреться…

– А откуда вы все это знаете? – внимательно взглянул на него Латун.

– Мне так кажется… вообще… Да это же понятно… Дайте мне, пожалуйста, деньги, я сбегаю куплю ему одежду, костюм какой-нибудь… Не можем же мы, помимо всего прочего, отдать его заказчице голым…

– Костюм? Еще на костюм тратиться! Ну, купите ему там чего-нибудь подешевле… Блузу какую-нибудь, рубашку с пояском…

– Это уже не модно… Писатели уже не носят рубашек с поясками… Они одеваются по-европейски, не носят длинных волос…

Латун вспылил:

– Еще по моде его одевать! Да ну его к черту! Я сказал – купите подешевле что-либо, – и все! «Не модно»! «Не модно»! Еще тратиться на него зря! «Не модно»!

Когда жениха оживили и он действительно, поеживаясь от холода, как и тот заморыш, быстро оделся в купленное Капеловым белье, костюм и обувь, Латун с прозаически озабоченным лицом поставил за ширмой на маленький столик чернильницу, перо, положил несколько листов бумаги и сказал:

– Ну, садитесь писать.

Вновь сделанный человек покорно сел и застрочил что-то с удивительной скоростью.

Латун посмотрел в щелочку и сказал шепотом Капелову:

– Все в порядке. Глаза, положим, не как василечки и не как звездочки, но зарабатывать будет.

Глава двенадцатая

Девушка пришла, забрала своего жениха, и ничего особенного при этом не случилось. Когда людям надо сойтись, все происходит чрезвычайно просто.

Они познакомились. Он откашлялся, оживился и заговорил с ней, как обыкновенно молодой человек заговаривает с девушкой. Конечно, он ей сказал несколько приятных вещей. Она искоса несколько раз взглянула на него. Потом и прямо несколько раз.

Он был не таким, как ей хотелось. Но, в общем, он ей понравился. Что же делать! Идеал одно, жизнь другое. Он был, в общем,

очень мил. Конечно, он сказал ей, что у нее фотогеничное лицо, что у нее несомненные данные для киноактрисы… Какую женщину это не взмывает?

Она расцвела от этого комплимента. Затем он ей, конечно, обещал разгадать ее характер по линиям на ладони. В промежутках они поговорили о погоде, о театре. Она с великим женским простодушием оповещала его о своих вкусах.

Так, беседуя, они ушли.

Капелов смотрел на них и слушал, как они говорили, с открытым ртом. Ему нравилось это. В том, как они беседовали, была какая-то поэзия. Что-то его трогало. Горло еще не сжимали спазмы, но могли сжать. Он хотел чем-то помочь девушке. Он чувствовал в этом потребность. Но не знал, что ей сказать. Он вышел в коридор за Латуном и спросил его:

– Господин Латун! Господин Латун! Она спрашивает, как ей держаться?

Она не спрашивала, но нужно было соврать – иначе старик не ответил бы.

– Что такое? – послышался голос. – И тут не дают покоя!

– Она спрашивает, как ей держаться с ним? – повторил Капелов.

– Пусть будет нездешняя, – сказал Латун. – Пусть он говорит ей что угодно и делает с ней что хочет, а она пускай как бы отсутствует, как будто это ее не касается, пусть она будет нездешняя… Пусть она не выражает страсти, пусть как бы отсутствует. Это красит женщину и привлекает мужчин.

Капелов подошел к девушке, отозвал ее в угол и таинственно объяснил ей это. Она кивнула головой и поблагодарила.

– Почин сделан, – сказал Латун. – Теперь надо приняться за другие заказы. Но вот беда: патента нет. Каждую минуту можно ожидать, что к нам ввалится полиция. Увидит верстак, куски мяса, ведро крови и все остальное – боже мой, что будет! Из нас сделают дешевейшую сенсацию! Идиоты будут полгода кричать о раскрытии шайки утонченных убийц – черт знает какая чепуха поднимется! Нас законопатят в тюрьму и сделают героями сенсационного процесса, а потом публично зарежут, как баранов!..

Капелов, который не был любителем скандалов и шумихи, сказал, предупредив, что это не предложение, а он только думает вслух:

– Может быть, это будет не так плохо. На суде мы докажем, что мы не убийцы, а наоборот, создатели людей. Что мы открываем новую эру в истории человечества. Скажем, что мы обращались в комитет по делам открытий и изобретений, но эти тупицы ничего не понимают, устраивают бессмысленную, но типичную для всех таких комитетов во всем мире волокиту, и поэтому мы приступили к работе нелегально. Реклама будет мировая. Никакими деньгами и никакими публикациями мы не достигнем такой известности. И когда нас признают, мы будем окружены таким почетом и поставлены в такие прекрасные условия, что…

Латун внимательно слушал, но вдруг, как всегда, вспылил:

– Чепуха! Полнейшая чепуха. В этой невежественнейшей стране, где еще происходят погромы и всякая мерзость, вы надеетесь на справедливость и вдумчивое отношение?! Нас уничтожат, как колдунов в Средние века. Что вы, в самом деле! Еще сравнительно совсем недавно в России устроили мировой процесс, основанный на идиотском обвинении какого-то несчастного еврея, что он пил христианскую кровь… Подумайте, какая чепуха! Но на основании этого увеличивали число телеграфных кабелей, так как имевшихся было недостаточно, – так много было телеграмм! Что вы, не знаете еще, как люди глупы и подлы? Нас так обвинят и так запутают, что уже ничто не сможет спасти! Пожалуйста! Дураков нет! Не хочу никаких фокусов! Я сегодня же опять пойду в комитет по делам открытий и изобретений и поговорю с самим председателем.

И Латун отправился опять в комитет.

Он намеренно не позвал с собой никого из тройки – ни Кнупфа, ни Камилла, ни Ориноко. Ориноко был обижен и не показывался, а Кнупф и Камилл энергично подготовляли переезд в новое помещение. Камилл особенно увлекся этим делом.

Латун был рад, что они заняты. Они с первой минуты враждебно настроились к этому комитету и мешали ему правильно вести переговоры. Он именно и решил воспользоваться их отсутствием, чтобы пойти самому, но так как он сам не любил ходить

и привык во всем, даже в мелочах, советоваться с кем-нибудь, он взял с собою Капелова.

Они пришли в комитет по делам открытий и изобретений рано, задолго до начала официального приема. Но посетителей уже было много. Они сидели на тех же длинных скамьях, на каких Латун их видел в первый раз, и точно так же держали на коленях проекты, макеты и всевозможные материалы, демонстрирующие их изобретения. По количеству их было больше, чем в прошлый раз, но характер проволочных и иных конструкций, которые они держали на коленях, был примерно тот же. Впрочем, один держал на плече длиннейшую трубу, которая не могла находиться в вертикальном положении – мешал потолок, – и, подпираемая плечом изобретателя, она занимала всю приемную по диагонали. От нечего делать Латун и Капелов спросили нескольких изобретателей об их изобретениях. Двое отказались отвечать, а один даже в грубой форме.

– Что за вопросы! – пожал он плечами. – Кто сообщает деловые тайны?!

Но это не было тайной. Другие изобретатели исподтишка сообщили Латуну, что изобретение его обещает быть весьма рентабельным, и он боится конкуренции.

– Но, – добавили они, – он не знает, что тут же сидят пять конкурентов с такими же изобретениями.

Изобретение заключалось в подвязках, к которым прикреплены крохотные электрические лампочки и батарейки.

– Это, – объяснил он, – приятная принадлежность для изысканных любовниц, которые в темной комнате смогут создавать для лиц, любящих свет, подходящие световые эффекты.

Подвязка, состоящая из разноцветных кусочков целлулоида, могла механически передвигаться, и свет от фонарика был, таким образом, многоцветный…

Один из конкурентов, который сидел тут же с нестерпимо самодовольным выражением лица, намеревался перещеголять всех тем, что у него подвязки могли еще звонить, выпускать небольшой каскад искр – нечто вроде маленького фейерверка, что обещало быть особенно красивым в темной комнате и напоминать милое детство с елкой в родительской обстановке…

Кроме того, подвязки могли выбрасывать из особого отделения маленький клочок бумаги, представляющий собою точный и проверенный счет за все доставленные удовольствия...

По коридору расхаживал в чрезвычайно грустном настроении высокий желчный изобретатель и с черной скукой и неприкрытой мукой зависти оглядывал автора замечательных подвязок. Его изобретение было значительно скромнее; он придумал ремешок с тихим мелодичным звоночком, который девушки в танцульках прикрепляли к щиколотке во время танцев и общественных увеселений. В Берлине уже на многих балах практиковалось это, между тем патент ему еще не был выдан. Кроме того, это изобретение так несложно, что преследование за подделки будет совершенно безрезультатно. Оно ни к чему не приведет. Это его чрезвычайно огорчало.

Выражение лиц у большинства изобретателей было отчаявшееся и алчное, как у золотоискателей. Кроме того, они были еще искажены, так сказать, местным озлоблением: их мытарили, как вообще повсюду мытарят изобретателей.

Некоторые громко протестовали, а седенький ласковый старичок, стоявший с небольшим чемоданчиком в руках у входа, мягким голосом произносил такие гнусные и неприличные ругательства, что многим становилось неловко. Было действительно немного жутко слушать, как из такого маленького ротика, окаймленного совершенно седой бородой и белыми старческими усами, выходило столько извращенных названий, которые должны были участвовать в разрешении вопроса о наказуемости администрации за бюрократизм.

– Как вам не стыдно, – упрекнул его Капелов. – У вас внуки, могли бы уже не думать о таких глупостях, а заниматься вместо этого более серьезным делом. Между тем вы произносите такие слова, точно у вас не белая борода, а вата. Будьте добры прекратить безобразие!

Старичок, нисколько не смутившись, стал называть другие органы и части тела, тоже связанные с нижней его половиной, а Капелову мирным тоном объяснил, что он плюет на его замечания, и добавил, подняв указательный палец, что просит его запомнить это.

Латун, возмущенный, хотел было вступиться за Капелова, но тут открылась дверь, вышел сам председатель комитета и почтительно пригласил именно этого старичка.

Изобретатели завистливо и сумрачно смотрели на эту сценку, но никто не удивился ей.

– Он далеко пойдет, – вздохнул один. – Если его машинка пройдет – он будет обеспечен как следует. Это верное дело!

Латун и Капелов, естественно, поинтересовались, какую же машинку изобрел этот столь почтенный на вид и так виртуозно ругающийся старец. Осведомленные изобретатели – тут уже были завсегдатаи, знающие все и вся, – собирались любезно рассказать, что они знали: машинка была совсем не сложная, – но дверь опять отворилась, выскочил один из главных секретарей комитета и довольно запальчиво стал кричать на служителя:

– Где же безработные?! Ведь вам же было сказано еще вчера, чтобы были приглашены двое безработных!

Служитель сказал:

– Они здесь. Давно ждут!

– Где?

– Да вот. Эти двое.

Действительно, на скамье дремали двое безработных.

От крика они проснулись и, поправляя на ходу один мятый бедный пиджачок, а другой – что-то, бывшее когда-то галстуком, пошли куда нужно было.

В пролет открытой двери был виден прекрасно сервированный стол. Это, конечно, удивило и Латуна, и Капелова. Они еще раньше заметили, что в кабинет председателя лакеи проносили разные блюда и предметы сервировки.

Дверь за безработными закрылась, и осведомленный посетитель сказал:

– Это, видите ли, простая вещь. Это машинка для переваривания пищи. Вы, конечно, знаете, что только от примерно пяти вещей не могут освободиться богатые люди и передать их менее обеспеченным элементам: переваривать пищу за них, рожать детей за них, болеть за них, думать за них, когда есть неприятности, и, наконец, умирать за них… Об этом еще писал в свое время Лафарг, если не ошибаюсь.

Это был молодой, но уже достаточно потертый беспрерывной нуждой человек. Что-то жалкое было в его глазах и во всем облике, но все же он говорил о богатых уважительно, со строгим выражением губ, сдвинув брови, и, говоря, был озабочен – как в самом деле сделать так, чтобы избавить имущих от этих неприятных процессов…

– Впрочем… – спохватился он, – нет, нет, думать можно поручить другим – думать могут бедные, среди которых есть и образованные, и ученые, и так далее. Это стоит совсем недорого, сущие гроши. Умирать – тоже плевое дело: люди нанимаются, чтобы идти, например, на войну или на другие опасные для жизни предприятия, совсем задешево. Это тоже стоит гроши. Но вот первые три процесса… Это сложнее. Богачи едят такие прекрасные блюда, такие тонкие…

Бедняга облизнулся, как ребенок. Латуну и Капелову жалко стало несчастного – у него даже глаза засветились по-детски.

Он продолжал:

– Богачи едят деликатесы, нежнейшие сорта мяса, фруктов, рыб, овощей. Для них приготовляется нежнейшее, благоуханнейшее печение… Химики-повара, художники своего дела, приготовляют изысканные соусы, которые непередаваемы по вкусу… Все это запивается тончайшими винами… Ведь это же удовольствие, да? Удовольствие? Наслаждение?

– Удовольствие, – ответил мрачный человек со сложной картонной конструкцией на руках, неподвижно сидевший у стены.

– И – представьте себе! – они ограничены даже в этом! Подумайте, они достигли богатства, у них могут быть миллионы, но даже и миллионы не могут дать им возможность продлить удовольствие, и кроме того, они должны переваривать все съеденное – точно так же, как это делают все! Поразительно! Они должны освобождаться от этого тоже, как все, и еще вдобавок жиреть, портить себе фигуру, внешность, превращаться в конце концов в объект для насмешек… Что же это такое? Получается, что богатство не дает возможности даже покушать как следует?! Затем, второе, – роды… То же самое… Что приходится перенести бедной женщине! И кроме того, это тоже портит фигуру! Подумайте только! И когда, опять-таки, у нее миллионы долларов… Миллионы долларов!

Он закрыл глаза и повторил с пафосом, продолжая:

– Миллионы долларов!.. И – ничего! Нельзя никому поручить эту черную, грязную и опасную работу… Никому! Ни за какие деньги! Кормить, как известно, может другая, это чепуха, молоко человеческое стоит гроши, нанять кормилицу пустое дело, но нанять роженицу, которая бы вместо вас родила…

Он опять закрыл глаза, подумал с минуту, возвышенно переживая трагизм ограниченности любого богатства, и перешел к будням:

– Так вот, этот старичок изобрел машинку для переваривания пищи… В самом деле, на кой черт нужны изобретатели, если они ничего не могут придумать для того, чтобы человек, имея деньги, имел возможность хотя бы покушать… Деньги! Деньги! Весь мир работает, все стремятся к богатству, лучшие годы и силы, и способности тратятся в борьбе за благосостояние, за обеспечение, за капитал! Большинство гибнет в этой борьбе. Те же счастливцы, которым удается дорваться до него, – подумайте только! – не могут даже поесть в свое удовольствие…

– Ну, так в чем же состоит изобретение старичка?

– Он изобрел, как я вам уже сказал, машинку для переваривания пищи. Она состоит из нежного слизистого мешочка с двойным дном, снабженным особой губчатой тканью, способной производить механический эндевмосс, то есть она, эта ткань, высасывает из массы переваренной пищи нужные человеку полезные соки, идущие непосредственно в кровь. Эти соки хранятся в двойном дне мешка. Использованная же масса пищи остается в главном мешке, который вместе с ним выбрасывается. Весь прибор легко вставляется в любой пищевод. Благодаря эластичнейшему составу своих стенок, хорошо пропитанных слизью, он легко вставляется в пищевод едящего. Когда он наполняется пищей, он так же легко вынимается и вставляется в пищевод того, кто будет переваривать пищу… К сожалению, тут нужен живой человек. Делались опыты с инкубаторами, но из этого ничего не вышло. Второй, нижний мешочек, составляющий двойное дно первого, высасывая с верхнего лучшие соки, нижней своей частью, тоже состоящей из особой ткани, составляющей секрет изобретателя, одновременно черпает из желудка необходимый для переваривания желу-

дочный сок, пользуется до некоторой степени сокращениями желудочных мышц. Кроме того, он пользуется температурой тела, лучше всего способствующей всем необходимым процессам по перевариванию пищи… Вот, в грубых чертах, к чему сводятся функции этого замечательного изобретения. Мешочек наполняется, – если его обладатель ест и пьет со средней быстротой, разнообразя трапезу интересной беседой, – примерно в час и вмещает в себя немногим больше кило… К этому времени мешочек без всякого труда и без неприятных ощущений извлекается из пищевода, и лакей передает его переваривателям, сидящим в специальной комнате. При помощи обыкновенного глотательного движения мешок проходит в пищевод – конечно, с некоторыми трудностями, потому что он наполнен пищей, но ненамного труднее зонда, который опускают больным в желудок, когда нужно исследовать желудочный сок. Конечно, для того чтобы не были слышны возможные при этой процедуре неприятные звуки, комната переваривателей должна находиться подальше от столовой, в которой трапеза продолжается. Мешочки эти стоят гроши. Едящие и пьющие запасаются, разумеется, новыми. Через час они опять передаются переваривателям. И кто знает, как приятен процесс принятия, раскусывания, разжевывания и проглатывания вкусной и изысканной пищи, тот, конечно, понимает, что каждый участник обеда или ужина должен иметь несколько переваривателей. Впрочем, не больше четырех или пяти, так как все-таки зубы и челюсти обедающего утомляются, ну и, кроме того, не следует злоупотреблять вкусовыми наслаждениями… Перевариватели работают несколько часов. Затем мешки извлекаются из их пищеводов, верхняя часть как содержащая ненужное выбрасывается, а нижняя, заполненная нежнейшим, похожим на изумительное молоко соком, передается владельцу, который его с удовольствием выпивает уже для прямого следования в кровь…

– Ловко, – сказал Капелов, с интересом выслушавший объяснения любезного посетителя.

Латун тоже мотнул головой и сказал Капелову:

– Надо будет заняться нам приготовлением переваривателей, то есть лиц с расширенным пищеводом. Вряд ли приятно проглатывать тугой мешок, хоть и эластичный, но все-таки в кило весом…

И заразившись торговым, конкурентским, ажиотажным и стяжательским духом, царившим здесь, Латун добавил:

– Посмотрим, как он обойдется без меня! Для того чтобы его изобретение имело применение, надо расширить пищевод у переваривателей. Иначе ничего не выйдет! Кто пойдет на такие муки!

Один из голодных изобретателей, стоявший неподалеку, слышавший рассказ об изобретении старика и слышавший конец реплики Латуна, убежденно возразил:

– Кто пойдет на такие муки?! А кто идет на другие, еще большие муки? Тот, кто хочет иметь кусок хлеба!

– Да, но как расширять отверстие пищевода… – сказал Капелов.

Тот запальчиво продолжал:

– Отверстие?! Мало ли какие отверстия люди не расширяют в себе, когда нет другого выхода! Глупости! Ведь кровь продают! Кровь! Это посерьезнее расширения отверстий. Теперь лечат переливанием крови от здорового человека больному. Знаете, вероятно, что есть четыре категории человеческой крови. И вот, когда нужна свежая кровь…

Латун переглянулся с Капеловым. В первый раз Капелов заметил в его глазах нечто отдаленно напоминающее улыбку.

– Так вот, стакан крови безработного стоит всего-навсего 60-70 марок, 300-350 франков…

Из кабинета председателя комитета по делам открытий и изобретений вдруг послышались рыгающие ужасные звуки, явственно похожие на те, которые издает человек, когда ему суют в горло посторонний предмет.

– Это делают опыт… – сказал тот, кто был осведомлен о замечательном изобретении.

– Однако примут ли нас сегодня? – вздохнул Латун.

Изобретатели стали постепенно расходиться, осторожно унося свои конструкции. Из кабинета продолжали доноситься ужасные звуки – уже издаваемые не вошедшими безработными, а другими, тоже нанятыми для переваривания чужой пищи. Им вставляли мешки, заполненные председателем комитета, изобретателем и несколькими экспертами.

Слышался веселый смех, пьяные возгласы – опыт протекал с большим оживлением. Лакеи приносили все новые блюда и вина.

Наконец совершенно пьяный секретарь комитета вышел и заплетающимся языком объявил, что приема сегодня не будет.

– Будьте прокляты, – сказал Латун на улице. – Скоты! Придем сюда завтра. Такой чепухой они занимаются, а мое величайшее открытие – подумайте только: делание человека – это их не интересует… И я должен зависеть от таких свиней, от таких мелких крохоборов, обжор, ничтожеств!.. Нет справедливости на земле!

Глава тринадцатая

Энергия – великая штука. Люди даже не понимают, как она движет ими, как заставляет проделывать сложнейшие вещи, которым они сами потом удивляются. Кнупф не привык заниматься самоанализом. Но даже и он с чувством удивления поглядывал на дом, довольно большой дом, в котором расположилась, образовав много отделов, Мастерская Человеков. В распределении отделов – удивительно! – большое участие принял Ориноко. Он не особенно обиделся на Латуна за историю с брызгуном и норвежской марулькой. Чего там обижаться! Он давно тайно считал Латуна чем-то ненастоящим, что нужно использовать и выкинуть. Он с трудом выслушивал речи Латуна, его замечания, его опасения, его однообразные заботы об экономии эликсиров и других дорогостоящих материалов. Когда на лице Латуна появлялся ужас по поводу истраченных лишних капель какого-нибудь эликсира, Ориноко отворачивался. Действительно, Латун был некрасив и будничен. На портретах, которые будет знать весь мир, он, конечно, будет выглядеть иным. Его высокий лоб, внимательные глаза и напряженно горькая складка у губ будут иметь совсем другой вид, когда под ними будет подпись «Профессор Латун, открывший способ человекоделания». Но Ориноко видел его в буднях, и не на портретах, а в жизни, и поэтому тайно не уважал его, как обыкновенно не уважают заурядные окружающие выдающегося человека.

Ориноко даже не считался с ним. Он предложил Кнупфу ряд отделов, которые придумал самостоятельно. Кнупф, очень заботив-

шийся о материальной базе предприятия, дополнил список отделов несколькими наиболее утилитарными, и Латун выслушал его, как и многие другие проекты своих молодых помощников, с удивлением, легкой растерянностью и нетвердой надеждой.

Так в Мастерской Человеков был заведен отдел изготовления гениев и феноменов. Кнупф не сомневался в том, что за них будут платить дороже. «Какой смысл, говорил он, – делать мелюзгу, когда за одного гения можно получить больше, чем за десятки обыкновенных людишек». Особенно он мечтал выпустить нескольких гениальных певцов и даже подумывал об организации при Мастерской Человеков небольшого концертного бюро. «Певцы здорово зарабатывают», – говорил он.

Точно так же подумывал он о создании других лиц, способных собрать большие куши: каких-нибудь исключительных фокусников, акробатов или иных знаменитостей. Ведь Латуну ничего не стоит наделить человека какими угодно способностями. Наконец, можно будет пригласить в Мастерскую и специалистов. Такие изделия будут безусловно выгодны. Человека, который умеет поставить пятки на свою собственную голову, возят по циркам всех европейских столиц, а Мастерская Человеков сможет сделать нечто еще более поразительное. Из нее выйдут такие акробаты и такие феномены, что успех будет небывалый. Вообще, чем необыкновеннее будут изделия Мастерской, тем это дело, естественно, будет прибыльнее. Кнупфу уже было мало мысли о концертном бюро. Он совершенно резонно предчувствовал, что вопрос о выгодном сбыте продукции Мастерской займет первостепенное место, и потребуется большой отдел экспедиции и приема заказов.

Ориноко тоже настаивал на образовании ряда отделов, в которых должны были изготовляться люди не только по специальным заказам, а еще такие, на которых существует постоянный хороший спрос – например, хорошие организаторы, обладатели большой воли, приятные люди, умеющие развлекать общество, обладающие всякими иными качествами, красивые женщины и так далее.

– Если мы будем делать тех, кого и так достаточно, кому же мы нужны будем? Ведь ясно, что заказы будут обильны тогда, ког-

да мы сможем правильно удовлетворять существующий спрос. А спрос будет разнообразный и, конечно, на высокое качество. Ведь ясно, что человеческое барахло никому не нужно, его достаточно и так в любой квартире.

Когда все соображения Кнупфа и Ориноко были изложены Латуну, он хмуро и внимательно выслушал и сказал:

– Да, это все так, но трудно еще сказать, как все это будет… Женщин, пожалуй, можно делать не по специальным заказам. На них материала уйдет меньше, ведь у них руки и ноги должны быть небольшие, и вообще, женщина должна быть маленькой, иначе она не будет изящной… Не так ли? Да, женщин можно делать и не по специальным заказам. Приятных людей тоже. Конечно, на них спрос всегда есть. Но мы об этом еще поговорим.

И, как это всегда бывает почти во всех крупных предприятиях, по основным вопросам, касающимся непосредственной деятельности, говорили мало, а главная энергия уходила на переживания неприятностей и посильные попытки их уладить.

Неприятности же начались с первых дней работы Мастерской Человеков в новом помещении.

Как только Капелов перенес верстак и все препараты, Латун приступил к выполнению заказов. Первым был сделан святой проповедник с шелковистой бородой. Из-за новой ли обстановки или заразившись от Кнупфа и Ориноко надеждами на будущее, но, так или иначе, святой мог испытать на себе блага непонятной внезапной щедрости Латуна. Шелковистую бороду он приделал сам и сам купил ее у парикмахера! И как увлекся старик этим делом! Два раза он бегал к лучшим парикмахерам города, чтобы ознакомиться с новейшими фасонами бород и чтобы совместить самый модный фасон с благопристойным видом духовного лица.

Действительно, борода получилась исключительная.

Она была и шелковистая, и волнистая, и красивая, это была именно такая борода, которая должна была сводить с ума женщин, и в то же время обладавшая той Романтической Небрежностью, которая должна напоминать о страданиях святых отцов. Секретарь общины успел объяснить Латуну, когда речь шла о подробностях заказа, что без изящных напоминаний о страданиях религиозных основоположников проповедники никак не нрави-

лись дамам. О требованиях заказчика Латун также хорошо помнил, когда создавал все остальные части проповедника. Он был сделан доброкачественно и во многих отношениях даже слишком щедро. Капелов даже хотел было остановить пыл Латуна, но у него не хватило решимости это сделать, а потом уж было поздно: святой чувствовал себя слишком хорошо, чтобы оставаться в Мастерской… Этого можно было ожидать: как только он был закончен, его и след простыл…

Латун огорчился не на шутку. Его первая щедрость была жестоко наказана. Чего только он не пожалел для этого мерзавца! Какими только качествами он не наделил этого альфонса и сутенера! Для чего же он так старался? И не то было жалко, что зря пропало столько материалов, столько доброкачественнейшего мяса, костей, мышц и прочего, а пугало опасение, что негодяй натворит невероятных бед. Ведь он так красив, мерзавец! Скольких женщин он сделает несчастными!.. Он, несомненно, проберется в высшее общество. Сколько будет скандалов! Ведь черт знает что он может натворить… Латун думал его проверить, прокорректировать, умерить его до нормальных пределов, но, очевидно, именно это и заставило бежать прощелыгу.

Латун был, что называется, вне себя. Но долго огорчаться было некогда. Неугомонный Кнупф морщился, выслушивая причитания и раздраженные речи Латуна по поводу сбежавшего святого.

Дня через два Кнупф пригласил Латуна в нижний этаж, где ждал человек, понимавший толк в гениях, в частности – в гениальных певцах. Жизнь не ждала. Новые обстоятельства приходили на смену существующим.

– Что такое? – спросил Латун, не умея отвлечься от горестных переживаний по поводу побега святого. – Что такое? Какой человек? Где вы его нашли?

Решительность Кнупфа в подборе людей была исключительна. Он по вечерам, а часто и после обеда бывал во всевозможных кабаках и в одном из них наткнулся на специалиста по постановке великих басов, теноров и сопрано.

Кнупфа заинтересовала речь этого человека, утверждавшего, что без него не одному великому певцу пришлось бы расстать-

ся со своими успехами. Его профессия заключалась в том, что он разъезжал по Европе и не только ставил голоса у начинающих певцов, но одному ему ведомым способом исправлял голоса и у знаменитостей. Он утверждал, что учил говорить двух артистов императорского театра, которые совершенно разучились пользоваться этим свойством человеческой породы. Они могли говорить только фразами из своих ролей и вынуждены были влачить жалкое существование, так как люди не понимали, чего они хотят, выслушивая не к месту произносимые реплики и монологи. Несчастные изо дня в день играли в пьесах, имевших многолетний успех.

– Что касается гениальных певцов, – хвастливо говорил он в кабачке случайным слушателям, – то одного я учу петь каждое утро, и когда я не проделываю с ним, что нужно проделывать, он просто блеет, как баран. Стоит мне только не прийти к нему, как он не выступает на концерте.

Кнупфа заинтересовал необыкновенный специалист, и он со свойственной ему решительностью пригласил его работать в Мастерскую Человеков.

– Все, что вам нужно, вы будете иметь, – сказал Кнупф. – Наша Мастерская прекрасно оборудована. Во-первых, вы сами нуждаетесь в основательном ремонте. Гусиная кожа, которая обтягивает ваши челюсти, вряд ли вам придает много уверенности в жизни. Думаю, что количество девушек, способных заинтересоваться вами, чрезвычайно невелико. Или вы намерены отрицать это? Затем мешки под глазами говорят о том, что у вас неладно с почками. И вообще, многих певцов вам надо научить петь и многих актеров говорить по-человечески, чтобы заработать деньги, необходимые для вашего оздоровления и обновления. Мы же вас подновим бесплатно. Во-вторых, вы будете получать солидный процент с каждого сделанного певца. Это, несомненно, во много раз превысит все ваши гонорары, которые вы получали от этих ваших блеющих певцов и разучившихся говорить старых попугаев. В-третьих, работа вам будет предоставлена только чистая. Вашим делом будет только установление голосовых связок и нужная их натяжка. Черная работа, то есть приготовление всего человека, будет проделана другими. Вы этого не умеете, и вооб-

ще, в моей Мастерской существует разделение труда… Со временем я думаю ввести конвейерную систему.

Кнупф сделал ошибку, называя Мастерскую Человеков своею. Это было опасно, прежде всего, потому, что его молодой возраст и облик мало соответствовали руководящей роли в таком сложном и серьезном предприятии. Впрочем, тон Кнупфа, его хмурая уверенность, насупленные брови и твердый голос заставили верить ему.

Исправитель певцов беседовал с ним около часа, встретился с ним и на другой день, и в конце концов, Кнупф привел его в Мастерскую.

Теперь он торопил Латуна:

– Да идите же, поговорите с ним.

Он выражал явное и немного непочтительное нетерпение. В самом деле, так нельзя. Арендован дом, штат растет, расходы огромны, а заказов нет! Старик же возится с какой-то чепухой. Беспомощность и канитель! Святой сбежал, с девушки за жениха взяли по знакомству мало, преданный рабочий еще не сделан, да и трудно сказать, что из этого выйдет, – кто знает, как делается преданный хозяину рабочий? Существуют ли вообще преданные хозяевам рабочие? Благоразумный предприниматель условился заплатить только после того, как он убедится, что заказанный рабочий действительно предан. Вообще, забот много, а денег не видно.

Латун, еще немного повздыхав по поводу сбежавшего святого, пошел вниз нанимать делателя певцов.

– Какая сволочь! – не мог он успокоиться, спускаясь по лестнице и вспоминая святого. – Я еще сам ходил покупать для него шелковистую бороду…

Внизу ждал человек, приведенный Кнупфом.

– Познакомьтесь, – сказал Кнупф. – Это мосье Батайль.

– Очень приятно, – сказал Латун, со скукой разглядывая невзрачную фигуру с большой головой и морщинистой кожей на лице. – Так вы желаете у нас работать?

– Что ж, можно попробовать. Мосье Кнупф нарисовал такие перспективы, что если они сбудутся только наполовину, наше предприятие можно будет считать блестящим. Не правда ли?

Латун довольно грубо перевел разговор на деловые рельсы:

– Что вам для этого нужно? Что вам вообще нужно для работы?

Батайль нагло повел плечом и выставил ногу.

– Видите ли, мы условились, что вы будете давать мне готовых людей. Я людей делать не буду. Я этого не умею. И, признаться, не хочу делать. Я людей, вообще говоря, не люблю. Вы давайте мне готовых, а я в них буду вставлять голоса. Вот и все. Но имейте в виду, что в какую-нибудь мразь я голоса не вставлю. С голосовыми связками и барабанными перепонками всякой шпаны я возиться не стану. Я слишком уважаю для этого свое ремесло. Если вы не умеете делать красивых, рослых, импозантных и интересных людей, так лучше меня не приглашайте. Выпускать на сцену карликов и разных шутов гороховых не стану. Какой это будет иметь вид? Вот недавно выпустили какого-то урода. Ноты закрывали почти целиком его ноги. А когда он повернулся, чтобы уйти, публика ясно увидела, что его голову от задницы разделяет совсем коротенькое расстояние! Безобразие какое! Нет, певец должен быть высок и красив. Недавно вот еще выпустили одного идиота, так тот…

Кнупфа и Латуна одинаково раздражала неуместная болтовня этого типа. В ней было что-то нестерпимо нахальное. Разве так начинают деловой разговор? Кто ему предлагал уродов? Для чего это забегание вперед? Для чего этот задиристый тон?

Они переглянулись, и Кнупф дал понять Латуну, что это все же полезный человек и надо отнестись к нему терпеливо.

– Хорошо, – сказал Латун. – Вы нам напишите или скажите, какие вам нужны люди для того, чтобы вставлять в них голоса, и мы постараемся удовлетворить ваши требования.

Батайль от этого скромного ответа пришел в еще большее возбуждение:

– Да-да, вы должны будете выполнить мои требования в точности. Не думайте, что я буду наделять голосами каких-нибудь дураков или дур. Выходит какая-нибудь толстоногая обвисшая дама и начинает петь тонким голоском о подснежниках или о фиалках. «Фиалки, фиалки, где вы?» Вы думаете, это даст сбор? Это может только дать разорение. Я хочу поставить дело серьезно, раз я согласился участвовать в таком предприятии. Я еще не

знаю, что из этого выйдет, и время мое не так уж дешево стоит, но я такой человек: раз делать – так уж делать.

Наглый человек долго болтал на эту тему. Кнупф слушал его с удивлением. В кабачке он держался совсем по-иному. Минут через двадцать он отвел его на третий этаж и предоставил в его распоряжение две комнаты.

– Желаю вам успеха, – сказал он и хлопнул по его ладони, как цыган, продающий лошадь.

Затем, стараясь быть похожим на купца, заключающего выгодную сделку, он сказал Батайлю:

– Желаю вам полного успеха! Дай бог, чтобы из этих комнат выходили знаменитости, мировые певцы и певицы. Постарайтесь сделать это. Предприятие – выгодное во всех отношениях.

В этот же день Кнупф привел в Мастерскую и изготовителя красивых женщин. Этот был значительно симпатичнее Батайля. Его фамилия была Карташевич. Это был поляк, долго живший в Берлине. Он был солдатом, затем дамским портным, затем был владельцем института красоты, разорился, но сохранил достоинство и тонкое понимание женского изящества. С ним, несомненно, можно было сделать дело. Кнупф, даже не знакомя его с Латуном, привел в Мастерскую и предоставил ему три комнаты. Ведь женщинам свойственна стыдливость, и лишняя комната, рассчитал он, не помешает им.

Мастерская начинала работать. Из труб ее вился дым. На лестницах начиналось движение. Деятельные приготовления шли в нескольких этажах, хотя они далеко еще не были заполнены.

Однако недоразумения не прекращались.

Одно из них, связанное с первым заказом, разыгралось в первую же неделю после переезда Мастерской Человеков в новое помещение, и будет описано в следующей главе.

Глава четырнадцатая

Латун проснулся от странного крика. Кричали на улице. Здоровенный человек бил кулаками в зеленые ворота Мастерской. Хозяин высунулся в окно и, может быть, в первый раз увидел

в конструктивном ракурсе обветшалое здание. Оно выглядело довольно жалко с полуразрушенными своими карнизами и с бесконечным количеством ставней. Некоторые из них были закрыты.

Старик посмотрел на часы и пришел в ярость. Девять! Все отделения должны работать. Между тем ясно, что сотрудники прохлаждаются в утреннем сне.

Весь первый этаж, где Капелов руководил подготовкой теста и сгустков, еще спал. На втором этаже, где делались гении, ставни тоже были закрыты, а рядом, где изготовлялись просто симпатичные люди (этот отдел открыл Ориноко), ставни были так наглухо заколочены, что само собою рождалось сомнение в том, откроются ли они когда-нибудь.

Старик дрожал от гнева. Он злился на себя за то, что начинает отставать от дела, что эти мальчишки делают что хотят, и ленятся при этом, и сам он просыпается так поздно – в девять часов, в то время как Мастерская должна работать с восьми. К тому же просыпается не нормально, а от дикого крика.

Крик на улице продолжался и даже усиливался. Удары в ворота участились.

Латун, сильно высунувшись в окно, заорал:

– Эй, кто там? Что вы скандалите? Вы не в публичный дом врываетесь!

Латуну нельзя было отказать в наблюдательности.

В облике здания Мастерской Человеков в это жаркое утро благодаря многим закрытым ставням действительно было что-то от лениво просыпающегося публичного дома.

«Ах, надо бы перекрасить дом, – подумал он, – починить карнизы, выпрямить балкончики, надо придать дому приличный вид. В конце концов, закроют мое учреждение».

И он опять заорал:

– Слушайте, чего вы так бухаете, вы сломаете ворота! Что вам нужно?

По форме головы старик узнал в неизвестном человеке свое изделие. Да, это был жених девушки, этот писатель… Но отчего он в таком бешенстве?

– Халтурщики! – кричал писатель диким, хриплым, во всем изверившимся голосом.

Старик пожал плечами:

– Что вам нужно? Что вы орете?

– Как можно так работать? – яростно возмущался внизу писатель. – Не понимаю, как можно так работать?

– А что такое? Что случилось?

Из окна второго этажа, где делались гении, высунулась голова Батайля. Нельзя сказать, чтобы голова эта была красива. Кожа на его лице стала еще более гусиной. Он несколько раз просил Капелова разгладить ее, но тому все было некогда, точно так же, как Латуну все еще было некогда поправить голову Капелову, чтобы он мог ею свободно поворачивать во все стороны. Кнупфу Батайль тоже напоминал об обещании, данном в кабачке, подремонтировать его, но из этого ничего не выходило.

Из узких глазных щелей Батайля излучались равнодушие и презрение. Он нисколько не был напуган неожиданным криком. Он был только обижен наглостью и немузыкальностью его тона. Сжав губы плюющим движением, он посмотрел вниз с брезгливо-плачущим выражением лица:

– Что вы орете? Чего вы орете?! Вы же мешаете, черт возьми, работать! Ведь мы же тут заняты серьезным делом. Мы сейчас делаем гениального певца! Понимаете, мы делаем как раз тонкую мережку на его барабанных перепонках, а вы орете! Ну, что это такое, в самом деле! Он же потом будет врать на концертах до безобразия! Что вы делаете!

Немного высунувшись из окна и заметив хозяина, он с упреком старшего служащего, с которым серьезно считаются, пожаловался:

– Послушайте, я откажусь работать. Мы же вам тут делаем не ослов, а гениев, вы же требуете чистой работы, а покою нет! Не понимаю! Около самой поганой, паршивой больницы какой-нибудь, где болеет и умирает заурядная дряхлая человечина, стоят какие-то деревца, есть пустырек, садик какой-нибудь, парк, ну, словом, обеспечена хоть какая-нибудь тишина. А тут, где такая ответственная работа, каждая свинья может подойти и орать! Ну, чего вы орете? – обратился он к неизвестному. – Какое право вы имеете так стучать кулаками в ворота?

– Да! Да! – кричал сверху хозяин. – В самом деле, я тоже спрашиваю, почему он орет?

– Вы халтурщики! Вы мелкие жулики! – опять начал кричать писатель. – Кому нужна такая ваша работа?! Закрыть вас надо! Разогнать вас надо! Один только вред от вашей работы! Вот я писатель. И вот я пишу, а сравнений у меня нет. Хочу написать «небо было, как…», а что написать после «как», не знаю. Все мои товарищи знают, что надо писать после слова «как», некоторые даже прославились. А я не знаю! Что же мне делать? Какой же я писатель без сравнений! Публика любит сравнения и требует их!

Делатель певцов, подняв один глаз к хозяину, сказал:

– Неужели это ваше изделие?.. Действительно, писатель без сравнений… Ха-ха! Что же это – хлам? Кому нужен в искусстве хлам?

Латун, как все инициативные люди, не выносил упреков и чрезвычайно смущался. Но в данном случае он испытывал двойную досаду: не в том дело, что из Мастерской вышел хлам. Дело в том, что это являлось плохим примером. Теперь Батайль наделает черт знает каких певцов, и что ему скажешь? Да, уж раз сделали писателя, надо было не забыть вставить в него дар сравнений. Кто виноват в этом? Капелов? Нет, он как будто ни при чем.

И желая показать, что он хозяин Мастерской, что он может заполнить любой пробел – и свой, и любого из своих служащих, – он крикнул:

– Говорите скорее, что вам надо. Я вам дам все нужные сравнения. Пожалуйста! К каким словам вам нужны сравнения?

Писатель достал клочок бумаги и стал читать:

«небо было, как… лес был, как… поезд подошел, как… ее улыбка была, как… ребенок плакал, как… она ревновала, как… вечерело, как…».

Хозяин молодцевато высунулся из окна, потер руки и уверенно, даже лихо, начал:

– «На политическом горизонте надвинулись свинцовые тучи»… Нет, это не то. Это для передовых статей. «Небо было, как голубой купол»… Подойдет? «Поезд, как красная змея, гремя колесами, подкатил к дебаркадеру станции»… Хорошо?

Писатель ответил:

– Как будто ничего, но мало. Мне на каждое слово нужны сравнения. Как можно без сравнений! Дайте мне еще несколько.

Делатель певцов опять высунул свое искривленное от негодования лицо:

– Вы еще здесь? Когда вы уйдете?

– Когда у меня будет достаточное количество сравнений.

Делатель певцов пожал плечами:

– Не понимаю. Отказываюсь понимать. Как можно давать сравнения вообще, независимо от тех или иных обстоятельств?

Он посмотрел на хозяина, который беспрерывно сыпал сверху: «Глаза, как васильки», «Зубы, как жемчужины», «Кожа на ее лице, как атлас», плюнул и продолжал:

– Послушайте, это же идиотизм. Хотите настоящего совета? Валяйте после слова «как» все, что придет в голову, и это будет самое лучшее. Не пишите «небо было, как синий купол». Это старо и безвкусно. Пишите: «небо было, как мороженое», «как воспоминание детства», «как комод», «как ведро с песком». Или вот глаза. Почему глаза, как васильки? Какие тут, к черту, васильки?! Васильков уже давно нет. Пишите: «глаза были, как текстильный станок», «как радиоконцерт», «как невысказанная декларация», «как зоологический сад». Да, так и пишите: «Глаза были, как зоологический сад». Или еще – лицо. «Лицо было, как атлас». Фу, какая чепуха! Пишите: «лицо было, как политическая экономия», «как велосипед», «как выставка по сельскому хозяйству». Что угодно пишите, главное – не бойтесь. Что там еще дальше? «Зубы, как жемчужины»? Хорошенькое сравненьице. Кто теперь так сравнивает? Пишите: «зубы были, как крестовый поход», «как Версальский мир», «как лыжная станция», «как пирамидон», «как скрижали», «как фарфоровый завод», как… Словом, после слова «как» пишите, повторяю, что угодно, и если не всегда, то часто будет выходить хорошо. А сейчас уходите, пожалуйста, отсюда и не мешайте работать.

Хозяин надрывался сверху:

– «Глаза, как черешни», «Губы, как лепестки гвоздик», «Волосы, как шелк», «Стройная, как тополь»…

Писатель остановился, подумал, посмотрел с презрением на хозяина и закричал:

– К черту старую банальщину! Глаза были не как черешни, глаза были, как угар, как восприятие музыки, как ведро с песком, как лес, как красный поезд, который, гремя колесами, подкатил к дебаркадеру станции. Глаза были, как свинцовые тучи на политическом горизонте. Глаза были, как мороженое, как текстильный станок! Губы были, как лепестки гвоздики, – это чепуха, это старая банальщина! Губы были, как политическая экономия, как выставка по сельскому хозяйству, как Версальский мир! Не надо мне больше ваших банальных сравнений. К черту!

Он ушел не попрощавшись, и сонный переулок оглашался замирающими криками:

– Зубы были, как воспоминание детства, как лыжная станция! Поезд был, как мороженое! Воспоминание детства, как комод! Радиоконцерт был, как выставка по сельскому хозяйству. Ведро с песком было, как…

И так далее, пока не наступила полная тишина.

Глава пятнадцатая

Все-таки Мастерская Человеков как предприятие имела смысл. Разумеется, очень досадны были все эти неприятности, но, в конце концов, какое предприятие обходится без них? Любая продукция требует внимания, навыков, сложной техники. Любой материал сопротивляется, прежде чем дает себя обработать, и нет ничего удивительного в том, что наладить первую в мире Мастерскую Человеков было особенно трудно. Ведь, в конце концов, она налаживалась кустарными средствами. Кто такой был Латун? Что собой представляли Кнупф, Ориноко, Камилл – эти деловитые мальчики, которые каждый день выдумывали новые проекты, особенно Кнупф, и что мог придумать путного Капелов или этот делатель певцов, или специалист по созданию изящных женщин, которого нанял Кнупф, или десяток других проходимцев, которые под разными соусами примазались или были вовлечены в неслыханное предприятие?..

Неприятностей и трудностей было много. Но все-таки Мастерская имела смысл. У нее были перспективы. Удручало только от-

сутствие денег и все продолжающееся нелегальное положение. С патентом так-таки ничего не выходило. Каждую неделю старик с Капеловым ходили в комитет по делам открытий и изобретений. Дорога в это учреждение была ими изучена до мельчайших подробностей. Говорят, все изобретатели также хорошо знают дорогу в те комитеты, в которых, как закон, обязательно мытарят их выдумки. Почему это так происходит – трудно сказать, но роковая неизменность задушения всякой выдумки отличает пока что все страны. В маленьком кафе, где обыкновенно Латун с Капеловым привыкли отдыхать после изнуряющих посещений комитета, они разговорились с соседом по столику, который сообщил им, что в республике Советов, в СССР, по части отношения к изобретениям и открытиям дело обстоит легче. Он слышал разговор Латуна с Капеловым и, вмешавшись, сказал:

– Там, видите ли, полезное изобретательство и открытия чрезвычайно поощряются. Бывают случаи, что за помехи изобретателям виновные сурово наказываются. Да-да, это так. Я сам читал в газетах. Если у вас серьезное и нужное изобретение или открытие, вы тут толку не добьетесь. Поезжайте прямо туда.

Латун и Капелов, разумеется, не рассказали соседу, в чем заключалось их открытие, и разговор на этом закончился. Но о возможности поездки в СССР оба подумали. Латун слышал об этой стране и даже читал о ней, но все же мысль о поездке туда показалась ему далекой и фантастичной. Капелов тоже не представлял себе, как они поедут туда. Да и трудно сказать, что их там ждет. Нет, это все – фантастика.

Надо работать. Но вот плохо, что работа никак не поставлена. Ежеминутно может нагрянуть полиция. Разве это шутка? Целый дом был занят странными манипуляциями над людьми и созданием новых. Это была сложная и, если посмотреть со стороны, страшная лаборатория. Не было никакой надежды на то, что она может долго существовать на нелегальном положении. В сущности, полиция уже знала про нее. Кнупф уже часто ужинал и завтракал с полицейскими. Начальник центрального района верил обещаниям Кнупфа скоро показать патент. В свою очередь, он обещал позвонить в комитет по делам открытий и изобретений и поторопить его выдачу; Но он не знал, что открытие Ла-

туна еще там даже не рассматривалось. Положение Мастерской было и опасное, и двусмысленное.

Кнупф, вначале не придававший значения патенту, теперь все чаще настаивал на нем.

– В чем там дело? – спрашивал он Латуна. – Чего они хотят?

– Черт их знает, – разводил руками Латун. – Не могу добиться. Там тьма народу. В последнее время они заняты изучением мешочков по перевариванию пищи. Это, они говорят, исключительное изобретение. Когда ни придешь, накрыты столы, и администрация комитета безудержно жрет за счет изобретателя этих поганых мешков. Разумеется, изобретение, экспертиза которого связана с возможностью обжираться буквально до беспредельности, рассматривается вне всяких очередей. Если б вы видели, что там творится! Никакие другие изобретения не рассматриваются. Все отложено! Изобретатели в отчаянии! Были даже случаи самоубийства среди них.

Один изобретатель изобрел по заказу боен машину для бесшумного откусывания голов у скота. Человек так устал от бюрократизма и так изнервничался, что в припадке ярости он вставил свою собственную голову в эту машину и легко расстался с ней. Машина бесшумно откусила ее, и кто был в этот день в комитете, мог увидеть жуткое зрелище: изобретателя без головы. А те все жрали и жрали, и вытаскивали из своих пищеводов эти мешки для переваривания и тут же всаживали их в безработных, нанятых для испытания этих самых мешков.

– Что же делать? – задумался Кнупф, хотя задумчивость была ему мало свойственна. – Что делать?

– И как на зло, заказы у нас становятся все интереснее и труднее. Вот вчера к нам пришли заказывать властного человека…

– Кто пришел?

– Владельцы гостиницы «Версаль». Самой большой гостиницы в городе. Кому не нужны властные люди? Они хотят нам хорошо уплатить.

– А образец? Что это такое – властный человек? Ведь есть же разные типы?

– Ну конечно. Я тоже спросил об этом. Они дают образец. По городу ходит один полковник, приехавший недавно из колонии.

Он тут живет уже месяца два. Они хотят, чтобы мы сделали точно такого. Это, они говорят, настоящий, очень гордый, неприступный, властный человек. В каждом его движении, в каждом взгляде, в каждом процеженном сквозь зубы слове есть что-то такое, что вселяет в окружающих страх и крайне стесненное, неловкое состояние. С ним даже неприятно здороваться. В гостинице, где он живет, жил некоторое время бедный захолустный граф, так тот даже упал однажды со всех лестниц только потому, что неудачно вошел в вестибюль, в котором сидел полковник, и так как по европейскому этикету тому, кто входит в помещение, полагается первому поздороваться, граф так резко повернулся в дверях, что споткнулся и полетел со всех лестниц. Он именно не хотел здороваться первый. Дело в том, что полковник так противно, так обидно отвечал на приветствия, еле-еле приоткрывая губы, и такую излучал при этом из глаз под видом корректности снобистскую скуку и презрение, что граф предпочел сделать вид, что вошел в вестибюль случайно, резко повернулся и чуть не свернул себе совсем шею, летая по крутым лестницам на собственной голове.

– Как же мы сделаем такого? – спросил Латун.

Для Кнупфа это даже не было вопросом.

– Да очень просто. Возьмем этого полковника и сделаем. Продержим тут несколько дней, исследуем, а потом выпустим.

– Легко сказать – возьмем. Как же мы его возьмем?

– Ну, это ерунда. Кто-нибудь подойдет к нему вечерком, когда он после фокстрота в гостинице гуляет по главной улице, подойдет и, знаете, так шепнет на ухо, предлагая удовольствия и развлечения. Он обязательно придет сюда, а здесь он полежит на леднике несколько дней. Ничего.

– А кому он все-таки нужен?

– Повторяю, владельцам новой гостиницы. Они ведь расширяются. Ведь там будет очень большое предприятие, будут делаться всякие дела, затем они строят большое казино, игра будет вестись серьезная, и им нужен для всего этого властный человек, управляющий, настоящий властный человек. Словом, люди хотят поставить дело как следует.

– Хорошо, – сказал Латун. – Приводите его сегодня, а завтра мы займемся этим делом. Устроим совещание, поговорим, опре-

делим основные черты властного человека, а потом используем образец.

Неудачи с первыми заказами заставили его несколько изменить методы работы. Старик еще более охотно совещался с окружающими, чем раньше. В некоторых случаях, наиболее серьезных, он устраивал официальные совещания с повесткой дня. Секретарствовал на этих совещаниях Капелов, которому эти собрания вообще очень нравились. Он имел возможность на них высказывать свои сомнения, отстаивать свои взгляды, и это было тем более приятно, что Латун не налетал на него с обычной яростью. Все-таки присутствие людей его стесняло. Затем Капелов получил возможность приглашать на эти заседания Муреля, свое детище, этого заморыша, который слонялся по городу и голодал, не имея возможности применить свой интеллект, непомерно развившийся от украденного Капеловым и влитого в него эликсира. Город был отсталый. В нем жили дураки, мещане, стяжатели всех видов и обыватели всех сортов, мелкие воры, полицейские, всякие хищники, авантюристы. Никому не нужен был худой паренек с развитым интеллектом. Мурелю грозила голодная смерть. Он давал грошовые уроки, торчал в публичной библиотеке, в которой по целым дням почти никого не было, пытался писать в местной газете, печатавшей главным образом объявления, сенсации, великосветскую хронику. Таким образом, Капелову пришлось исполнить данное обещание – привлечь его к работе в Мастерской. Делать он ничего не умел, этот заморыш, но на совещаниях он мог выступать с какими-нибудь характеристиками и замечаниями. Да, эликсир был влит в него в изрядном количестве! Но это будет иметь и печальные последствия! Не один человек будет жертвой этого безумного акта Капелова – ведь он долил эликсир водой, и за интеллектуальные способности Муреля многие будут расплачиваться глупостью, бестактностью, может быть, даже идиотизмом.

Когда Латун сообщил ему о заказе на властного человека и об интересном образце, который взялся доставить Кнупф, – а уж раз он взялся, так он доставит, Капелов оживился, вызвал Муреля, и в назначенное время большая комната, специально отведенная для заседаний, была торжественно убрана, стол покрыт синим

сукном, вокруг него расставлены стулья, и перед каждым стулом лежала повестка. На повестке значилось:

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
МАСТЕРСКОЙ ЧЕЛОВЕКОВ

Повестка дня:

1). Вопрос о создании властного человека в масштабе заведующего карточным клубом и гостиницей.

2). Текущие дела.

На собрание пришли кроме Латуна и Капелова Кнупф, Ориноко, Камилл, Мурель, Батайль и бывший портной из Берлина Карташевич, который готовил проект типа модных женщин. Его пока никто не проверял.

Он что-то делал в своих комнатах, иногда оттуда доносились дикие визги, но ничего готового Карташевич еще не предлагал.

– Ну-с, – начал Латун. – Нам предстоит сегодня нелегкая задача. Нам нужно создать властного человека, который мог бы с достоинством управляться с карточным клубом и гостиницей. Кто желает по этому вопросу высказаться?

Говорунов было мало в правлении Мастерской Человеков, и Капелов выжидательно посмотрел на Муреля: говори, мол, иначе что тебе тут делать.

Мурель заговорил:

– Уважаемые граждане! Если вдуматься, то властные люди ничем особенно не отличаются от невластных. Если к ним приглядеться, то они порой слабее самых безвластных. Но их все же отличает некое умение пользоваться, главным образом, слабостью окружающих. В конце концов, тут дело в приемах. Нужна только техника. Все дело в технике. Надо уметь корректно третировать окружающих. А иногда и некорректно. Надо иметь хмурое лицо и вообще такой вид, точно нам все известно и все, по крайней мере, наполовину, надоело. Хорошо для этого опускать углы губ, а смотреть большей частью вниз, не нагибая головы. Говорить надо мало. Надо все отрицать, никого не хвалить. Вот этот колониальный полковник, который будет нам служить образцом, – я тоже не раз видел его в городе, – именно такой тип. Не думаю, чтобы он в самом деле был особенно властным человеком. Вообще, все люди обыкновенные. Все зависит, конечно, от обстоя-

тельств. А его поведение – профессиональное, выработанное нелегкой жизнью, вынужденное. У теперешних европейских офицеров снобизм наигранный, их гордость – не гордость «достойного отпрыска» знаменитого деда и прадеда, не рыцарственность и не аристократичность. Нет, это обыкновенная техника делячества. Да, да, это коммерческая маска. Это навыки по умению угнетать и подчинять себе людей. Это один из видов оружия по укреплению своей рабовладельческой мощи в колониях. Для того чтобы властвовать над рабами, надо быть таинственными, важными. Надо презирать, надо быть заносчивым, недоступным, далеким, «страшным».

– Совершенно верно, – перебил Муреля внезапно оживившийся портной Карташевич. – Вы знаете, когда я был на военной службе, мой фельдфебель кричал на отделенного командира, которого заставал за чаепитием в обществе товарища – рядового, его же земляка, но не прошедшего «учебной команды». Он так кричал: «Что же ты делаешь? Какой же ты начальник?!. Ты ... собачье, а не начальник. С кем чай пьешь?! С подчиненным?! С рядовым! Ты еще поцелуйся с ним! Как же он тебя слушаться будет, свинья необразованная?! Чай пьешь. Кто он тебе – товарищ, может быть? Эх, и начальник же из тебя!».

Латун строго оборвал бывшего солдата:

– Прекратите. Во-первых, я вам не давал слова, а во-вторых, прошу выражаться деликатнее. Вы не в кабаке.

Он был не на шутку рассержен развязностью и грубостью Карташевича и добавил:

– Не понимаю, как такая грубость совмещается у вас с умением делать изящных женщин?!

Капелов был уверен, что портной обидится. Но он и не думал обижаться. Он улыбался, как ни в чем не бывало. Чтобы замять эту историю, Капелов подмигнул Мурелю, чтобы он продолжал речь.

– Совершенно верно, – продолжал Мурель. – Это и есть истоки влияния и авторитетности.

Карташевич опять перебил его:

– Простите, еще два слова. Мой фельдфебель старался зря. У отделенных командиров это не всегда получалось. Когда у рядо-

вого появлялась колбаса и белый хлеб, начальственность опять забывалась...

Латун сделал недовольное движение губами, и Капелов опасливо взглянул на него: да, этот Мурель всегда как-то уезжает в сторону в своих речах. Что-то он начинает всегда с одного конца и въезжает в другой. Может быть, это интересно – то, что он сказал, но вряд ли это приближает к исполнению заказа. Чтобы дополнить его речь актуальным концом, Капелов взял слово и сказал:

– Во всяком случае, я думаю, что исполнить этот заказ нам будет нетрудно. Правда, его нельзя причислить к наиболее дешевым. Эликсир интеллектуальности придется влить в него в том или ином количестве. Все-таки управлять гостиницей и большим клубом не так просто. В клубе могут играть очень видные лица и проигрывать крупные суммы, и вообще, мало ли кто бывает в клубах и живет в большой гостинице. Управлять этим может человек с большим тактом и умением заставлять себя уважать и считаться с собой. Однако где же этот полковник?

Кнупф сказал:

– Он со вчерашнего вечера в леднике. Надо его оживить и выдать ему его платье.

Минут через пятнадцать в комнату вошел типичный хмурый хищный колониальный полковник. На полу от него оставались следы, так как его только что сняли с ледника. Он сел и полуоткрыл оловянные глаза. Спокойные руки достали табак и трубку. Он нахмурился и начал, если так можно выразиться, молчать. Это молчание вначале было выжидательным, потом тягостным, затем стало напряженным. Постепенно оно переходило в стадии неопределенности, недоумения, равнодушия, презрения, неуважения ко всем, и наконец, дошло до безнадежности.

Последним ощущением у собравшихся, вызванным этим молчанием, уже была полная подавленность. Все стали двигать ногами, перекладывать на столе руки, открывать и закрывать рты. Но от спокойного, равнодушного, скучливого, никого не уважающего, покрытого какой-то корой лица офицера продолжали исходить токи порабощения. Какую он проявил выдержку в этом отношении! Какой у него чувствовался опыт! Какая тренировка! На лице полковника мелькало такое выражение, как будто он чем-то

занят важным, серьезным, а его задерживают мелкие бестолковые служащие. Сотрудники Мастерской Человеков видели все это совершенно отчетливо. Ведь все-таки они уже имели небольшой опыт по созданию людей. Технически полковник проделывал это довольно грубо. Вообще, техника всех решающих видов поведения людей чрезвычайно примитивна и понятна.

А все-таки как она действует! Самый умный, широкий, наблюдательный, опытный человек смущается, как мальчик, от легкого окрика какого-нибудь ничтожества, от строгого взгляда, от сдержанного обращения.

И как это ни странно, Латун, сам делавший людей, поддавался влиянию дешевой техники «выдержки». Примитивное, но аптекарски рассчитанное молчание полковника старик начинал принимать за чистую монету превосходства, душевного спокойствия, значительности и таинственности. Так огромный опыт имеет часто и свои отрицательные стороны. Это можно часто наблюдать.

Опытнейших людей часто обманывают самым примитивным образом. А может быть, это тяга к контрастам? Например, крупнейший художник, делающий чудеса красками, способен порой умилиться примитивной детской мазней. А Льву Толстому, например, – и это всем известно – очень нравились явно плохие рассказы каких-то людей. Вероятно, по этому же закону сложным обжорам и тончайшим гастрономам нравится обыкновенная кислая капуста или какой-нибудь соленый огурец.

– Ну, что же, – тихо сказал Батайль, – будем его исследовать или нет?

– Да, – поддержал Капелов. – Это надо сделать. Ведь, в конце концов, заказ не ждет. Надо измерить его объемы.

Капелов встал и направился к полковнику, чтобы это сделать, но Кнупф находился поближе к нему и успел приступить к этому раньше. Он достал из кармана сантиметр, а Карташевич как бывший портной быстро развернул его, взяв у Кнупфа из рук, и повесил себе на шею, как это делают все портные. Кнупф встал за спиной полковника и, ничего не желая этим выразить, легко хлопнул его по плечу.

В этом движении не было ничего обидного. Так хлопают обыкновенно лошадей, когда их продают, собак и даже вещи, о которых

идет речь. Просто так, ничего особенного. Но полковник встал, вынул револьвер и, не говоря ни слова, даже не выпустив из левой руки трубки, начал стрелять по очереди во всех присутствующих.

Поднялся неслыханный переполох. Сидящие с левой стороны не стали ждать своего расстрела, а бросились к палачу, схватили его за ноги, опрокинули и обезоружили. Заседание было прервано, так как нужно было починить раненных людей. Больше двух часов ушло на возню по заклеиванию ран и починке всяких поврежденных внутренностей. Причем у некоторых после этих операций значительно изменился характер.

Кнупф, который был легко ранен и отброшен поднявшейся суматохой в угол комнаты, опираясь на плевательницу, кое-как приподнялся и со стоном произнес:

– Эта сволочь стреляет, точно где-нибудь в африканских колониях. Но интересно, какой это дурак дал ему костюм, не осмотрев предварительно карманов?!

Глава шестнадцатая

Латуну полковник весьма неудачно прострелил ухо, и зашить его было чрезвычайно трудно. Нужно было новое.

У Капелова был случай выказать старику свою преданность. Он сделал из человеко-теста нечто замечательное по форме и цвету. Операция была искусна. Он прилаживал новое ухо с необыкновенной тщательностью. Несколько раз, осторожно касаясь головы Латуна обеими руками, он поворачивал ее в разные стороны и весьма внятно при этом спрашивал:

– Можете ли вы свободно поворачивать голову? Так хорошо? И так тоже свободно? И так? И так?

Самый нечуткий человек мог бы понять, на что намекает Капелов. Но Латун так и не понял, и даже когда, наконец, Капелов сказал ему: «Теперь вы могли бы починить и мне голову», – то и это никак не подействовало на старика.

– Ладно, – сказал он. – Пусть это сделает Карташевич.

Большей обиды нельзя было придумать. Капелов был ранен полковником в ногу. Он сам извлек пулю и сам вставил себе но-

вую коленную чашечку. Это была мучительная операция. Он страдал сильно и теперь еще не оправился. Операцию Латуну он делал с сильной головной болью, с приступами тошноты. И как все же старался!

Ответ Латуна его поразил. Впрочем, он волновался недолго. Работа и жизнь в этой Мастерской Человеков научила его относиться спокойно ко многому.

Он с головой ушел в работу. Неприятностей было много. В сущности, вся работа состояла почти из одних неприятностей.

Полковника, то есть человека по его образцу, сделали. Даже в двух экземплярах. Один был продан в гостиницу, а другой помещен в леднике в анабиозном состоянии как резервный образец. В гостинице и карточном клубе вначале были довольны выполненным заказом. Похожий на колониального полковника властный заведующий внушал к себе в нужных размерах уважение, почтение и страх. Он так поглядывал на служащих, что те подчинялись ему беспрекословно. Проигравшиеся игроки в казино уходили довольно спокойно. Высокая фигура с трубкой и оловянными глазами не располагала к лирическим высказываниям разных мыслей и соображений по поводу проигрышей. Игроки-счастливцы тоже были довольны. Их ожидали всевозможные развлечения, для того чтобы они имели возможность не все деньги уносить с собою, а значительную часть их оставлять в этой же гостинице в обмен на удовольствия. Все шло как будто очень хорошо, и хозяин гостиницы обещал заказать еще одного такого заведующего, лишь только он откроет вторую гостиницу.

Но всего через месяц этого заведующего кто-то легко задел, и он вдруг начал стрелять в игроков точно так же, как его прототип на заседании Мастерской Человеков. Скандал получился огромный. Это была сенсация в масштабе всего государства. К величайшему счастью, хозяин гостиницы сбежал, и власти не узнали, что стрелок был искусственным человеком, а то бы добрались до Мастерской. Латун был достаточно напуган этой историей и говорил Капелову, Кнупфу и другим свое излюбленное:

– Мы не боги. Мы ремесленники. Нам дали образец этого англичанина, мы по нему и делали. А откуда мы знаем, что он привык стрелять в колониях в людей, как в собак?! Откуда мы

знаем! Мы и сами здорово пострадали от культурных привычек этого гражданина. Мы еле зашили прободенные внутренности и поврежденные члены.

Вообще, трудно было ожидать, чтобы продукция такого предприятия, как Мастерская Человеков, существовала безболезненно. Рано или поздно до Мастерской должны были добраться. Пока еще ни с одним заказом благополучно не было.

Рабочий, преданный хозяину, тоже не получился. Делали, переделывали, а все же ничего не выходило. Опять были неприятности. Оказалось, что рабочего, который был бы предан хозяину, чрезвычайно трудно сделать, почти невозможно. Несколько раз в Мастерскую прибегал перекошенный от исступления хозяин и жаловался:

– Это черт знает что такое! В нем нет никакой преданности! Я не знаю, по-настоящему ли он религиозен. Чего я только не делаю с ним, но ничего не выходит. При первом случае он свернет мне шею. Я в этом вполне уверен. Зачем же я платил вам деньги? Такого рабочего я мог бы найти на любой бирже труда. Таковы они все.

– Да, – вмешался Мурель, который присутствовал при одном из таких разговоров. – Раз вы получаете прибавочную стоимость, то очень трудно, чтобы эксплуатируемый был предан вам.

– Что вы мне рассказываете такие новости! – рассердился заказчик. – Я это знаю без вас. Поэтому я и заказывал у вас специально рабочего, религиозного и преданного хозяину, чтобы он чувствовал, что он получает от меня кусок хлеба, чтобы он меня уважал, чтобы он снимал шапку передо мной, чтобы его жена и дети были благодарны мне. Для чего же вы нужны мне были, если вы не можете такого создать? Вы не знаете, какой заказ вам предстоит?! Если б вы мне сделали одного такого, какой мне нужен, то вы были бы обеспечены заказами в несметном количестве. Преданные служащие и рабочие чрезвычайно нужны теперь! Всюду, всюду забастовки, скандалы, непочтительные акты в отношении хозяев, фабрикантов и властей. Дела приходят в упадок. Вечная возня, всякие простои, борьба, всякие неприятности – и в результате разорение! Неужели же вы не можете сделать рабочего не бунтаря, рабочего, который был бы предан своему хозяину? Что

там такое в нем находится, что вечно в нем бунтует? Пожалуйста, переделайте вы его и пригласите меня. Я хочу присутствовать при том, как вы будете его переделывать.

Латуну пришлось согласиться и на это. Когда переделывали рабочего, хозяин стоял под рукой и шептал, волнуясь, потирая руки и проделывая другие жесты, изобличавшие крайнюю заинтересованность, надежду, жадность и азарт.

– Сделайте ему маленький мозг! Я вас очень прошу! Уберите эти извилины! Пусть он не рассуждает много! Сделайте ему поменьше сердце! Не надо! Пусть он не чувствует так много. Это отвлечет его от работы. Сделайте ему большие ступни. Побольше, побольше. Это нужно. Пусть он крепче стоит и лучше выдерживает тяжести. Сделайте ему крепкую шею и твердый позвоночник. Это тоже нужно. Он должен быть вынослив. Руки тоже пусть будут крепкие. Это нужно. Он должен работать. А то – для чего он мне нужен!

И так далее. Неугомонный хозяин надоел и Латуну, и Капелову, но все-таки заказчик не был доволен.

С писателем, женихом, а теперь мужем девушки – первой заказчицы Мастерской, – тоже было неладно. Он писал какие-то странные вещи. Латун часто выражал опасение, как бы не вышло с ним большой истории.

С религиозным проповедником было совсем плохо.

О нем уже начинали распространяться слухи. Как и можно было ожидать, он становился опасным альфонсом и шантажистом. Ареной своей деятельности он избрал, конечно, высшее общество, и даже пытался влиять на государственную политику через жен влиятельных сановников. Методы этих авантюристов одинаковы во всех странах, где они могут иметь применение.

Довольно большое количество мелких заказов, выполненных Мастерской, тоже давало радости мало, и еще меньше денег. Заказчики были, как правило, недовольны, и количество врагов Мастерской увеличивалось. Полиция, разумеется, знала об ее существовании и уже начинала не удовлетворяться взятками, которые передавал ей Кнупф. Дело в том, что скандалы становились все громче и приобретали все более болезненный характер.

Например, довольно уважаемый человек, в достаточной мере популярный в городе, заказал себе в Мастерской Человеков друга. В своем заявлении, проникнутом большой искренностью, он писал, что чувствует себя весьма одиноко, несмотря на популярность и уважение, какими он пользуется. Он писал, а затем подтвердил и на словах, что ему очень тяжело жить без дружеской поддержки. Но друга у него не было. Ближайшие его товарищи и многие, именовавшие себя друзьями, искренне огорчались, когда на его долю выпадал успех. Когда он им рассказывал о своих успехах, по лицам многих из них пробегали тени, знакомые ему тени, которые говорили о том, что им неприятно слушать про его успехи и переживать их. Зато когда он рассказывал им о своих неуспехах и всяких неприятностях, в глазах их явно светилось удовлетворение. Они выражали ему сочувствие и, несомненно, вполне искренне говорили о том, что не прочь ему помочь. Постепенно он перестал делиться радостями с друзьями. Им было тяжело это! Но все-таки одиночество порой было невыносимо, и узнав о существовании Мастерской Человеков, он заказал себе друга.

Увы, искусственный друг оказался не лучше естественных. Делиться с ним своими радостями заказчик не мог, и будучи мирным, культурным, корректным человеком, он не удержался и устроил в Мастерской скандал:

– Зачем вы открыли вашу подлую лавочку! – кричал он. – Вы плодите мерзавцев и разных гнусов, которых и так достаточно без вас! Я закажу себе в обыкновенной токарной мастерской манекен, и он будет лучше того барахла, за которое вы взяли с меня такие огромные деньги, заработанные мною честным трудом!

Действительно, он заказал себе в токарной мастерской манекен в человеческий рост и, говорят, беседовал с ним часами, а манекен кивал головой. Бедный человек! У него были столь скромные потребности в обыкновенной дружбе, но и их не смогла удовлетворить Мастерская Человеков.

Исполнение приспособленца для богатого путешественника тоже было неудачно. Путешественник писал, что он недостаточно еще приспособляется.

Что касается певцов и певиц, над которыми работал Батайль, то это дело только еще было в зародыше. Несмотря на нестерпимое хвастовство Батайля, крупные голоса у него еще не выходили, хотя иногда приятные басы и баритоны оглашали его лабораторию. Можно было надеяться, что дело у него все-таки пойдет. Но он вдруг потребовал от Кнупфа, чтобы тот организовал при Мастерской Человеков бюро печати для рекламирования этих певцов и певиц.

– Без этого, – говорил он, – нечего рассчитывать ни на малейший успех. Пусть он поет, как бог, все равно ничего не будет, если в газетах не будут мелькать его портреты, описания его любовных историй, поездок и разных скандалов. В частности, бас не может выдвинуться, если он не широкая натура, не драчун и не скандалист вроде, например, Шаляпина. Надо, чтобы бас побил по меньшей мере с десяток антрепренеров и несчетное количество разных там парикмахеров, гримировщиков и музыкантов, чтобы он стал действительно знаменитым.

Кнупф согласился с Батайлем и принялся организовывать бюро печати. Его энергия не знала пределов. Бывали дни, когда он работал в Мастерской с раннего утра до позднего вечера. В маленькой комнатке, которую он облюбовал себе, нередко можно было наблюдать и ночью огонь. Но нельзя сказать, чтобы дела Мастерской Человеков были хоть в какой-нибудь мере налажены.

Очень неважно обстояло и в отделе Карташевича. Этот требовал для своего отдела самые лучшие материалы. Он браковал самые лучшие сорта мяса и человеко-теста. Он мотивировал свою требовательность тем, что женщины должны быть изящны, красивы, и во всяком случае, привлекательны.

Латун умолял его быть экономнее.

– Ваша требовательность надоела, – говорил он. – Что вы хотите, в самом деле? Женщина должна быть меньше, уже, тоньше мужчины. Зачем вы делаете эти здоровенные ручищи, эти невероятные плечи, эти бока и толстые ноги? Кому это нужно? Женщина должна быть худенькой и изящной. Ну что это за рука? Из такой руки можно сделать четыре. У вас нет вкуса. У вас нет представления об изяществе! Кто будет любить таких коров, как вы делаете?

– Не беспокойтесь, – отвечал Карташевич. – Я знаю, что делаю. Уж что касается женщин, так вы мне не объясняйте, я это дело понимаю.

Старик повышал голос:

– Я не знаю, что вы понимаете! Я знаю, что вы нас разорите. Нужно, чтобы женщина была женщиной, и больше ничего.

Карташевич не обращал внимания на его слова. Он снисходительно улыбался, как улыбается артист, слушая профана, и все, в том числе и Латун, покорялись спокойствию Карташевича. В самом деле, раз человек так спокоен, значит, он знает, что делает. Вероятно, он сделает таких женщин, на каких будет спрос.

Однако этот портной, бывший солдат и недавний парикмахер, обманул всех. Первое изделие, вышедшее из его отдела, представляло собою нечто несусветное, хотя он утверждал, что это самая модная женщина. Ошибся ли он, недомерил, не высчитал, перепутал, но получилось нечто ужасное. Огромная женщина с короткой спиной, выпяченным задом, короткими плоскими неприятными ногами и тоненькими вертлявыми ручками, которыми она беспрерывно поправляла жалкие локоны на крохотной голове. Выражение лица у нее было плаксивое и наглое. Общее соотношение частей тела вызывало скуку и раздражение.

На женщину вышли посмотреть кроме Латуна и Капелова Кнупф, Ориноко, Камилл и Мурель.

Увидя такое большое количество мужчин, она стала кокетливо дергаться, поводить в сторону глазами, загадочно улыбаться и жеманно прогуливаться, покачиваясь и еще более выпячивая неудачный зад.

– Безобразие, – сказал Латун. – Ну что такое? Кому это нужно?

– Да, – подтвердил Кнупф. – Как это его угораздило создать такое существо?

Мурель тихо сказал:

– Да, трудно представить себе, кто ей будет говорить «моя дорогая, маленькая птичка».

Ориноко, большой мастер повторять чужие слова, засмеялся и добавил:

– Ой, ей трудно сказать «голубка моя, радость моя».

– Надо переделать, – решительно сказал кто-то. – Нельзя же такую чепуху выпускать.

Но Латун вдруг изменил мнение:

– Вот у вас просто – «переделать». А сколько это будет стоить – вас не касается. Хорошо бы мы выглядели, если б слушались вас! «Переделать». Что тут переделывать? Конечно, это не первого сорта женщина. Я видел покрасивее. Но ничего. Как говорится, жить можно. Надо ее выпустить. Какого-нибудь дурака она подцепит. Он ей будет говорить: «птичка» и «голубка», и все, что полагается. Вот посмотрите (Латун подошел к окну). Вот ходят тут разные женщины, разве они лучше?

Напротив Мастерской Человеков по тротуару шли всякие люди, в том числе и женщины.

– Вот на эту, например, посмотрите.

Он указал на короткую толстую некрасивую женщину, с трудом передвигавшуюся на прозаических неинтересных ногах. Ее бессмысленное лицо было грубо накрашено.

– Ну вот, такой ведь тоже кто-нибудь говорит: «птичка» и «голубка».

Сотрудники Мастерской Человеков подошли к окну. Некоторые грустно улыбнулись.

– Да, вероятно, говорят.

Ориноко издевательски пропел:

– Дорогая птичка моя, надень галоши, ты простудишь свои ножки!..

– Ну вот, – махнул рукой Латун. – И этой будут говорить то же самое. Выпустить заказ! – приказал он.

Заказ выпустили с большим трудом. Заказчик, уходя с этим заказом, уже на лестнице начал скандалить, понадобились солдатские кулаки того же Карташевича, чтобы удалить парочку из переулка.

Не меньший скандал получился и с работой Ориноко. Он достал заказ на нескольких людей, которых он сделал до такой степени безобразными, что их не хотели принять.

Мурель грустно посоветовал:

– Пошлите их в провинцию…

Но и оттуда их прислали обратно. В довершение всего Капелов, выполняя заказ – очень солидный и богатый – на двух чест-

ных и уважаемых людей, сделал двух мещан. Как это вышло, он сам не знал, но мещане получились совершенно закоренелые. Ничего с ними нельзя было поделать! Они жили в Мастерской, быстро укрепились, срок для переделки был упущен, и теперь было неизвестно, что с ними делать.

Глава семнадцатая

Примерно в это время, то есть время крайних затруднений Мастерской Человеков, как-то в полдень пришел хорошо одетый гражданин в рыжем костюме, с двумя самопишущими ручками в кармане, с довольно холеным лицом, но все же с печатью работоспособности во всем облике. У него были внимательные глаза, необычайное спокойствие и такое умение якобы равнодушно и неторопливо говорить, что его речам внимали больше, и они были во много раз убедительнее, чем если бы они произносились в самом бешеном темпе и с самой огненной страстью. У него были свои интонации, которые сообщали певучесть фразам и как бы говорили: «Странно, как вы этого сами не понимаете, непонятно, как вы сами не догадались».

Фамилия его была Кумбецкий. Это был большой практик, человек, сведущий по всем вопросам, причем по каждому вопросу знал столько подробностей, и самых свежих, что невольное уважение окружающих, как правило, сопровождало концы его речей в тех случаях, когда начала встречались с недоверием. Эти мелочи, изобличавшие в нем глубокое знание предмета, делали реальной самую отвлеченную идею. Они приближали смутную мысль к реальному осуществлению. Он много ездил по Европе, но работал и в Москве. Был не то торговым агентом, не то специалистом сразу по многим отраслям. Но так или иначе, в своих советах и сведениях, которые он щедро расточал, он не проявлял корыстной заинтересованности. Он был прирожденный любитель деловой и всяческой целесообразности.

Войдя в Мастерскую, он наткнулся на двух людей, которые сидели в приемной за маленьким столиком, и один из них печально рассказывал другому:

– Понимаете, это очень-очень печально. Я сделал двух мещан, не знаю, как быть с ними, и боюсь сознаться Латуну. Он в достаточной мере угнетен нашими неурядицами и о переделках, связанных, конечно, с большой тратой материалов, он и слушать не захочет. А что мне с ними делать? Вот я сделал вас вместо жениха для девушки и, откровенно говоря, вы единственный, из-за которого пока не было неприятностей. Со всеми остальными были. Вы живете в городе, меня мало отягощаете. Те деньги, которые мы платим вам за участие в заседаниях, помощь в работе и консультацию, невелики и не вызывают разговоров. Требования у вас небольшие. Вид у вас приличный, скромный. Словом, с вами как-то получилось ладно. А ведь могли быть крупные неприятности!.. Ведь я для вас не пожалел эликсира интеллектуальности… Счастье, что Латун не знает вашего происхождения. Кстати. Заклинаю вас. Берегите свято тайну. Но что мне делать с двумя мещанами? Заказ был на двух нормальных порядочных людей, причем заказ это внутренний, для экспедиции. Но пока их никто не берет, и меня уже начинают упрекать за них. В самом деле, получились самые обыкновенные, гнусные, тухлые мещане. Что мне с ними делать? Они живут там наверху, в комнатке, едят, пьют, чувствуют себя прекрасно, круглеют, один даже отращивает себе животик – очевидно, у него от обжорства неправильный обмен веществ. Они поют какие-то дешевые песенки, спрашивают меня про какие-то идиотские романсы. Удивительно, как все дешевое, обывательское, мещанское мгновенно доходит до них. Если на другом конце города идет пошлая пьеса, они узнают о ней мгновенно. Как они чутки к этому! Как выдержаны их мещанские вкусы! Они убедили Камилла достать им граммофон, а Батайль им достал какие-то пошлейшие романсы, которым он, кстати, обучает своих певцов.

Это говорил Капелов, а слушателем был Мурель, который регулярно навещал его.

– Что делать? – спросил Капелов.

– Ничего, – тихо ответил Мурель. – Переделывать их не надо. Спрос на них всегда будет. Поживут немного, а потом вы их сплавите. Мещан все ругают, но спрос на них велик. Они будут в цене еще долго, очень долго…

Мурель собирался, видимо, продолжать, но вошедшему Кумбецкому уже неловко было слушать беседу и он, извинившись, спросил о том, кто хозяин Мастерской Человеков – Латун, кажется? Так вот, где он, и нельзя ли с ним поговорить?

Капелов сказал, что Латуна сейчас нет и что поговорить можно с ним, Капеловым.

– А где Латун? – очень спокойно, по-домашнему, совершенно как свой человек, спросил Кумбецкий. – Не в комитете ли он по делам открытий и изобретений? Хотя я там был недавно, а его я не видел. Кстати, как у вас дело обстоит с патентом: вы уже получили его?

Капелов видел Кумбецкого впервые, но у того был такой спокойный и знающий вид, и такой тон своего, близкого Латуну человека, что Капелов сказал:

– Да, возможно, что Латун в комитете. Пустое занятие ходить туда. Совершенно бесцельное.

– Ну, конечно, – снисходительно сказал Кумбецкий. – Явная потеря времени. Кто там сидит? Ничтожество! Они все еще возятся с этими мешками по перевариванию пищи, причем вряд ли что-либо выйдет из этого.

– Да, – согласился Капелов, разглядывая Кумбецкого, – конечно, трудно сказать что-либо о судьбе этих мешков для переваривания пищи, но так или иначе, безобразия, царящие в комитете по делам открытий и изобретений, нестерпимы. Патента у нас нет и, по-моему, его никогда не будет.

Кумбецкий сделал гримасу подчеркнутого равнодушия и пропел:

– Я не знаю, нужен ли вам вообще патент. Какой смысл в нем?

– Как так не нужен патент? Да ведь мы же не можем развернуть как следует деятельности!

– Деятельности, – иронически повторил Кумбецкий. – Какая у вас тут может быть деятельность? Кому нужны ваши люди? Подумаешь… Вы делаете разное барахло, которого и так в достаточном количестве в любом доме и в любом учреждении. Вы совсем не на том пути, на каком вам следует быть. Великое открытие растрачивается совершенно зря.

– Как так зря? Что вы говорите?

Такова уж была особенность Кумбецкого. Он с первой же встречи становился своим человеком, и с ним говорили и советовались всерьез, как будто делали общее дело.

– Ну, конечно, – спокойно и тоном совершенно незаинтересованным продолжал Кумбецкий. – Кого вы делаете? Кому это нужно? Так всегда бывает в странах капитализма: самые великие открытия обращаются на служение чепухе. Раз вы умеете выполнять людей на заказ, так поставьте дело как следует быть. Поезжайте, например, в СССР, там вы сможете получить заказы на настоящих людей. Там нужны новые люди. Это – действительное дело. Там вы сможете развернуться, делать действительно кого надо. А скажите, пожалуйста, ваше открытие совершенно? Вы действительно умеете делать людей точно по заказу?

Для Кумбецкого такой вопрос был нетипичен. Ему легче было отвечать на вопросы, чем ставить их. Но, по-видимому, это дело интересовало его, и он изменил себе. Его действительно интересовала Мастерская Человеков, и он задавал наивные вопросы. Так во всем мире и умные и глупые люди одинаково наивно спрашивают в магазинах или ресторанах:

– А это хороший товар? Это свежее блюдо?

Как будто приказчик или официант могут хаять тот товар, которым они торгуют.

Капелов воспользовался паузой, последовавшей после вопроса, и еще неясно понимая, но чувствуя, что этому посетителю предстоит крупная роль в жизни Мастерской, сказал уверенно:

– О, вы в этом можете не сомневаться. Латун, который выглядит столь обыкновенно, – величайший человек на земле. Он сам не знает, какое открытие он сделал.

Капелов чуть было не сказал: «Мы не боги, мы ремесленники», – но инстинктом почувствовал, что в данном случае этого нельзя говорить.

– О, – продолжал он, – тайна Мастерской Человеков велика, и этот человек владеет ею с дьявольским совершенством. Даже мы, жалкие подмастерья Латуна, делаем людей безошибочно на любой заказ, изготовляем любые качества, характеры, внешности кого и как угодно. Что же сказать о нем! Если б я не убедился в строгой научности этого дела, я бы думал, что он колдун.

– Да? – спросил Кумбецкий. – Ну что ж, если это так, то тем более вам нужно ехать в СССР. Зайдите как-нибудь ко мне, когда вы будете в Берлине. Я покажу вам кучу советских газет и журналов, вы своими глазами прочтете, что один из главных вопросов в Советской России – это создание нового человека. В самом деле, для чего идет вся великая борьба за коммунизм? Что такое коммунизм, как не мечта о новом человеке на новой земле? Ведь в этом все дело. А если вы можете делать новых людей без, так сказать, особенных затрат, так что может быть прекраснее?! Что вы тут прозябаете, делаете каких-то дураков для гнилой буржуазии? Кого вы до сих пор сделали? Сделали вы хоть одного путного человека?

Капелов почувствовал укол: посетитель позволял себе как будто уж слишком много – ни одного путного человека, это уже слишком. Вот, например, сидит Мурель. Разве он не настоящий человек? Так давать разоряться случайному посетителю Мастерской вряд ли стоит. Надо ему дать отпор.

Капелов открыл было рот, чтобы ответить на дерзость дерзостью, но, взглянув на Муреля, сдержался. Мурель мимикой напоминал ему о тайне. Это было как раз вовремя. Капелов мог бы проболтаться. Кроме того, взглянув на Муреля, он почувствовал упадок. Мурель был так желт, мал, сух и жалок, что фигурировать в качестве доказательства путной продукции Мастерской он тоже вряд ли мог бы.

– Так вы не знаете, когда придет Латун? – спросил Кумбецкий.

Капелов, извинившись за любопытство, спросил, о чем он хочет говорить с ним.

– Вот об этом самом, – просто сказал Кумбецкий. – Я хочу посоветовать Латуну съездить в Москву. Кто знает, может быть, ваше предприятие там развернется во всю ширь. Я как раз состою советским работником по импорту. Конечно, я не могу сказать заранее, что из этого выйдет, но повторяю: нет никаких сомнений в том, что в Москве очень много думают о новом человеке, и заказы вы получите солидные.

– А скажите, пожалуйста, – вмешался в разговор Мурель. – Какова жизнь сейчас в Москве? Верны ли те сообщения, которые появляются в наших газетах, что там сплошной террор, расстрелы и так далее?

Кумбецкий снисходительно улыбнулся:

– Об этом уже скучно говорить, простите меня. Я не знаю, когда надоест буржуазным писакам выдумывать всякую чепуху. Вы же умные люди, вы сами понимаете, что это чепуха. Террор, расстрелы… Сколько лет они повторяют эти басни и не умеют выдумать ничего нового. Но если б даже и были расстрелы, – что вам такое, ведь вы же умеете чинить свои внутренности и зашивать любые раны?.. Ведь вас же всех расстрелял колониальный полковник, и вы живы – чего же вам бояться? Но я шучу, все это сплошной вздор. В Москве, как и во всей республике Советов, делается большое и серьезное дело. А для вас там работы непочатый край, так как, повторяю, ни в одной стране в мире не нужно такое количество новых людей, как там. Кто только не нужен нам! Нам нужны и специалисты, и практики, и теоретики, и инструктора, и ученые, и честные работники, хотя у нас их есть достаточное количество, но все-таки лишний честный человек в большом хозяйстве никогда не помешает. Точно так же, как и умный. У нас, конечно, все администраторы умны. Но, знаете, лишние умные люди тоже помехой не будут. Не так ли? Словом, если хотите сделать дело, так вы можете устроить нечто вроде концессии… Мы никогда концессионеров не убеждаем. Они сами прут к нам со всех сторон. И вас я тоже не убеждаю, поступайте, как хотите. Вы знаете, конечно, что по рождаемости наша страна первая. Уж чего-чего, а народу у нас достаточно. Но мы взяли такой темп, что ускорение создания новых людей нам не помешает. Когда придет Латун, сообщите ему все это. Я нахожусь в вашем городе около двух недель и завтра вечером уезжаю в Берлин. Если хотите, я могу с вами завтра повидаться для окончательной беседы по этому вопросу.

– Хорошо. Пожалуйста, – живо согласился Капелов.

Когда на следующий день Капелов и Латун встретились с Кумбецким, последний заявил им, что он очень торопится в Берлин по делам, и что его ждут там неприятности.

– Какие? – простодушно спросил Капелов.

Кумбецкий, как все хитрые люди, часто бывал откровенен. Да и почему бы ему не быть откровенным? Во всяком случае, государственной тайны не было в его ответе.

– Обычные неприятности, – ответил он. – Жулье всучило нам старую машину вместо обусловленной новой. А наши неопытные товарищи приняли. Безобразие! Сделали бы вы тут перед отъездом партию честных купцов. Вот теперь машину надо спешно обменять. Вообще, с вами надо быть начеку. К сожалению, среди ваших торговых слоев еще распространено мнение, что нам можно всучить всякую заваль. Но самое печальное, что и у нас еще имеются дураки, готовые купить что угодно. Нет, дудки! У меня это не пройдет. Так вот, господа, что касается вас, то я очень советую вам поехать в Москву. А вдруг выйдет дело? Конечно, я бы должен был такой вопрос согласовать кое с каким начальством, но, знаете, если мы, люди инициативы, так сказать, будем советоваться с начальством, далеко не всегда получится то, что нужно. О! Я мог бы вам рассказать много случаев, когда я поступал по-своему, а потом получал одобрение. Ваше же дело простое. Визу вы получите, я вам устрою. Вы поедете в качестве членов какой-нибудь торговой делегации или ученых, или как хотите. Это неважно. Я приеду через некоторое время и, конечно, помогу вам. Почему не помочь? По-моему, ваше открытие может нам принести реальную пользу. Не бойтесь никого, приезжайте прямо в Москву, остановитесь в какой-нибудь гостинице, и все. Достаньте себе документы каких-нибудь ученых: биологов, химиков, чтобы оправдать ваши препараты, свяжитесь с какой-нибудь научной организацией и начните работу.

– А разрешение? Разве в Москве не нужен патент на открытия и изобретения?

– Нужен, конечно, но вы его получите быстро. У нас с бюрократизмом и волокитой разговор короткий. Вообще, к тому времени я уже буду в Москве и помогу вам. Вы не беспокойтесь. Это не первое дело, которое я организовываю. Сколько одних только прекрасных кинофильмов накупил я для Москвы!.. О, я не люблю хвастать, но уж если я берусь за дело – будьте покойны. Никаких историй не будет.

В этом Кумбецком все было как-то очень просто, деловито и ясно.

И Латун, и Капелов, и Мурель отнеслись к нему и к его словам с полным доверием. В самом деле, о Кумбецком не было надобнос-

ти думать плохо. Это был человек как человек. Он хотел принести пользу своей стране, своему государству – разве это предосудительно? По-видимому, никаких задних мыслей у него не было. Иногда только у него бывало, может быть, слишком деловитое выражение лица.

Так или иначе, Кумбецкий не производил плохого впечатления. Наоборот, он вызвал доверие, а его бесцеремонность, простоту, иногда развязность он так умел окрашивать удивительным по спокойствию и выдержке тоном.

– Я вам советую поехать через Берлин – Варшаву на Столбцы – Негорелое, – спокойно и деловито говорил он. – Это самый удобный путь. Есть вагон-ресторан, езда не утомительная. В СССР то же самое. Есть вагон-ресторан, ночевка спокойная, возьмите у проводника белье. В Москву приедете часа в два пополудни, с Белорусского вокзала.

Глава восемнадцатая

Латун колебался – сказать ли Кнупфу о поездке Капелова в СССР или не говорить? Почему-то ему казалось, что Кнупфа это чем-то смутит. Он либо будет возражать, либо сам захочет поехать. Но отпускать Кнупфа Латун не хотел, ведь Кнупф был так полезен здесь.

Но все же не сказать ему ничего было явно неудобно.

Старик, конечно, сказал и был приятно удивлен, что Кнупф сразу же одобрил затею. Он, оказывается, тоже думал об этом.

– Ну конечно, надо искать клиентов, – деловито, как всегда, сказал Кнупф. – Разумеется, надо поехать. Мы ничем не рискуем. У нас тут дело не клеится. Пусть Капелов едет. Если будут заказы, мы как-нибудь справимся без него. Кстати, чтобы не забыть. Надо поторопить Батайля – надо, чтобы он сделал двух-трех ораторов. Вероятно, в Москве они нужны, раз там революция. Капелов сможет их устроить.

Мурель, который присутствовал при этом разговоре, авторитетно сказал, что вряд ли теперь в Москве нужны в большом количестве ораторы. Всем известно, что там делается

дело. Там нужны работники. Он много читал об СССР и хорошо знает это.

Впрочем, он добавил, что хорошие ораторы всюду нужны.

Мурель прививался в мастерской. К нему уже привыкли. Его худое лицо с большими вдумчивыми глазами не было неприятным. Он мало говорил, его интеллект еще никого не угнетал, и к нему еще не успело установиться плохое, настороженное, недоброжелательное и враждебное отношение, каким обычно вознаграждается интеллектуальное превосходство. Нет, к нему еще пока не установилось плохого отношения, и когда Капелов заявил, что он не хотел бы ехать без Муреля, то это не вызвало ничьих возражений. С Муреля только взяли обещание – писать подробно и часто о Москве и работе в ней филиала Мастерской Человеков.

Подготовка к отъезду, однако, показала, что одного Муреля будет мало. И после длинных споров Капелов уехал в сопровождении, кроме Муреля, двух мещан, приспособленца и еще одного специально сделанного человека для черной работы – той, которую Капелов исполнял с самого начала существования Мастерской Человеков.

Этого человека Капелов сделал точно по своему подобию и назвал его Брусиком – по фамилии одного доктора. Мещанам же выписали документы на фамилии Мотоцкого и Лефруа, чтобы было разнообразно.

Приспособленец по случаю поездки в Москву назвал себя Сергеем Петровичем Ипатовым.

Собирались недолго. Но все-таки прошло несколько дней.

Наконец в тихий вечер компания двинулась в путь.

В Берлин приехали утром.

Капелов позвонил Кумбецкому, Кумбецкий пришел в кафе, ласково поздоровался, но ничего особенного не сказал. Да и что он мог прибавить к тому, что им было сказано раньше?

Он пожелал успеха, тон его был, как всегда, спокоен и благоразумен. Между прочим, он сообщил Капелову, что он ведет переписку с доктором Вороновым, который на Юге Франции делает блестящие опыты по омоложению. У него там обезьяний питомник. Он, Кумбецкий, ему тоже советует поехать в Москву. Но,

правда, он на этом не настаивает, – ведь в омоложении москвичи не так нуждаются. Но вот новые люди – о, это другое дело! В новых людях потребность действительно велика.

– Я только недавно, – сказал он, – получил новую пачку газет и журналов. Можно сказать с уверенностью, новый человек – это основная тема, основная наша задача и основное стремление. О, новый человек для нас сейчас все. Кто сможет в срочном порядке создавать у нас новых людей, тому обеспечены и почет, и уважение, и всевозможные льготы.

Капелов с удовольствием посидел с Кумбецким. Он чувствовал одиночество, какое всегда приходится испытывать во время путешествия, и встреча с Кумбецким его заметно подкрепила и успокоила. Кроме того, приятно было сознавать и предчувствовать ту огромную роль, которую ему, Капелову, очевидно, придется играть в Москве.

Кумбецкий спокойно говорил:

– Главное что? Главное – не бояться. Поезжайте в Москву, живите и работайте. Надеюсь, не пожалеете. Заказы будут. Если у вас не хватит денег, сможете получить и аванс под нового человека. Новый человек! О, это единственное, под что еще можно в Москве получить аванс! Когда я приеду, я вам посодействую. Может быть, мы даже построим целый новый город с новыми показательными людьми. Это тоже верное дело. Теперь за новые города мы боремся весьма энергично. Может выйти такое грандиозное дело, какое Латуну и не снилось, когда он набрел на свое открытие!

– А как у вас с доктором Вороновым? – спросил Капелов.

– Не знаю. Он мне не ответил. Он предпочитает сидеть там и вставлять обезьяньи яички дряхлым капиталистическим подагрикам. Но благодаря мне многие другие культурные предприятия развернулись в Москве во всю ширь. Одни только кинокартины чего стоят, которые я рекомендовал… Воронов, повторяю, нам не так уж нужен. Чинить старую рухлядь нам нет надобности. Нам нужны новые люди. Да! Да! Новые люди! Только новые люди! Вам предстоит большое будущее, если вы справитесь с этим делом.

– В каких областях вам нужны новые люди? – спросил Капелов.

Кумбецкий подумал и с той обстоятельностью, которая так понравилась Капелову при первой встрече, деловито ответил:

– Во всех областях. Новые люди, знаете, всюду нужны у нас. У нас, видите ли, нет такой области, которая не имела бы первостепенного значения. Мы страдаем от старых навыков, от старой психики, от старых методов и подходов решительно во всем. Для того чтобы устроить какую-нибудь столовую в доме, общественную прачечную, детские ясли – даже для этого нужны новые люди, ибо это – совсем не маленькое дело, а наоборот, – очень большое. Это – организация общественного питания, это реорганизация быта, это реорганизация воспитания детей. Разве это маленькие вопросы? У нас самые, казалось бы, мелкие вопросы соприкасаются с самыми крупными. О, если б вы могли наладить нам на широких началах производство новых людей, вы бы могли считать себя счастливцами. Вы будете засыпаны заказами. Повторяю, новые люди нужны у нас всюду. Во всех областях работы, во всех учреждениях, во всех начинаниях, во всех институтах. Правда, у нас и так постепенно нарождается новый человек, но темпы, темпы! Имеете ли вы представление о том, какие у нас темпы! В них все дело!

– Ну, а как насчет переделки существующих?

– То же самое. Я думаю, что этих заказов у вас будет не меньше, чем заказов на новых людей. Вы будете засыпаны ими! Только узнают о вашем умении переделывать людей – так начнут водить, только держитесь! Я сам не прочь привести к вам человек двести моих знакомых и соработников…

– Что вы!

– Да. Да. Не меньше. Кстати, я, конечно, не настаиваю, но думаю, что для меня вы будете их переделывать как следует. Не правда ли?

– Конечно. Можете не сомневаться, – любезно обещал Капелов.

Кумбецкий задумчиво продолжал:

– Да, работа предстоит большая! Даже трудно представить себе, что будет, если вам удастся наладить производство новых людей и переделку существующих… Мы еще об этом поговорим в Москве.

Ровно в семь часов от берлинского вокзала Цоо отошел поезд. Из широкого окна раскланивался Капелов, кивали головами мещане – Мотоцкий и Лефруа, – ревностней всех потрясал шляпой приспособленец – Сергей Петрович Ипатов, а всем им с перрона отвечал человек в хорошем костюме, с холеным лицом, но с несомненным налетом деловитости – советский работник по импорту товарищ Кумбецкий.

Все было благополучно. Поезд ушел, пробежал по Германии, по Польше и благополучно доехал до советской границы.

У самой границы произошло маленькое происшествие: один из мещан, а именно Лефруа, ни с кем не попрощавшись, выскочил из поезда на маленькой станции и исчез. Испугался.

Но впечатления бегство мещанина ни на кого не произвело. Другой мещанин, Мотоцкий, авторитетно сказал:

– Пустяки. Напрасно он бежал. Устроиться можно всюду. В конце концов, всюду жизнь. Люди, любящие спокойствие, всегда найдут его. Я уверен, что в Москве ничего страшного нет.

Но его никто не слушал. Приспособленец Сергей Петрович Ипатов познакомился с замечательным человеком, который знал о Москве решительно все. Он мог отвечать на всевозможные вопросы. Таким знанием Москвы старой и новой, Москвы всех времен, в том числе и новой Москвы, редко кто обладал. Для наших путешественников это был клад. Его даже нельзя было назвать живым путеводителем – это было нечто значительно большее. Встреча с этим человеком многое облегчила в трудном деле переезда филиала Мастерской Человеков в СССР.

Очень легко ехать в страну, которую знаешь, о которой писали, быт и нравы которой хоть сколько-нибудь известны. Но в Москве все новое, причем это новое невероятно быстро стареет и заменяется еще более новым, почти каждый месяц зачеркивает многое из предыдущего. Как все это узнать? То, что пишут о быте Москвы, о ее нравах, о ее повседневной жизни – далеко не верно. Об очерках иностранных путешественников и говорить нечего. В них очень уж много неправильностей, кривотолков, благодушного наивного вранья или, что еще чаще, вранья злостного и сознательной клеветы.

Готовясь к отъезду, Капелов и Мурель многое перечитали из того, что написано в СССР. В их бумажнике лежали вырезки, как поступать в том или ином случае, но все-таки послушать живого человека, который столько знает о Москве, – это совсем другое дело.

О, такой человек – это действительно то, о чем даже нельзя было мечтать. Какой молодец этот приспособленец! Кстати, как он изменился!

Он менялся буквально на глазах. Мимикрия была преобладающей его чертой. Пока он ехал по Польше, у него изумительно получались шипящие и свистящие звуки. Небольшие усики его чуть-чуть отросли и как-то по-польски подымались у щек. Он бродил по всем вагонам, знал все порядки и устроил скандал по такому поводу: пассажир третьего класса пошел обедать вместе с пассажирами второго класса. Ипатов потрясал объявлением, в котором говорилось, что пассажиры первого класса должны обедать в час, пассажиры второго – в два часа, а третьего – в три часа.

– Вы должны помнить свое общество! – кричал он на человека в полупотертом костюме, который, будучи пассажиром третьего класса, пошел обедать с пассажирами второго. – Вы думаете, приятно смотреть на вашу физиономию?! Что вы собой представляете? Вы бедный человек! Вы несчастный неудачник! Вы должны знать свое место!

Когда же поезд тихо отошел от пограничной станции Столбцы к советской пограничной станции Негорелое, приспособленец имел уже совсем другой вид. Крахмальный воротничок исчез. На нем был простой синий костюм и голубая рубашка. Волосы его были чуть-чуть растрепаны, нагловатые усики исчезли, а под мышкой появился портфель. Он имел вид обыкновенного хорошего, вполне современного советского человека.

Знаток Москвы, которого он нашел, в Негорелом пересел к ним в купе. Его достаточно пощипали в таможне, но ему удалось спрятать фотографический аппарат, и москвич был счастлив, как ребенок, что обманул таможенных работников. Приспособленец успел так расположить его к компании, что он болтал без умолку, показывал всем спасенный от таможенников аппарат и на все вопросы охотно давал подробнейшие ответы.

Капелов открыл чемодан, незаметно достал оттуда несколько баночек и под видом угощения вином подлил москвичу жидкость, мгновенно развивающую доверие и привязанность.

Жидкость действительно подействовала сразу. Через полчаса москвич чувствовал себя как дома. Ему казалось, что более приятной компании он никогда не видел. Он знакомился со всеми и всем говорил:

– Алексей Степанович Головкин. Очень приятно.

– Ну, какое впечатление производит Москва? – спросил Капелов. – Ведь скоро мы будем в ней. Головкин ответил:

– О, Москва производит очень сложное впечатление. Только ненаблюдательным людям Москва может показаться провинциальной и бедной движением. Москва один из разбросаннейших городов и должна быть причислена к типу наиболее трудных. Москва холмистая, велика, но еще не настолько, чтобы освободиться от своей древней схемы. Кольцевая конструкция Москвы, почти бесплановое нагромождение переулков, узость улиц и проездов – все это чрезвычайно затрудняет движение, распыляет его и вызывает противоречивые впечатления. Но все же о внешнем впечатлении, какое производит на свежего человека Москва, больших споров нет. В конце концов, если не через два дня, то через неделю она перестанет вам казаться тем, чем покажется вначале, после сравнения с Европой. Гораздо труднее усвоить хоть в какой-нибудь мере ее, так сказать, внутренний быт, ибо в этом отношении Москва сейчас едва ли не самый сложный город во всем мире. Тут нужно прямо сказать, что самые опытные наблюдатели не в состоянии хоть сколько-нибудь толково разобраться.

Все переглянулись:

– Как говорит человек!

– А скажите, пожалуйста, оперетта в Москве хорошая? – спросил Мотоцкий.

Капелов возмутился:

– Боже мой, какой вы пошляк!.. Да погодите же, что вы въехали с опереттой? Дайте человеку сказать…

Мещанин замолчал. Чтобы замазать неловкость, Головкин корректно продолжал:

– Да, конечно, есть и оперетта. В ней ставятся разные интересные оперетки. Вообще, в Москве все есть.

– Но, говорят, – светским тоном, совершенно не смутившись от оскорбления, продолжал Мотоцкий, покачивая головой и одновременно ногой, заложенной на другую ногу, – в Москве почти нет уличной жизни? Жизнь, говорят, очень серьезная?

– Да, Москва почти не знает уличной жизни в том смысле, в каком это принято понимать в Париже, в Берлине, в других мировых центрах. В Москве «некуда зайти», чтобы «посидеть». Есть рестораны или закусочные, но почти нет кафе – этого чисто европейского института. В Москве не понимают, как можно зайти в кафе, взять чашечку кофе и сидеть над ним час, два и три, погружаясь в свои мысли, читая газету или разглядывая окружающих. За границей кафе в большинстве случаев заменяет дом. В нем встречаются и по делам, и для личного общения. В Москве же в последнее время даже дома не принято встречаться. С каждым годом все меньше и меньше становится принятым ходить друг к другу на квартиры. В огромном большинстве случаев все встречи происходят в учреждении, на фабрике, на заводе. Конечно, деловые встречи. Но и всякие иные тоже. Дело в том, что заводы, так же, как и всякие учреждения, обрастают клубами, столовыми, читальнями, библиотеками, всевозможными кружками, комнатами для развлечений и специальными комнатами отдыха, в которых запрещается громкий разговор. Все виды духовного общения происходят тут же, в учреждении, и даже театр тоже часто в том или ином виде бывает при крупных предприятиях, заводах, казармах. В Москве, как и во всех советских городах, учреждение живет большую часть суток. До 4-5 часов оно выполняет свои деловые функции, а после начинается жизнь кружков, столовых, клубов и так далее. У нас жизнь серьезна. Фланирование по улицам, конечно, не культивируется. Но в то же время жизнь улицы тоже чрезвычайно богата. Сколько у нас шествий, прогулок, парадов. Мы очень часто манифестируем или демонстрируем, а просто уличных зевак, завсегдатаев и фланеров у нас действительно мало. Это верно. Это у нас не прививается.

– А скажите, пожалуйста, как проходит день в Москве? – спросил приспособленец. – Пожалуйста, расскажите подроб-

но и последовательно. Времени у нас достаточно, а тема очень интересная.

Головкин очень охотно начал:

– Ну, как вам сказать? Я вам буду рассказывать, а вы задавайте вопросы. Ну, утро начинается, как обычно, как во всех крупных городах. Идут рабочие на заводы и фабрики, начинает курсировать трамвай, разные обозы двигаются и так далее. Несколько позже служащие высыпают из домов, толкутся у трамваев, автобусов. Все, как обычно. Но зато внутри – и на фабриках, и в учреждениях – порядки не такие, как у вас в Европе! О, нет! Дело поставлено совершенно иначе. Охрана труда, уважение к каждому рабочему, каждому служащему. Никаких окриков, издевательств, пуканья, подтягивания. Подтягивают друг друга по новым методам: при помощи стенгазеты, различных видов соревнования, агитации, общественного давления. Это – да. Но чтобы мастер орал на рабочего – о, это окончательно вышло из обихода.

– Скажите, а службу получить легко?

– Смотря кому. Какая специальность. Что и как.

– Говорят, очень трудно. Надо иметь протекцию?

– Да, протекционизм у нас был развит и, конечно, сейчас еще полностью далеко не изжит. Долго не могли его вытравить. Всеми способами протаскивали «своих». Были, разумеется, всевозможные хитрости. Чего только не выдумывали, чтобы устроить «своего человека»! Когда перемещали начальника, то с ним переезжала в другое учреждение целая свита. Но сейчас это почти искоренено, не скажу, чтобы совсем, но в значительной мере. Теперь очень трудно стало устраивать «своих». Принимают служащих и рабочих только через биржу труда. Правда, еще сейчас ухитряются обманывать биржу труда. Хитростей раньше было много, но их становится все меньше и меньше. Сейчас единственный способ протащить «своего» – это наделить его редкой квалификацией, не имеющейся на бирже труда. Ясно, что его и пошлют при первом требовании. Например, мой хороший знакомый, директор треста, хотел обязательно устроить на службу брата своей жены. Молодой человек умел только играть на трубе, да и то аккомпанементом. Больше он ничего не умел. Он был на военной службе сигналистом. Ну, как устроить такого на работу в условиях

мирного строительства? Да еще через биржу труда? А директор треста все-таки устроил. При одном из заводов треста была пожарная команда. Ему и пришла в голову счастливая мысль – зарегистрировать брата жены так: «учитель музыки при пожарной команде». Вот! Слыхали вы про такую профессию?.. Разумеется, на бирже труда только один такой и оказался… И когда спустя некоторое время пришло требование на «учителя музыки при пожарной команде», то, конечно, послали брата жены остроумного директора треста… Но если б вы знали, как борются у нас со всякими такими штуками!

Все разоблачается. До всего докапываются. Расправляются беспощадно. Буквально никого не щадят. Ни в одной стране не расправляются так бесцеремонно с преступниками всех видов, как у нас. Знаете, берут самого ответственного работника, черт знает какого влиятельного человека, с колоссальным стажем, с огромными связями, невероятными заслугами и – без разговоров – к чертовой матери, безжалостно снимают с работы, посылают в захолустье, а то и на Соловки или в тюрьму. Да, тут разговор короткий. Ну, и вот, скажите, пожалуйста, есть ли у вас такой друг, товарищ, приятель, сосед, брат жены, племянник, черт, дьявол, из-за которого вы так бы рисковали?

Все хором сказали:

– Таких нет.

Головкин продолжал:

– Да, но прошли уже и те времена, когда у нас наказывали только за воровство, за самоуправство, превышение власти или какие-нибудь серьезные преступления. Малейший неправильный расчет, малейшее подобие бюрократизма, малейшая ошибка – и этого иногда достаточно, чтобы человек полетел вверх тормашками. Протекция! Протекционизм! Хорошенькое дело! Вылетают не только за протекционизм. За что только у нас не вылетают! Иногда, знаете, просто за чуждость. Вот так и говорят: «чуждый элемент», и все. А какая у нас требуется политическая сознательность! Один мой знакомый, прекрасный человек, вполне уважаемая личность, восемь лет проработавший в крупном учреждении, недавно вылетел – знаете за что? За «нечеткое отношение к батрачеству». Затем у нас снимают и просто за то, что человек засиделся.

– Что это значит? – спросил Капелов.

– А ничего. Человек долго работает на одном месте. И хорошо работает, и толково, и честно, а все-таки снять надо потому, что новый будет работать энергичнее, даже если у него меньший опыт.

– Как же теперь приспосабливаться? – спросил приспособленец Сергей Петрович Ипатов. – Подхалимство у вас действует?

– Ну конечно, действует. Где же не действует подхалимство?! Лесть, подхалимаж, прислужничество – все это, конечно, еще в большом ходу. Но тоже, знаете ли, борьба объявлена жестокая. Никого не щадят. Это опасное рискованное дело, примерно как варка самогона. Варить можно, но опасно. Да, подхалимство в наших условиях не только не содействует благополучию, но иногда просто опасно! Иногда, ничего не думая, поможешь чем-либо начальнику сверх полагающейся нормы и, кончено, летишь. Надо на начальство волком смотреть. Но и это не помогает! Тут можно тоже перегнуть палку.

– Значит, очевидно, надо так действовать, – сосредоточенно глядя себе на колени, подумал вслух Сергей Петрович. – Надо сохранить спокойный и независимый вид, делать так, как будто наперекор воле начальства, а в последнюю минуту повернуть… Да? Произнести смелую речь против начальства, а уже в самом конце с пафосом призвать к тому, чего начальство хочет? Да?

– Не могу сказать, – пожал плечом Головкин. – Может быть, это и хорошо, а может быть, и плохо.

– А как с голосованием? – вяло, без всякого интереса к разговору спросил мещанин, положив в рот лепешку от кашля. Он очень боялся простуды. – Ведь надо же знать, за кого руку подымать. Черт его знает, за кого руку подымать! У вас ведь голосуют на каждом шагу. Как угадаешь волю большинства и как угадаешь, за что нужно голосовать? Ведь если не угадаешь, прощай квартирка, уют, покой, благополучие. Ужасно неприятно! Действительно, не прав ли мой товарищ Лефруа, который сбежал перед границей? Как вы думаете? – обратился он к Капелову. – Можно ли будет мне устроиться в Москве? Я ведь не люблю всех этих историй. Для чего все эти мучения? Я хочу пожить по-человечески. Ведь один раз человек живет на свете.

– Да, это трудный вопрос, – ответил Головкин сразу и приспособленцу, и мещанину. – Тут не всегда угадаешь, как держаться. Иногда бывает, что сделаешь что-нибудь, весь коллектив тебя поддержит, а потом он вместе с тобой и отвечает. Да, бывает так, что и весь колхоз отвечает. И завком поддержал, и местком поддержал, и партячейка была за увольнение. Вот одного моего знакомого, молодого парня, уволил директор. А что потом произошло? Подумайте только! Директора сняли, завком переизбрали, местком тоже, и даже партячейку расформировали. Вот вам! А почему? Потому что неправильно было! Несправедливо было! А сколько человек голосовало? Уж, казалось бы, большинство было, и авторитеты все высказались. Нет, у нас трудно, у нас нельзя слепо полагаться на других, надо с собой считаться, со своим сознанием, со своей совестью.

Приспособленец оживленно сказал:

– По-моему, самое правильное при таких обстоятельствах – ни в какую сторону не вылезать, держаться спокойно, ничем особенно не дорожить, не лезть с проектами, не проявлять особенно инициативы, вообще не шуметь. Если выскакивать, шуметь или очень много работать, обязательно будут ошибки, и кто-нибудь ими обязательно воспользуется и полезет на голову. Нет, самое правильное – это спокойно и с достоинством по возможности мало делать, ни на что не решаться. Говорят тебе – делай то-то, надо подумать и сказать: да, пожалуй, это правильно. Говорят – не делай, то же самое – не делай. Как вы думаете, это будет хорошо?

– Да! Это, конечно, осторожная тактика, – сказал Головкин, – но и она не всегда вывозит. У нас отвечают не только за то, что сделано. Отвечают и за то, что не сделано. Активность у нас на первом плане. В различных приговорах, выговорах, упреках и обоснованиях всяких репрессий так и мелькает, так и мелькает: «не приняты меры в том-то и в том-то», «обвиняемый не позаботился, ни разу не созвал, ни разу не предупредил». Особенно часто упоминается «не учел». А если и учел и кое-что сделал, но недостаточно, то упрекают так: «ограничился устройством одного собрания» или «ограничился устройством пяти собраний». Если написал, то «ограничился тем, что отписался», «бюрократическая

отписка». О, нет, осторожность, связанная с бездействием или недостаточным действием, очень редко спасает!

– Ну, а если есть ошибки?

– Насчет ошибок у нас особые условия. В одном случае у нас жестоко наказывают за малейшую ошибку, а с другой стороны, очень часты случаи, когда человеку стоит сказать: «признаю свою ошибку», как ему сразу все прощают. Знаете, это прямо поразительно! Нигде нельзя наблюдать ничего подобного! С одной стороны, многое построено на контроле, на доверии. Отчет, переотчет, малейшая справка – за двумя подписями и так далее, и так далее. А тут человек натворил делов, черт знает как напутал, даже навредил, но заявляет: признаю свою ошибку, отмежевываюсь от того-то и того-то, от таких-то своих взглядов, от таких-то своих действий, – и кончено. Ничего ему. А все почему? Потому, что человек работает по совести, по убеждению. Вот дельца никто никогда не простит. У нас делячество – самое тяжкое обвинение.

– А что такое делячество?

– Как вам сказать? Это даже трудно объяснить. Есть разные дельцы. Иногда под дельцом понимают стяжателя, хищника, который работает для себя, для своей пользы, для того чтобы что-нибудь урвать в суматохе. Но под делячеством понимается и другое: когда работник забывает о главных целях работы, о социализме, а увлекается делом как таковым. Он суетится, строит, увлекается хозрасчетом, расширяется без плана и так далее. Это своего рода искусство для искусства. Ведь дело увлекает! А иногда бывает и делячество оппортунистическое, то есть развитие дела в угоду временному, в ущерб конечному. На этой почве у нас бывает много трагедий. Кинется человек в работу, черт знает какую разовьет энергию, себя не щадит, ночей не спит, наворачивает невероятное. Огромный штат, подсобные учреждения, прибыль, балансы – что-то невероятное! – а ему говорят, что все это не нужно, что это делячество, что это не приближает нас к социализму, а отдаляет… Иногда же – наоборот – самое энергичное развитие предприятия считается недостаточно деловым, надо еще энергичнее, живее, плодотворнее; вводятся социалистическое соревнование, ударные темпы, премии, поощрения, на-

граждения. Почему? Потому, что это не делячество, а дело. Да, дело. Оно приближает нас к социализму.

– У вас очень трудно, – сказал мещанин и проглотил еще одну лепешку от кашля.

– Смотря кому.

Но приспособленец не занимался лирикой. Он пытливо расспрашивал москвича все о том же: как приспособиться к московским условиям, как сделать карьеру. Он угостил москвича еще стаканом вина, в которое опять незаметно влил несколько капель оживляющего эликсира, проясняющего мозг, память и вызывающего желание говорить.

– По-видимому, – сказал он, – все-таки особенно деловой фигурой вряд ли стоит у вас быть. Гораздо лучше выдержать упрек в слабой деятельности, нежели в чрезмерной. Последнее как-то принципиально обиднее.

– Не думаю, – сказал москвич. – К бездеятельности или к пониженной деятельности у нас относятся очень сурово. Саботаж, саботирование – это одно из серьезнейших обвинений.

– Да, пожалуй, – вдруг оживился приспособленец, – действительно, революция и бездеятельность – это трудно совместимо. Тогда, может быть, так. Может быть – реорганизовать? А? Раз живешь в революционной стране, надо все перестраивать, про все говорить: не то, не так. Надо быть смелым! Надо все видоизменять! Не давать ничему застаиваться! Как вы думаете, на этом можно карьеру сделать?

Головкин с неиссякаемой словоохотливостью отвечал:

– Можно, конечно. На чем только у нас не делали и сейчас еще не делают карьеры! Но повторяю: все разоблачается, все легко и быстро разгадывается. На этой мнимой революционности, конечно, пытались сделать карьеру многие. Некоторым даже удавалось достигнуть большого положения, но оно было очень непрочно. Их разоблачали и разоблачают легко и быстро.

Головкин рассмеялся и продолжал:

– Почему-то в примитивных формах такими реорганизациями любят заниматься учрежденческие завхозы и разные коменданты. Они очень любят переселять отделы. Есть такие учреждения у нас, где буквально каждую неделю тащат столы и шкапы

с одного этажа на другой. Они строят перегородки, путают, никого никогда нельзя найти. Но это, впрочем, делается не для карьеры – просто нужно оправдать жалованье, показать, что человек что-то делает. Они любят напоминать о себе. Они любят также устраивать игру с воротами. Ходят люди в такие-то ворота – вдруг надпись: вход с переулка, через двор, через другую улицу, через крышу, через погреб – будь они прокляты, чего они только не придумают! Но это, конечно, мелкота. Гораздо вреднее более крупные демагоги-реорганизаторы и мнимые революционеры. Их разоблачают не так быстро, но все-таки разоблачают. Они главным образом все сливают. Их лозунг – «слить». Что слить? Почему слить? Конечно, иногда это нужно, но они это делают большей частью тогда, когда не нужно! Как только появляется на работе такой тип, так и начинается «сливание».

Алексей Степанович вдруг замолк. Он заметно изменился в лице. Ему как будто нехорошо стало.

– Что с вами? – спросил Капелов, все время так же, как и Мурель, внимательно слушавший москвича.

В его вопросе была легкая тревога: уж не много ли москвич проглотил капель, развивающих доверие, желание говорить и сильно возбуждающих память? Если он расклеится тут же в вагоне, а это было возможно – капли были острые и действовали на сердце, где тут с ним возиться, спасать его и чинить!

Но, к счастью, Головкин почувствовал себя лучше.

– Продолжайте, – попросил Сергей Петрович. – Вы так еще мало нам рассказали о московской жизни. Скажите, пожалуйста, как же все-таки держаться, чтобы преуспеть? Быть в дружбе со всеми годится?

Глава девятнадцатая

Головкин подумал и сказал:

– Вы спрашиваете, хорошо ли быть в дружбе со всеми. Конечно, лучше, чем ссориться, но многого и это не дает. Будете работать в учреждении, вам нужно ладить с правлением, с месткомом, с ячейкой, с экономкомиссией, с комиссией по рационализации,

с производственной комиссией, с рабочим советом, с легкой кавалерией, с разными бригадами, с партийцами, беспартийными. Это ведь очень трудно. Не знаю, как вам это удастся. Но если б даже и удалось, – ничего не выйдет. Скажут, что у вас нет лица. Таких у нас не любят. В самом деле, разве можно дружить со всеми? Разве у нас в учреждениях нет классовой борьбы? Она пока еще не изжита. Дружить со всеми – это значит смазывать углы. Это опасно, не говоря уже о том, что это невозможно.

– Ну, а если не дружить со всеми, а просто быть добрым? По возможности не отказывать в просьбах, успокаивать, помогать чем можешь. Неужели и это не может дать положения?

Головкин улыбнулся:

– Вряд ли. Это беспринципность. Что такое доброта? Если быть добрым ко всем, – вас заклюют. Надо проявлять революционную твердость. Если требование законное или там просьба какая-нибудь – пожалуйста. Тут никакой доброты не нужно. Доброта ведь и начинается с того места, где она не совсем или вовсе не желательна. Нет, в лучшем случае у вас будет репутация дурака, а то и просто упекут куда-нибудь.

– Тогда, пожалуй, ориентироваться на злость?

– Возможно, – сказал Головкин. – Но и злостью ничего не сделаешь. Один мой товарищ так пытался работать. Ему никого и ничего не было жалко. Чуть что он говорил: «Пригласить РКИ и расследовать». Провинился кто-нибудь, хотя бы по пустякам, он коротко бросал: «произвести следствие», «сообщить ГПУ» и так далее. Ну, и что же вы думаете? За короткое время накопилось столько дел, что его назвали сутягой и бездушным формалистом и сняли с работы. А…

И тут опять с Алексеем Степановичем стало плохо.

Но хуже, чем раньше. Он откинулся на спинку скамьи и начал выкрикивать:

– Делячество! Протекционизм! Кумовство! Комчванство! Бюрократизм! Административный восторг! Бесхозяйственность! Не учел! Перестарался! Казенное рвение! Казенное благополучие! Засиделся! Не сумел остро поставить вопрос! Отчитался! Отписка! Бюрократическая отписка! Смазывание углов! Демагогия! Нечеткая линия! Не согласовал! Спецеедство! Спецовский фети-

шизм! Лжеспециалист! Нейтральность! Отсутствие широкого кругозора! Нарушение линии партии! На руку частнику! Просчитавшийся! Вопреки рационализации! Боязнь выдвиженцев! Удушение самокритики! Не сумел создать обстановки! Создал тяжелую атмосферу! Не сгруппировал вокруг!

– В чем дело? – вскочил Капелов. – Дайте мне зонд! Зонд скорее! И закройте дверь!

Но Алексей Степанович, как бы защищаясь, протянул вперед руки и опять стал выкрикивать, закрыв глаза и выпятив губы:

– Саботаж! Царила атмосфера! Нарушил директивы! Деловая отсебятина! Непонимание конкретности задач! Ограничился! Игнорировал массы! Не сумел! Оттянул! Оттяжка! Прожектерство! Узость! Бесплановость! Отсутствие инициативы! Угождение начальству! Выслуживательство! Подхалимство! Канцелярская волокита! Чиновничество! Центризм! Невнимание к местным нуждам! Бумажное производство! Чиновнический подход! Вредительство! Загнивание! Связь с частником! Подозрительное окружение! Разложившийся! Создавание иллюзий! Нет срабатывания с пролетариатом! Беспочвенный оптимизм! Подхалимаж!

Он перевел дух и продолжал выкрикивать в более быстром темпе:

– Мелкий подхалимаж! Карьеризм! Игнорирование общественности! Индифферентное отношение! Неувязка! Не увязал! Замкнутый круг! Упрощенчество! Схематизм! Расхлябанность! Склочничество! Доносительство! Междуведомственная борьба! Не принял меры! Несвоевременно! Не оценил! Недооценил! Забегание вперед! Хвостизм! Отставание от темпов! Не понял задачи! Не дорос до понимания! Предал интересы рабочего класса! Оторвался от масс! Шкурник! Паразит на теле рабочего класса! Потребительская психология! Оппортунизм! Кулаческий подход! Кабальный договор! Жертва частника! Дезертир трудового фронта! Неумелое руководство! Неустойчивость! Превышение власти! Не было руководства! Неактивный! Хищнический подход! Глупость! Заблудился в трех соснах! Начальнический тон! Начальственный дух! Преследование рабкоров! Боязнь общественности! Психология обывателя! Стяжательство! Использование положения в личных целях! Не оправдал доверия рабочего клас-

са! Не использовал положения! Дискредитировал революцию! Дискредитировал партию! Педантизм! Учредительство! Не сумел поставить! Не сумел воспитать! Втирал очки! Втерся в доверие! Казенный отчет! Формализм! Формальный подход! Формалистика! Бездушный формализм! Фразеология! Правый уклон! Левая фраза! Левый загиб! Фантазерство! Дефицитность! Отсталость! Допотопные темпы! На словах, а не на деле! Расточительность! Расточение народных средств!

Все внимательно слушали. Но все же раздавались голоса:

– Что с ним?

– Капли подействовали.

– Может быть, еще дать ему? – спросил Мурель, особенно заинтересовавшийся выкриками москвича.

– Нет, – твердо сказал Капелов. – Не надо. Он и так все выпалит. Его память мобилизована. Он обязательно вспомнит все, что относится к данному вопросу, а именно – недостатки, за которые советская власть упрекает плохих работников своего аппарата. Тише, он будет продолжать.

Действительно, отдышавшись, Головкин продолжал:

– Издевательство над режимом экономии! Кустарничество! Кустарный подход! Доморощенные методы! Со своей колокольни! Семейный подход! Непонимание задач! Недостойно рабочего класса! Не признал ошибок! Не выровнял линии! Предательство! Предал интересы рабочего класса! Предал интересы революции! Предал интересы партии! Отсутствие здравого смысла! Параллелизм! Всезнайство! Безграмотность! Белоручка! Интеллигентские шатания! Мелкобуржуазный подход! Меньшевизм! Неумение подобрать людей! Слепое доверие! Мягкотелость! Отсутствие выдержки! Отсутствие большевистской выдержки! Путаник! Путаная психология! Несмотря на предупреждения! Поддался на удочку! Начальственная слепота! Увлечение хозрасчетом! Обрастание! Раздутые штаты! Внутренняя борьба! Служебная ревность! Нездоровая атмосфера!

Он опять замолк, чтобы передохнуть, и Мурель спросил:

– Скажите, пожалуйста, это все – более или менее типичные упреки, это типичная квалификация отрицательных черт советских работников?

Головкин хотел ответить, но успел только подать рукой знак, что он ответит попозже. Его опять отбросило на спинку дивана, и он опять стал выкрикивать:

– Чиновничье самолюбие! Порадеть своему человечку! Свой человек! Ставленник! Продвижение своего! Заглушение инициативы масс! Игнорирование запросов! Не улучшил качество продукции! Не снизил себестоимость! Узость! Заоблачное витание! Нереальная политика! Работа впустую! Холостой ход! Неподчинение центру! Хаотичность! Беспорядочность! Нечеткая работа! Приспособленчество к рынку! Вульгарный практицизм! Зажим! Зажим самокритики! Зажим общественности! Зажим инициативы! Невежество! Разгильдяйство! Дутый баланс! Деловой импрессионизм! Чрезмерная напористость! Грошовая политика! Срыв! Отсутствие перспективы! Нет квалификации! Неорганизованный! Переписка! Цифры с потолка! Не уточнил! Не учел важного момента! Не проработал вопроса! Недоработал! Неисполнительный! Не сделал заявки! Действовал без сметы! Общественно не проработал плана! Верхоглядство! Зарывание в грандиозных планах! Деловая несостоятельность! Растратчик! Примазавшийся! За тетенькин хвостик! Головотяпство! Благополучничество! Выметать железной метлой! Вредители!

– Ну, теперь вы кончили?

– Как будто.

Капелов дал ему выпить раствор, ликвидирующий действие ранее принятых капель. Алексей Степанович отдышался, радостно улыбнулся и ответил, наконец, Мурелю:

– Да, это упреки нашим плохим работникам.

– Не может быть! Неужели же они заслуживают такого количества отрицательных и позорных кличек?

– По-моему, еще больше. Я перечислил далеко не все.

– Как же вы существуете?

– Ничего. Хорошо существуем. Что же вы думаете, если бы все у нас было идеально – мы бы одним дуновением опрокинули весь капиталистический мир? Но в том-то и дело, что и у нас люди как люди, люди с тем же проклятым наследием прошлого, со старой кровью, старой рабьей наследственностью. Мы должны строить социализм и одновременно переделывать себя, ре-

шительно переделывать, в корне, начиная с деталей и кончая главным. Мы беспощадны к себе. Мы не скрываем, не «замазываем» ни одного недостатка. Прежде всего и решительнее всего мы боремся с лицемерием, ханжеством и лжепатриотизмом. Да, мы не скрываем своих недостатков, мы наоборот, – раздуваем их, мы поднимаем крик часто по незначительному поводу. Вот почему со стороны, судя по нашим газетам, по работе РКИ, судам, контрольным органам и прочему, может показаться, что у нас сплошные отрицательные явления. Знаете, мы так строги к себе, что на положительных явлениях как-то не принято останавливаться. Когда у нас говорят даже о вполне уважаемом безупречном работнике, то типичным следует считать такой оборот речи: «Товарищи, на положительных сторонах его деятельности не будем останавливаться – это ясно всем. Но вот не ошибался ли уважаемый товарищ, когда он делал, говорил, писал то-то и то-то». Вот такая речь характерна для нас. У вас, на Западе, совсем другое. Все знают друг про друга – кто вор, кто жулик, кто злодей, какие кому удались авантюры, комбинации, хитрости, стяжательства. Знают, но ничего сделать не могут. Не пойман – не вор. Все друг другу дают взятки. Фабрикант знает, что его управляющий крадет, но он не мешает ему. У вас считается обычным воззрение – пусть крадет, но дело делает. И в самом деле, глуп тот фабрикант, который будет думать иначе. Ну, управляющий покрадывает, но зато он лучше выжимает соки у рабочих, лучше «ведет дело». Фабриканту было бы менее выгодно, если бы управляющий довольствовался одним жалованием, но прибавочная стоимость была бы меньше, то есть рабочие были бы хуже ограблены. Вы никак не составите такого списка упреков, воспитательных и репрессивных ярлыков, какой существует у нас.

Алексей Степанович другим тоном, значительно спокойнее и жестче, сказал:

– У вас кто? Воры всех формаций, эксплуататоры, фабриканты, локаутчики, лавочники, реакционеры, империалисты и их лакеи, слуги, прихлебатели, трусы, эгоисты всех сортов и оттенков, мелкие грабители и шкурники. Затем нужно еще добавить следующее: когда у нас говорят «шкурник», то это еще не значит, что он

шкурник до конца. Это значит, что пожадничал человек, поддался слабости, повысил себе заработок, урвал что-то где-то и так далее. Причем еще одно замечание: от всех ярлыков, которые так обильно расточаются у нас, можно освободиться. Нет буквально ни одного, которого нельзя было бы искупить. У вас же самое положение, самый строй делают невозможным изменение социального содержания позорного ярлыка. Согласитесь: когда у нас ругаются «буржуй», то это ругань, указывающая на неизжитую психику, внешность или отдельный поступок буржуазного характера. У вас же «буржуй» реальный, подлинный буржуй, в полном своем «величии»...

Мурель достал записную книжку и начал что-то записывать.

Мещанин Мотоцкий выплюнул конфету от кашля и сказал:

– Однако надо обедать. Пойдемте.

Глава двадцатая

Обед был беспокойный. Все уселись за двумя столами. Внешне все это выглядело весьма обычно – ресторан-вагон, люди сидят за столиками, белые скатерти, перед каждым стоит прибор, беседа протекает тихо, как у всех заграничных людей. Несколько возвышается только голос москвича, но и это в пределах вполне приличных.

На самом же деле обстановка была чрезвычайно беспокойная, и Капелов был озабочен больше, чем когда бы то ни было. О, да, ему предстоят трудности. Его работа в Мастерской Человеков, взаимоотношения с Латуном и остальными – все это детская беспечность по сравнению с тем, что ему предстоит. Он чувствовал себя как человек, взбирающийся на очень высокую и крутую гору. Его пугала неизвестность. Как он ни старался представить себе хотя бы самое ближайшее будущее – ничего не получалось.

Как быть с Мастерской Человеков?

Каких людей делать в Москве?

Как быть с заказами?

Кумбецкий говорил, что СССР нужны новые люди.

Хорошо. Но как их делать?

Вот только первое соприкосновение с советским воздухом, – и уже тяжелая голова. Новый человек! Шутка ли? Какими качествами он должен обладать! От одного только перечисления части недостатков, какое сделал Головкин, можно с ума сойти! Кстати, надо бы записать их! А то будешь делать нового человека – вкатишь ему что-либо из перечисленного, и работа пропала. Уже не новый человек, а старый. Заказ не примут!

Трудное дело!

Но лучше не думать пока об этом!

Капелов глубоко вздохнул и посмотрел в широкое окно. Летели советские поля, леса, деревни. Все это, казалось, тоже думало. Русские просторы всегда кажутся задумчивыми. Это старое наблюдение. Капелов тоже знал это из книг, но все-таки это волновало его. В просторах было беспокойство, неиспользованные возможности, досада, грусть, молчаливый вопль: эх, долго с нами ничего не делали! Да делайте же с нами что-либо, черт вас побери! Ведь мы так богаты, так могучи!

Поезд остановился на маленькой станции. Небольшой станционный домик. Грязновато. Озабоченно. Серо.

Из багажного вагона ловкие людишки тащат пачки газет. Ишь, как подпрыгивают, как суетятся!..

Это – новое. Девушка в красной косынке. Очень миловидная. В пальтишке. Платье короткое. Нитяные чулки. Скромные ботинки. Но какая здоровая, какая цветущая! Ей на ходу что-то с подчеркнутой небрежностью говорит парень. Так, по-видимому, полагается: не выказывать «интереса». Парень тоже ничего – крепкий парень.

Да, по-видимому, это в какой-то степени новое. Надо будет исследовать, из каких элементов состоит советская молодежь.

– Запишите, пожалуйста, – обратился Капелов к Мурелю, – «исследовать советскую молодежь».

Мурель записал.

Капелов продолжал рассматривать станцию. Поезд тронулся. Опять поля, леса, деревушки.

Капелов задумался.

Думали и остальные. Думал и Мурель. Уставился в угол вагона и о чем-то думал приспособленец.

Только мещанин Мотоцкий был весьма оживлен. Ему понравилась женщина, обедавшая за соседним столиком.

Она была советской гражданкой, и хотя она не ехала из-за границы, но была одета щеголевато, резко отличаясь этим от других пассажирок. На ней было сравнительно богатое платье, серьги, большие кораллы, губы ее были накрашены, лицо напудрено, ногти наманикюрены.

Это была, по-видимому, жена или дочь нэпмана или зажиточного специалиста.

Мотоцкий ей тоже явно понравился. Само собою вышло так, что они разговорились. Она, видимо, была очень довольна знакомством с красивым иностранцем, настоящим иностранцем, едущим прямо из-за границы, в хорошем костюме, с шелковым платочком в кармане, модно одетым. Он изящно отогнулся на своем стуле, опираясь на его спинку, и беседовал с женщиной.

Капелов хотел послушать, о чем они говорят, но ему мешал Мурель.

Мурель был бледнее и худее обыкновенного. Он стал еще впечатлительнее, чем был. В глазах его часто светилась мука. Капелову неловко было остановить его, когда он заговорил.

– Что мне делать? – вздохнул он. – У меня очень странное ощущение и часто – очень тяжелое. Мне кажется, что я был в разных местах, очень много видел. Мне кажется, что я знаю множество людей, что я бывал в разных странах, что со мной происходили всевозможные случаи… Что вы со мной сделали, когда создавали меня? Что вы влили в меня такого? Я чувствую невероятную перегруженность всякими образами, фактами, событиями. Для чего мне это?.. Мне кажется, что у меня было какое-то детство, затем юность. Правда, это мне кажется призрачным, но часто я сам начинаю верить в это. Ведь вы же знаете, что у меня ничего этого не было, и я тоже хорошо помню, как я появился на вашем грязном верстаке, с того момента, как начало работать мое сердце…

Капелов внимательно выслушал его и сказал:

– Ну и что же? Очень хорошо, что вам так кажется. Вы мне как-нибудь расскажите, какое у вас было детство, юность и все остальное… Это интересно. А то, что вам кажется это призрачным, то вообще всякое прошлое кажется призрачным всем людям, у кото-

рых действительно были и детство, и юность, и которые бывали в разных странах и переживали всякие события. Таково свойство человеческой памяти. Пережитое вспоминается, как сон, и утрачивает всякое реальное ощущение. Все это знают. В этом нет ничего особенного. Даже самые яркие любовные и иные переживания очень скоро в нашей памяти начинают жить смутными, призрачными представлениями. Так что вы ничем не отличаетесь от других людей, и это очень хорошо. Это говорит за то, что я вас правильно сделал! Ссылайтесь почаще на всякие факты из вашего мнимого прошлого, и никто не будет подозревать, что вы родились недавно на моем, как вы говорите, грязном верстаке…

Мурель продолжал:

– Вот я смотрю на нашего мещанина и на эту женщину, вполне подходящую к нему, и мне кажется, что я их видел столько раз!.. Ведь ее я вижу первый раз в жизни, но мне кажется знакомой, бесконечно знакомой каждая черточка на ее лице, каждое движение, вот эта поганая складка на ее губах, вот эта никчемная пустота всего ее облика. Мне кажется, что скука, излучаемая ею, так давно знакома мне. Мне кажется, что я видел ее дома, в буднях, когда она не будет так сладко улыбаться, как сейчас, а будет орать, как животное, из-за разбитой тарелки или плохо выглаженной юбки. Мне кажется, что я видел ее голой, полуодетой, плачущей, сытой, смеющейся, утомленной, веселой, танцующей, спящей – черт ее душу знает какой! – словом, во всех видах, и одинаковую скуку вызывает она во мне. А эта рожа нашего мещанина? Где только я не видел ее! Ведь я только недавно его узнал, но мне тоже кажется, что я жил с ним пятьдесят лет в одной комнате!.. Как он мне надоел! Как он мне противен! Почему вы ему сделали такие хорошие зубы, такую плотную резиновую морду, такие хорошие волосы, широкие плечи?! Зачем это? Почему вы сделали меня таким хилым и несчастным, а эту сволочь такой красивой? Один цвет лица этого пошляка чего стоит?!..

Капелов ничего не ответил Мурелю. Что он мог ему ответить?

В самом деле, вид у мещанина был пошловатый, но с другой стороны, в нем не было ничего особенного: с виду человек как человек. Глаза ясные, радужная оболочка красивая. Что-то в нем было даже приятное. Но вот он хочет что-то сказать, губы откры-

ваются, и от этих губ к глазам, к носу, к волосам, к плечам, к рукам и ко всему окружающему бежит весть, что это ничтожество, что это приниженный неполноценный человек, бедное существо, мещанин, что у него бедная духовная жизнь, приниженные мизерные требования.

Что такое вообще мещанство?

Капелов задумался.

Об этом же думал и Мурель... Минут десять молчали оба. Затем Мурель сказал:

– Что такое мещанство? По-моему, это стабилизация на низинах духа. Это – довольство в неустроенном мире, в котором для довольства не должно быть места. Когда говорят о мещанстве, я вспоминаю арестанта-уголовника, которого я видел в тюрьме. Он жил в тюрьме – подумайте, в тюрьме! – размеренной довольненькой жизнью. Подумайте – в тюрьме! Вы знаете, что я сидел в тюрьме, я видел его, и меня возмущала аккуратность, с какой он заворачивал в бумажку свой кусочек мыла, с какой расчесывал гребенкой свои жидкие усики. Аккуратность, похвальная в других случаях, здесь была отвратительна. Отвратительно было видеть, как он ел со смаком и полным довольством жалкую тюремную бурду.

Он выходил на тюремный двор и садился на солнышко, поджав по-турецки ноги и закрыв глаза. Он округлился в тюрьме. Для меня это – прообраз мещанства. Точно такое впечатление производит жизнь французских рантье, немецких бюргеров и всяких иных обывателей во всем мире. Человеческая мысль, вечно бурлящая, вечно бунтующая, не прощает спокойствия, размеренности и какого бы то ни было довольства в тюрьме или же – это все равно – в обстановке социального неравенства, в атмосфере насилия, в гнусной атмосфере человеческой эксплуатации и власти человека над человеком, то есть, в конце концов, в той же тюрьме. Покуда не устроен мир, всякое довольство и всякая спокойная жизнь, всякая размеренность быта отвратительна и жалка, как затхлое довольство упомянутого мною арестанта в тюрьме. Как с этим бороться? Был случай, когда анархист бросил бомбу в европейское кафе, в мирное стадо людей, лениво и спокойно потягивающих кофе. Конечно, это бессмысленный акт, но психологиче-

ски он понятен. «Не сидите, не прозябайте, не потягивайте кофе, не ублажайте желудка, когда вокруг слезы и страдания! Не смейте быть нейтральными, когда идет беспрерывная социальная война!» На войне отвратно «мирное население». Ему обычно достается от тех и других. А для человека, подлинно потрясенного ложью, черной неправдой социального порядка капиталистических стран, отвратно это спокойствие мирных человеческих стад, этого обывательского быдла, одинакового во всех странах, во все времена и эпохи. Оно, это быдло, хочет есть, пить, спать, любить и прозябать с сытым желудком. Из-за них, этих тяжелых миллионных, может быть, миллиардных камней на ногах истории, затягиваются все исторические процессы, обостряются и часто делаются трагичными все попытки улучшить жизнь, сделать ее справедливее и радостнее. Мещанство заполняет мир и давит его своим безмерно жестоким неподвижным однообразием. Разумеется, оно не всегда спокойно – мещанство. Оно бывает и воинственно, когда лишено возможности спокойно прозябать. Оно огрызается, хрюкает и обнажает клыки, когда его оттягивают от корыта. Ведь мещанству безразлична власть, социальный порядок. Ему нужны самые основные условия растительного, животного существования, и при наличии их оно будет спокойно. Ему все равно. Ему бы только есть, пить, спать, любить и спокойно прозябать. В СССР, говорят, бьют мещанство. Да. Надо неустанно бить его поганую морду – до последнего издыхания. Но главная борьба с ним – это борьба за новую жизнь, за более справедливую, за социализм. Чем скорее осуществится социализм, тем скорее по тускнеет мещанство, уйдет его отвратная личина. Из всяких клевет на социализм наиболее ядовитой считается та, что при социализме все будут мещанами. Это, конечно, вздор. Именно мещанский вздор. Уже заранее смеются над плановостью и размеренностью социалистического благоустройства. Все, мол, будет по карточкам. И любовь, и солнце, и воздух. Но не всякая размеренность – мещанство! Нет, не всякая! Пусть все получают все блага, хотя бы по карточкам! Если будут получать все, то это уже не будет мещанство. Это уже не будет спокойное житие среди слез и страданий. Следовательно, это уже будет не то мещанство, которое мы знаем и ненавидим. Может быть, это будет какое-то

другое, новое мещанство? Не знаю. Не будем загадывать. Когда осуществится социализм, человечество пойдет дальше. Пока, повторяю, под мещанством я понимаю благополучие среди несчастья, пир во время чумы, даже не пир, а тихое спокойненькое существование среди слез и горя. Пока это есть – я не приветствую (ибо это жестоко и бессмысленно), но понимаю бомбу анархиста, брошенную в первое попавшееся кафе. Да, понимаю, ибо мещанская «нейтральность» или свиная активность, то есть хрюкающее огрызание за нарушенный покой, – отвратно.

Капелов молчал. Ему было приятно и интересно слушать Муреля – он никогда не жалел, что влил в него эликсира интеллектуальности больше нормы. Его чуть смешило, что Мурель был в тюрьме, был во Франции, где видел французского рантье, но он не смеялся даже внутренне. Он не мог понять, как и откуда появились в мозгу Муреля всевозможные мысли, образы, логические построения. Затем, в этом Муреле было столько искренности, пафоса, горячей тяги к справедливости, к социализму! Как хорошо, что получился именно такой человек! Капелов уже привык к неожиданностям в работе по деланию людей. Обычно он не удивлялся им, как не удивляется, например, пекарь обильному припеку, но все-таки «припек» мог получиться и иной.

Особенно он был рад тому, что Мурель ненавидит мещанство. Он и сам ненавидел его во всех проявлениях, во всех видах, оттенках, под любым прикрытием и под любой окраской. Как же так вышло, что он создал Мотоцкого? Этот Мотоцкий оказался махровейшим мещанином. Как это вышло? Был заказ на «положительного, честного, обыкновенного порядочного» человека, но вот хорошенький «положительный, честный, порядочный» человек получился…

Капелов с отвращением смотрел, как Мотоцкий любезничал с женщиной. Какая техника!.. До чего она одинакова во всем мире… Откуда они узнают ее?.. Мотоцкий мечтательно вскидывал зрачки, кривил рот в «очаровательной» улыбке, покачивал ногой, говорил неестественным голосом и все напевал мелодийки своих излюбленных романсов – пошлейшие мелодийки…

Здесь, в СССР, на фоне советских пассажиров, советских граждан он выделялся. Правда, нельзя сказать, чтобы он был один –

мещанские рожи в достаточном количестве бросались в глаза со всех сторон даже тут, в ресторан-вагоне, но он все же выделялся своей непосредственностью, советские мещане хоть до некоторой степени старались замаскировать свою сущность внешним обликом. Этот же принимал одну открыто пшютовскую позу за другой и откровенно пошло болтал с женщиной.

– Ненавижу… – угрюмо пробурчал Мурель.

– Да, гнусно… – согласился Капелов.

Но он был уже занят своим волнением. Он опять мучительно захотел записать что-то… О мещанстве. Да. О мещанстве. Обязательно о мещанстве. Он хотел это сделать сейчас, не откладывая. Он вспомнил какие-то давние свои блуждания по кабачкам, где собирается богема: там особенно ненавидели и проклинали мещанство. Что-то сжимало его грудь, желание писать казалось непреодолимым, и он достал из кармана лист бумаги, взял у Муреля карандаш и тут же, за столом, написал нечто под названием «Окончательный разговор с мещанством».

Никто не обращал на него внимания и не мешал ему.

Головкин все еще беседовал с Ипатовым, приспособленцем. Мотоцкий не прекращал разговорного флирта со своей новой знакомой. Мурель хмуро сидел, откинувшись на спинку стула, мрачно думал, бросая на мещанина взгляды, полные ненависти.

Двойник же Капелова, Брусик, тихо смотрел в окно, поддаваясь оцепенению вагонной скуки.

Капелов, волнуясь значительно больше, чем когда он писал другие свои «стихи», написал следующее:

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С МЕЩАНСТВОМ

Кто не ругал вас, мещане?
Кто не проклинал вас?
Это делали все – и неудачники, и гении, и пророки.
Не правда ли?
Это делают богемцы. Ну и что ж! Ничего!
Вы смеетесь над ними.
В самом деле, что такое богемцы?!
Их удаль – это не платить в гостинице,
Это сидеть в кабаке на полчаса позже закрытия.
Не так ли?

Их волосы, падающие от бессонных ночей и пороков,
Часто падают на неоплаченные счета,
Которые они рассматривают
слипшимися от усталости глазами.
Действительно, какой, в конце концов, яд
может выплеснуться из души богемцев!
Чепуха!
Ночь сбривает их первой серой бритвой рассвета.
К черту! Без остатка! Всю кабацкую волосатую слизь!
А утром…
О, утро, – это другое дело.
Утром свежие хозяйки, прополосканные любовью,
Как ни в чем не бывало носят в корзинах морковь,
мясо, лук и масло…
И свернутые трубки газет.
Да! Надо узнать новости. Да! Надо жить.
Какое имеет значение, что ночью
Бродяги,
Пьяницы,
Поэты,
Мечтатели,
Обиженные
Называли вас сволочами и мерзавцами?!
Смейтесь над ними, смейтесь!
А вы?
Вы – другое дело.
Над вами невозможно смеяться, Вас невозможно ругать.
Да, вас невозможно ругать! Мещанство невозможно ругать!
Уже давно надоело самое слово «мещанство».
Мир устал от проклятий мещанству.

Глава двадцать первая

Москва – это то слово, которое произносится во всем мире не так, как другие названия городов. Нет города, который бы так произносился, как Москва. Во всем мире нет серьезного разговора

без того, чтобы не упоминалось это слово. В пустынях, на льдинах океанов или в грохоте огромных городов – всюду, где бы ни встретились два человека, обязательно упоминается Москва. Это слово произносится с различным чувством: с ненавистью, страхом, любовью, гордостью, злобой, верой, гримасой отчаяния или надеждой.

Поэтому трудно представить себе человека, который бы впервые приехал в Москву и не волновался, подъезжая к вокзалу и сходя со ступенек вагона.

Волновались и Капелов, и Мурель, и все остальные. Мотоцкий, тоже волнуясь, разглядывал площадь и лотки перед Белорусским вокзалом.

Рядом с ним была женщина, с которой он познакомился. Ее звали Надеждой Ивановной Белецкой. Мотоцкий держал ее ручной саквояж. Ее адрес и телефон были им записаны в вагоне. У выхода из вокзала она попрощалась и ушла. Несколько минут все стояли при выходе на площадь и разглядывали Москву. Затем на двух машинах поехали в гостиницу «Савой».

По пути никто ничего особенного не заметил. Улицы были как улицы, люди как люди. Москва имела занятой, несколько неряшливый вид. Дома, грязноватые и рассеянные, были как бы озабочены множеством всевозможных дел. Люди тоже имели, как обычно в Москве, сосредоточенный вид. Беспечных фланеров, щеголеватых парочек, разглядывателей витрин и совершающих моцион не было видно. Тротуары на узкой Тверской не умещали пешеходов.

– Очень жаль, что Кумбецкого нет, – сказал Капелов Мурелю. – Все-таки трудно ориентироваться в этом городе.

– Ничего, – ответил Мурель, – Латуна здесь нет, торопить вас никто не будет. Не беда, если отдохнем немного и за это время ознакомимся с советской жизнью. Ведь тут бесконечное количество всевозможных влияний, оттенков, всяких неожиданностей. Тут есть, несомненно, новое, но есть и немало усложненных и замаскированных влияний старой жизни, которые не всегда с первого взгляда угадаешь. У нас, в Европе, это открыто. А тут законы приспособленчества и мимикрии выработали сложнейшие маски и всякие виды прикрытия. Между этим вьются тоненькие ростки нового. Нам будет довольно трудно разобраться в этой обстановке. Новое еще не свободно от старого, старое всеми видами тлена впиты-

вается в новое. Конечно, очень интересно наблюдать все эти процессы, но если мы хотим сделать что-либо настоящее, то надо хорошенько подготовиться. Ведь мы же не можем делать здесь то, что делаем дома. Да если вдуматься, – кого мы сделали до сих пор? Не надо забывать, что Мастерская Человеков еще только начинающее и весьма беспомощное учреждение. Я подозреваю, что Кумбецкий не знает этого. По-видимому, слухи о Мастерской далеко опередили ее возможности. В одном отношении Кумбецкий прав: мы можем здесь развернуться как следует, нам предстоит огромная деятельность. Но надо подготовиться. Вы знаете, вот я смотрю на прохожих, и опять у меня такое чувство, как будто я многих знаю, как будто жил с ними, знаю их качества, недостатки, понимаю их сущность. Вот посмотрите на этого (Мурель указал на человека с палкой в полупотертом пальто). Мне кажется, что я много лет жил с ним где-то рядом и хорошо знаю его малейшие привычки.

Капелов оживленно перебил:

– Ну, что же, это очень хорошо. Нам нужны всевозможные материалы. Вы можете, даже не откладывая, начать работу с завтрашнего утра. Наблюдайте прохожих. Сергей Петрович, наш приспособленец, пойдет по учреждениям. Он будет нам давать материал изнутри. Затем придется еще что-нибудь придумать. Ведь все-таки, знаете, тут очень сложно. Вы правы. Вспомните только, что говорил Головкин. Даже для того чтобы сделать обыкновенного советского чиновника, нужна черт знает какая эрудиция. Надо обдумывать его мельчайшие свойства. Чуть что не так, чуть что не на месте – он из полезного работника превращается во вредного. Надо устроить где-нибудь за городом камеру для исследования, что ли… Вообще, работы много.

Капелов задумался, но вспомнив, что он глава экспедиции, принял бодрый вид и добавил:

– Ничего. Все наладится. Итак, вы приступаете к наблюдениям над прохожими с завтрашнего дня…

Через несколько минут компания была в гостинице и расположилась в нескольких номерах.

День прошел довольно быстро. Все устали. Многие просили у Капелова оживляющих капель, но Капелов сурово отказывал. Выучка Латуна не прошла даром. Он научился беречь материалы.

– В чем дело? – сердился он. – Вы устали – ложитесь спать. Вам обязательно нужно в первый же день бегать по Москве? Успеете. Во всяком случае, тратить для этого материалы я не позволю.

Энергичнее всех был Сергей Петрович. Он ни на шаг не отпускал Головкина, этого замечательного москвича. Он привез его в гостиницу и немедленно уехал с ним куда-то. Мотоцкий тоже недолго оставался со всеми. Он отдохнул, затем умылся, почистил костюм щеткой и ушел к своей новой знакомой. Мурель и Капелов тоже пошли осматривать город.

Когда они вернулись, швейцар сообщил Капелову, что его хочет видеть некий гражданин.

Капелов с удивлением посмотрел на Муреля.

– Кто это может быть? Не успели приехать, а уже кому-то понадобились…

Гражданин ждал в вестибюле. Это был обыкновенный на вид человек. Правда, лицо его было несколько необычно по мягкости черт и неуверенному выражению глаз.

У него был не особенно высокий лоб, но какая-то настороженность была в нем, так же, как во всей посадке головы, несмелом подбородке и мягкой линии хорошо очерченных красивых губ.

– Чем могу быть вам полезен? – очень мягко спросил Капелов, разглядывая незнакомца.

– Простите меня, – начал тот тоже мягко, сразу сгладив неловкость приятной улыбкой. – Я получил письмо-телеграмму от моего друга Кумбецкого из Берлина. Он меня направил к вам с просьбой передать привет от него. Затем я пользуюсь этим случаем, чтобы просить вас выслушать мое дело и, если возможно, помочь мне. Простите, что я пришел так скоро. Ведь вы, кажется, только сегодня приехали? Может быть, вы утомлены? Может быть, вам еще не хочется приступать к своей работе, о которой мне восторженно пишет Кумбецкий? Знаете, я не сомневаюсь в правдивости его слов и поэтому предсказываю, что вам предстоит огромная роль. Еще раз прошу прощения. Я чувствую, что явился к вам слишком рано. Но я хотел бы, чтобы вы мною занялись. Мне именно нужна такая помощь, которую никто не может мне оказать, кроме вас.

– А что, Кумбецкий вам сообщил что-либо о своем приезде? Когда он думает быть в Москве?

– Не знаю, но полагаю, что скоро. И вот он просил меня познакомиться с вами, оказать вам всемерное содействие и так далее. Само собой разумеется, я охотно это сделаю. Разрешите познакомиться. Петр Иванович Машкин.

– Очень приятно, – сказал Капелов. – Пожалуйста к нам.

Явно довольный, что его дело не откладывают, что легко могло случиться ввиду позднего времени – было уже около одиннадцати, – Машкин прошел наверх в комнату Капелова и Муреля.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал Капелов. – Познакомьтесь. Это Мурель, один из основных работников Мастерской Человеков. Расскажите, чем мы можем быть вам полезны.

– Ах, знаете, – начал Машкин. – Я даже не знаю, с чего начать. Если верно то, что пишет Кумбецкий, – а повторяю, в правдивости его слов я не сомневаюсь, то это просто непостижимо, даже не верится в такое счастье! Неужели вы так легко переделываете людей и делаете новых? Наделяете их разными качествами и так далее?

– Да, именно в этом заключается великое открытие Латуна, главы Мастерской Человеков. Он открыл способ, вернее, ряд способов, применяя которые, можно переделывать людей, делать новых, наделять их разными свойствами.

– Это просто непостижимо. Так вот, у меня к вам такое дело. Видите ли, я довольно способный человек. Меня считают умным, даровитым. Я работал в целом ряде крупных учреждений, но, понимаете, у меня отсутствует то, что называется авторитетностью. Не могу властвовать. Многие относятся ко мне хорошо, но со мной не считаются. Понимаете, не считаются. Это прямо какое-то несчастье!.. Вот уже сколько лет, а все повторяется одна и та же история. Я поступаю на службу – сколько уж я менял их, – занимаю обычно высокий пост. На это мне дают право мои знания и мое незапятнанное прошлое, и вообще, у меня есть немало заслуг. Итак, я занимаю высокий пост. Вначале все идет хорошо, а потом постепенно меня начинают «есть». Я вижу, вы не понимаете, что это значит. Это у нас так говорят. «Есть человека», «кушать» – это значит лишить его влияния и постепенно выталкивать. И вот меня начинают тянуть вниз день за днем, все увереннее и увереннее, пока я не вылетаю из учреждения. Раньше это

бывало еще хоть миролюбиво. Когда я чувствовал, что спасения нет, я сам под тем или иным предлогом уходил из учреждения и переходил в другое. Теперь же дело усложнилось. Теперь часто схватывают за ноги так неожиданно, что буквально не успеваешь опомниться… И главное, пришивают такие обвинения… Я вижу, вы не знаете, что значит «пришивают». Это значит – приписывают. Так вот, пришивают такие обвинения, от которых буквально нельзя отмыться…

– Что значит «пришивают обвинения»?

– «Пришивают» – это значит, вам инкриминируют. Это канцелярское выражение, техническое. К вашему делу, то есть к папке, пришивают еще одно дело.

– Я не о том, – сказал Капелов, – это понятно. Я спрашиваю, как это пришивают дело? Как это обвиняют? Ведь должны же быть какие-нибудь основания.

– А разве так трудно найти основание, когда этого хочет враг, какой-нибудь подсиживатель, карьерист, мерзавец, склочник, вредитель? В лучшем случае он вас обвинит в чем-нибудь таком, что не требует доказательств. Например, «слабое руководство», «не сумел себя поставить», «не сумел стать авторитетным» и так далее. В этом всегда можно обвинить. Что на это можно возразить? Не нужны даже преступления. Но когда хотят, то всегда могут сделать из мухи слона. Вы это, надеюсь, понимаете. Но дело не в этом. Существует множество способов выживания человека, или, как говорят у нас, «съедания». Меня «едят» самым разнообразным образом! Сколько служб я переменил за годы революции – и все одно и то же. Начинается с того, что я наверху, а потом все иду вниз, вниз и вниз… Уж такой я человек…

– Странно… – сказал Мурель. – Как же так происходит?

– Да есть много способов. В первый раз меня «съел» совершенно безграмотный авантюрист и дурак. Надо вам сказать, что мы с трудом освобождаемся от этого типа людей. Знаете, пока в учреждении разоблачишь авантюриста, требуется немало времени и усилий. Теперь, правда, мы несколько научились разбираться в людях, но раньше это было почти как правило. Пока мелкий авантюрист разоблачался – проходило полгода-год, а если он был покрупнее и поумнее, то значительно больше. Ведь они, мерзав-

цы, обладают даром имитации! Они произносят все нужные слова с такой экспрессией, с таким умением и с таким бесстыдством, что просто иной раз открываешь рот и сидишь как истукан. Ну, что с ним поделаешь! Так и сыплет, сволочь, самыми модными словами, последними лозунгами, цитатами из всех вождей. Не придерешься. А ведь знаешь, знаешь ведь, что это – вор, вредитель, враг. Эх, тут сложная история! Так сразу не скажешь.

– Отчего же? – почти одновременно спросили и Капелов, и Мурель. – Все можно сказать. Мы понимаем, что это вопрос сложный, но его можно расчленить. Скажите, пожалуйста, вы жалуетесь на то, что вы не авторитетны? Так? Что у вас недостаточно влияния?

– Да. Меня лишают этого влияния. Не знаю, почему это происходит, но обычно я не могу удержаться на высокой должности. Меня обязательно сковыривают...

Капелов заметно устал. Не особенно бодрый вид был и у Муреля. Но в посетителе было что-то приятное, не утомляющее. Несмотря на некоторую нервность, он все же обладал необходимым спокойствием, и беседа с ним была незатруднительна. Но все же было ясно, что она затянется, и Капелов сказал:

– О, мы обязательно разберемся в этом, разберемся по-настоящему. Знаете, Кумбецкий произвел на нас очень хорошее впечатление. Откровенно говоря, мы много ждем от знакомства с ним и, в частности, вам мы постараемся уделить максимальное внимание. Разумеется, сегодня мы полностью в вашем деле не разберемся, уж достаточно поздно, и мы утомлены с пути, но все-таки еще немного мы вас послушаем. Вот расскажите, пожалуйста, как вас в первый раз, как вы говорите, «съели»?

– Очень просто. Путем приставки заместителя, «помощника». Этот способ является наиболее «классическим». Когда вас хотят выжить, то вам дают помощника. Вас не спрашивают, нужен ли вам помощник, или не нужен, но его приставляют. Я этой механики тогда не понимал, конечно. Я думал, что мне действительно дали помощника. Он начал с того, что восторгался всем, что я говорил. Он удивлялся моему уму, тонкости и дельности моих распоряжений, и когда ему неловко было часто выражать восторг, он, сидя за своим столом, восхищенно покачивал головой... Глупость человеческая, как известно, беспредельна. Он был явно

ограничен, этот человек, мелок, ничтожен, безграмотен. Его хитрость была на каком-то животном уровне. Но он оказался все же умнее меня, и мое утверждение, что глупость безгранична, – увы, относится не к нему, а ко мне. Понимаете?

Я верил этому гаду. Я расплывался в улыбке, когда этот мерзавец восторгался моими распоряжениями и действиями... И разумеется, я ему объяснял причины тех или иных распоряжений. Я невольно начал откровенничать с ним, и он меня изучил до тонкости. Я ему охотно объяснял, почему, из каких соображений я поступил в таком-то случае так, а не иначе, и почему я сказал такому-то человеку то, а не другое. Ведь это был такой чуткий слушатель, такой удивительно хороший помощник!

Он так все понимал. Как он заразительно весело смеялся, когда я шутил! В течение двух месяцев он узнал все мои тайны, мои навыки, привычки, обыкновения...

И чем он взял меня? Подумайте только! Этим идиотским смехом, этим сплошным одобрением всего, что я говорил и делал... А ведь меня, черт побери, считали и теперь считают умным человеком, опытным. Какие только ядовитые замечания я не отпускаю о людях! Какие только злые характеристики я не делаю! Вы поговорите со мной. Вы без труда убедитесь, как я знаю людей, насквозь знаю, и какой у меня опыт!.. А вот эта сволочь садилась против меня с утра и скалила зубы весь день... Что ни скажу – он восторженно смеется, покачивает головой, иногда даже всплескивает руками. И конечно, этого было достаточно, чтобы меня, старого дурака, изучить до тонкости, а потом смеяться надо мной же... Надо было видеть эту рожу, когда он потом говорил мне: «Так же нельзя, Петр Иванович. Разве можно действовать такими методами? Ведь вы же в этом случае поступите так-то и так-то потому, что считаете, что так-то и так-то будет лучше. Но это заблуждение. Коренное заблуждение. Это ошибка. В этом случае надо поступать так-то и так-то». Вы понимаете? И он поучает меня моими же собственными методами... Смотрит мне в глаза, мерзавец, и бьет меня моими же словами... Понимаете, хоть бы изменил слово! Ну, что вы скажете? Он говорил моими словами, шутил моими шутками. То, что я говорил ему позавчера, он рассказывал мне сегодня с таким видом, точно он это

открыл. Я много видел всяких гнусов, но такого не видывал! На собраниях он меня уничтожал моими же доводами. А я был в глупейшем положении.

Несколько раз я кричал не своим голосом, что то, что он говорит, это мои мысли, мои наблюдения, мои доводы, что я их знал раньше, что я пришел к ним самостоятельно, что он повторяет то, что говорил я, но направляет это против меня! И знаете, что он отвечал мне? Совершенно спокойно, солидно, убедительно и снисходительно он говорил мне: «Тем хуже для вас».

– Да, это досадно, – сказал Мурель. – Ваша ошибка заключается в доверии. Надо было быть с ним суше, замкнутее. Человек не должен разоблачать себя. Не надо раскрывать всех своих карт. Простите за поучение, но это можно считать вполне проверенной вещью.

– Значит, вы считаете, что я не должен был делиться своим опытом, не должен был быть с ним откровенным? Но это нечестно. Мы этого не можем делать. Мы, советские работники, работаем для общего дела. Какое право имеет советский работник скрывать деловые соображения от своего товарища по работе, от своего помощника? Мы должны учить друг друга. Правда, мой помощник не был выдвиженцем. Его приставили ко мне склочники для того, чтобы подкосить меня снизу и лишить влияния. Этого они добились. Это не так трудно. Но ведь у нас идет большое выдвиженчество. Ведь ко многим и многим советским работникам приставляются выдвиженцы для того, чтобы они чему-нибудь научились. Как же можно недоговаривать, как можно играть в таинственность? Как можно скрывать что-то, разыгрывая из себя «незаменимого»? У нас борются, и справедливо борются, с теми работниками, которые утаивают свои знания, свои навыки, свои приемы в работе и свое умение. Нет, у нас этому нет места. Мы должны младшим товарищам передавать все свои знания, все без утайки, искренне и честно объяснять, помогать, учить. Это наша обязанность в отношении нашей смены. Я как искренний советский работник действую в этом отношении совершенно честно. А тут мне было еще и приятно. Такой хороший помощник! Он так понимал меня! Он так воспринимал все, что я говорил! Почему же я должен был думать, что он именно тем, что унаследо-

вал от меня, будет меня же бить из гнусных карьеристических побуждений? Конечно, я ушел из этого учреждения. Неприятно сознаваться в этом, но мне было тяжело, было омерзительно и гадко. Такое чувство должен испытывать человек, у которого во время купанья украли белье и платье.

– Вы говорили, – сказал Мурель, – что когда хотят в учреждении выжить человека, к нему приставляют такого помощника. Это часто делается?

– О, да, это лучший способ выжить человека снизу. В другой раз мне приставили не такого еще. Тот был такой мерзавец, что я тосковал по первому. Второй был просто омерзителен. Он говорил трагическим тоном, полным деловой напряженности: «Надо позвонить такому-то. Надо ответить на такую-то бумагу». И это в тот момент, когда я брался за телефонную трубку, чтобы позвонить именно по этому делу, или садился писать ответ именно на эту бумагу. Когда раздавался его скрипучий голос с этим беспросветным по наглости «надо», мною овладевало непреодолимое желание поступить наоборот.

Мне хотелось спорить. Я клал на место телефонную трубку и начинал ему раздраженно доказывать, что не надо говорить по телефону, что это бесполезно, что это нелепо, преступно. Я собирался писать ответ на бумагу, но услышав это его «надо», содрогался внутренне, клал на место перо и говорил, что не надо писать ответа. Он мне мешал работать. Он парализовал мою инициативу. Он вселял в меня неодолимое отвращение. Я уходил из комнаты. Я кипел от возмущения. Я не узнавал себя…

Гражданин Машкин сильно взволновался и не мог продолжать рассказ.

Помолчав несколько минут, он попрощался и ушел, обещая зайти завтра.

Глава двадцать вторая

На следующее утро Капелов проснулся в деловом настроении. Он сел за стол, положив перед собой бумагу и карандаш. Лицо его было весьма озабоченно. Надо действовать! В самом деле, надо

же с чего-нибудь начать. Разговоры, соображения, мысли, отдельные посетители – все это хорошо, но работа не ждет.

Однако с чего начать?

Капелов написал на бумажке:

1) Исследовать группу московских жителей.

Он положил карандаш.

Как исследовать? Очевидно, придется послать Муреля. Пусть понаблюдает и даст характеристики. По ним можно будет произвести более детальное обследование. Но где? Где производить обследование? Надо же иметь помещение! Надо иметь возможность содержать людей, и притом в нелегальных условиях! Эх, приехал бы Кумбецкий!

Мурель встал и, сонный еще, с полотенцем на плече, стоял у окна и смотрел на улицу.

– Вот они, московские люди, – сказал он с удивлением, вернее, с предельным любопытством. – Интересно. Посмотрите, какие они. Как они ходят!

Капелов, почувствовав себя хозяином, прервал его, невольно подражая Латуну:

– Слушайте, ну все это хорошо. Мы вот ехали, разговаривали, обменивались мнениями и так далее. Все это хорошо. Но пора приступить к работе. Сможете ли вы подготовить материал о москвичах?

– О каких именно?

– Ну, постарайтесь нащупать каких-нибудь более или менее характерных. Понаблюдайте и запишите. В виде таких коротеньких записок. Не кажется ли вам, что вы многих знаете, – есть ли у вас еще это чувство?

Мурель посмотрел в окно и сказал:

– О, да. Оно не покидает меня. Ваша щедрость, с какой вы вливали в меня эликсир, возможно, принесет вам теперь пользу. Мне кажется, что я знаю почти каждого из вот этих прохожих. Черт его знает, но вот этот, например, или этот, откуда я могу знать их? Но у меня такое ощущение, точно я жил с ними много лет, работал вместе, пригляделся, привык и так далее…

– Ну, так вот, позавтракайте – и марш на работу! Пойдите на какую-нибудь центральную улицу, станьте где-нибудь сбоку и на-

блюдайте. Посмотрим, что у вас получится. Затем, я думаю, кое-кого из вашего списка мы захватим, заморозим и обстоятельно исследуем. Без живого материала нельзя же начать. У нас еще нет помещения для Мастерской. Займемся поэтому пока подготовительной работой.

Он взял карандаш и добавил к написанному:

а) Характеристики.

б) Исследование.

– Ну, действуйте, – сказал он Мурелю.

Мурель, собираясь отойти от окна, вдруг заметил на противоположной стороне тротуара Ипатова.

– Смотрите, Ипатов уже на улице.

Приспособленец с портфелем под мышкой деловито расспрашивал о чем-то какого-то прохожего. Тот, широко жестикулируя, указывал ему на разные концы улицы.

– Когда он успел встать и выскочить!

Вид у Ипатова был вполне советский. Ботинки уже потеряли блеск, брюки осели, складка исчезла, пиджак тоже висел небрежно, как у настоящего советского человека, которому некогда думать о своей внешности. Портфель разбух почти до карикатурных размеров – что он туда напихал, совершенно непонятно было. Шляпу он оставил в гостинице, и непокрытая голова с треплющимися по ветру волосами окончательно придавала ему типичный облик советского служащего или среднего партийного работника.

Поблагодарив прохожего за объяснения кивком головы, он быстро удалился.

Капелов строго сказал Мурелю:

– Пожалуйста, не задерживайтесь.

Когда Мурель ушел, в дверь постучали. Это был Машкин.

– Не слишком ли рано я к вам?

– Нет, пожалуйста.

– Я к вам, значит, по тому же делу. Понимаете, мне очень срочно нужно поднять и укрепить мою авторитетность. Очень важно, чтобы вы мне посоветовали, как мне держаться. Вот я поступаю, например, на новую работу. Совершенно ясно, что уже с первого дня надо уметь себя поставить. Но в наших условиях это чрезвы-

чайно трудно. Ведь, знаете, все зависит от мелочей. С первой же секунды начинаются какие-то истории. Если в вас сразу чувствуют мягкого человека, то сразу же начинают наседать. Начинается с того, что является комендант и уносит из комнаты хорошие стулья и приносит плохие. Стол тоже ставят какой-то дурацкий. Между тем это же имеет значение. Мы, правда, презираем вещи, не обращаем на них внимания, но все-таки, когда человек сидит за приличным столом в приличной деловой обстановке, то отношение со стороны посетителей более нормальное, общее самочувствие лучше. Не правда ли? Затем, почему я должен сидеть за плохим столом с жалкой чернильницей, сидеть на кривом стуле? Почему? Но как сказать об этом? Завхоз скажет, что, к сожалению, другого нет, что новые столы заказаны и только через месяц поступят, а этот стол идет в ремонт. А стол не идет в ремонт, его отдают тому, кто умеет настоять, чтобы ему дали хороший стол. Вообще, разве важно, что говорит завхоз? Ведь у всех есть миллион доводов на что угодно. Каждый при желании может врать, как ему угодно. Ну и что вы будете делать! Такая мелочь, а самочувствие уже отравлено. Ну вот, как держаться? Не обращать внимания – сядут на голову. Начать скандал из-за лучшего стола – несерьезно. В советском учреждении разговор из-за хорошего стола. А что, если действительно нет лучшего стола? А что, если действительно он идет в ремонт? Что будут думать о вас товарищи? «Не успел приступить к работе, как уже скандалит из-за какой-то ерунды. Вот, – скажут, – действительно бюрократ».

– Неужели это у вас часто происходит? – спросил Капелов. – Разве это имеет уж такое большое значение – стол, стул, чернильница? Мне кажется, что это пустяки. Можно ведь сидеть за очень ободранным столом, но быть весьма авторитетным, и наоборот, мало ли случаев, когда совершенно не считаются с людьми, сидящими в роскошных креслах, за роскошными столами?

– Я понимаю, это верно. Но нельзя же отрицать значение мелочей. Почему-то так выходит у меня: я предлагаю назначить заседание в десять часов, так кто-нибудь обязательно предлагает в девять или одиннадцать. Это тоже неважно, но, уступая на мелочах, часто теряешь первый голос и в крупных вопросах. Я ведь уступаю только потому, что считаю это неважным. В самом деле,

какое это имеет значение! Какой-то стол, стул, всякая чепуха. Но, тем не менее, уже на другой день в учреждении, куда я послан, знают, что со мной можно не очень считаться. Нужно послать куда-нибудь – мне говорят, что нет курьера, а я знаю, что курьер есть.

Я знаю, каким надо быть, чтобы вас боялись, по крайней мере, чтобы с вами считались, чтобы вам подчинялись. Надо быть немного замкнутым, медленно говорить, не торопиться, сдержанно здороваться и прощаться; выслушав кого-нибудь, задумчиво и решительно сказать: «Не в этом дело».

– Ну, ладно! – перебил Капелов. – Мы еще об этом поговорим, у нас скоро, по-видимому, будет помещение. Между прочим, вы должны помочь нам устроить это. Кумбецкий, видимо, приедет нескоро. Мы вас исследуем и постараемся сделать вас авторитетным. А сейчас не хотите ли помочь мне заняться основным, то есть поисками помещения? Видите ли, это дело нелегкое. Помещение должно быть где-нибудь за городом или на окраине; в нем должно быть много комнат, удобно расположенных, с крепкими окнами и ставнями или решетками: нам ведь придется насильно держать людей. Не знаю, как это сделать. Затем самое трудное будет заключаться в доставке туда людей для исследования, для переделок и для всяких операций. Кто придет добровольно, вроде вас, например, так это ничего; но ведь нам придется многих брать и силой, нам ведь нужно делать нового человека! Шутка ли, надо сделать человека, не похожего на все то, что есть. И не то что не похожего, а обладающего лучшими качествами, обладающего такими свойствами, которые могли бы значительно подвинуть вперед социалистическое строительство. Ведь вам для этого нужны новые люди! Это же не так просто. Надо же как следует исследовать людей, изучить их недостатки и достоинства, уменьшить первые и увеличить вторые; нужна серьезная лаборатория, нужна обстановка, способствующая нормальному течению этого трудного опыта. Как же найти помещение? По-моему, лучше всего будет, если мы оборудуем Мастерскую Человеков под видом какого-нибудь учреждения. Как вы думаете?

– Какого учреждения?

– Ну, я не знаю. Какого-нибудь такого учреждения, откуда могли бы выходить странного вида люди. Дело в том, что после всяких операций люди, естественно, имеют взъерошенный и сонный вид: так, чтобы это не обращало на себя внимания.

– Да, это сложно. Может быть, – подумав, предложил Машкин, – устроить нечто вроде вытрезвителя. У нас есть подобные учреждения. Можно нечто вроде больницы устроить, пункта скорой помощи, – это, пожалуй, лучше всего. Для оказания скорой помощи привозят и приводят разных людей. Здесь они могут и выходить взъерошенными и в каком угодно состоянии. Да, это, пожалуй, самое лучшее: это не вызовет подозрений. Затем, если к вам действительно будут возить пострадавших людей, действительно нуждающихся в помощи, так разве вам так трудно оказать ее?

– Это верно, – согласился Капелов. – Пожалуй, это действительно самое разумное.

Глава двадцать третья

Мурель добросовестно выполнил поручение Капелова. Он бродил по московским улицам в деловые часы, внимательно смотрел на прохожих и сделал, как просил Капелов, краткие записи.

Он аккуратно озаглавил, чисто написал от руки и торжественно, подчеркивая свою дисциплинированность, сдал Капелову.

Вот что прочитал Капелов:

Прохожие, словесно зарисованные в центре города Москвы
в деловой полдень, и небольшие обобщения,
вызванные наблюдениями над ними.

Нервность

Нервность проглядывает у многих. За двадцать минут наблюдения на Петровке прошли три человека, которые разговаривали сами с собой.

Первый нервный

Высокий, с портфелем. Идет большими шагами, энергично жестикулирует и говорит самому себе речь. Что у него? Грандиозный план, реорганизация, сложное переоборудование на началах широкой рационализации? Трудно сказать. Так или иначе – что-

то сложное. Он важно беседует сам с собою и в то же время жестикулирует рукой, свободной от портфеля. Необходимо его исследовать.

Второй нервный

Потертый человек с бумажной трубкой под мышкой. Тоже беседует сам с собою, но оживленно, страстно, и дергает при этом головой и плечами. Выражение лица напряженное. Это лицо человека, который хочет убедить. Кто он, что у него под мышкой? Чертеж? План? Схема? Несомненно, ему пришлось что-то пережить, выслушать чье-то мнение, может быть, дельное, а может быть, чепуховое. И теперь он спешит в учреждение и репетирует свои объяснения. А может быть, его обидели, и он здесь, на улице, сам перед собой произносит речь убедительную, остроумную, ту самую, которую он не мог или не посмел произнести где следовало… Да, он обижен. Его нужно обязательно исследовать.

Третий нервный

По-видимому, тоже обижен. Он разговаривает сам с собой возбужденно. Тоже, вероятно, дает кому-то отповедь, облегчает душу. Разумеется, трудно угадать, что его гложет, но, возможно, какой-нибудь пустяк. Думаю, что пустяки здорово мучают москвичей. Думаю, что много страданий из-за пустяков, из-за того, что называется мелкими склоками, из-за всякой чепухи. Нужно исследовать.

Уязвленные самолюбия

Думаю, что ни в одной стране в мире нет такого количества уязвленных самолюбий, как в СССР. Это понятно – молодой класс строит свою жизнь. Миллионы людей подняты с низов и поставлены в ряды активнейших строителей жизни. Во всей стране идет небывалое выдвиженчество. Миллионы людей, еще вчера гнувшихся во тьме и рабстве, сейчас испытывают не только радость, но и глубокую тревогу выдвижения и самодеятельности. Неудивительно, что самолюбия развиты чрезвычайно, и их надо щадить. А их упорно не щадят. Не хватает еще культуры, уважения друг к другу; гнетет наследие рабства, взаимного неуважения; на почве неуважения – частая раздражительность.

Ходят небрежно

Частые толчки. За двадцать минут наблюдения на Лубянке произошло целых два столкновения. В одном случае виновный извинился. В другом – в воздухе застыл уничтожающий взгляд потерпевшего.

Солидарность

Несмотря на раздражительность, происходящую от спешки, нервность и озабоченность, – это понятно, ибо жизнь в СССР сложна, серьезна, необычна, – несмотря на это, наблюдается большой интерес прохожих друг к другу. Если на улице случается «скандал», то обязательно участвуют многие прохожие и все активны. Все готовы защищать попранные права, разоблачить виновника и защитить пострадавшего. Корректного равнодушия и невмешательства в действия милиции почти нет. Милиционеру помогают или с ним спорят.

Развитые социальные инстинкты

Интерес прохожих друг к другу явно ощущается. Люди обращают внимание друг на друга: если есть что-либо странное, внимательно вглядываются. Чувствуется, что, несомненно, всем друг до друга есть дело.

Пример. Странный красный командир.

Прошел какой-то красный командир. Пожилой, но еще стройный мужчина с небольшим брюшком, в великолепном френче, в новой портупее. Он был одет безукоризненно: сапоги идеально вычищены, лицо выхоленное, розовое, украшенное модной, только подбородок занимающей бородкой. Розовый затылок подчеркивает полное благополучие. Он не совсем походил на командира Красной Армии. Он не был типичен. Неизвестно, кто это. Может быть, из старых офицеров; может быть, профессор военной академии; может быть, военный специалист, раздобревший на мирной генштабистской работе.

Но замечательно: почти все прохожие обращали на него внимание. Некоторые останавливались, оборачивались и глядели ему вслед. Некоторые только оглядывались, а остальные зорко скользили по всей его фигуре и, замедлив на минуту шаг, удивленно проходили мимо.

Социальная принадлежность к одной группе

В этом интересе московских прохожих друг к другу есть социальное чувство принадлежности к одной группе, к одному хозяйству, к одной корпорации. Так военный разглядывает военного, если ему неизвестна его форма.

Исследовать растущее социальное чувство москвичей.

Оборванный мальчик

Прошел мальчик. Оборванный, грязный, немытый. На него внимательно посмотрели, даже остановились рабочий, женщина, еще два человека.

И все хорошо посмотрели, то есть озабоченно, деловито, как на крупный непорядок, и главное – свой непорядок. Что-то материнское, отцовское проскальзывало в огорченных взорах.

В Москве трудно по внешнему виду определять людей

Проходит парень в круглых заграничных очках. Прекрасное пушистое кепи. Тщательно подстриженная бороденка. В зубах у него, среди которых блестят и золотые, криво, с явственным оттенком снобизма торчит трубка. На ногах до колен пестрые и плотные спортивные чулки. На руках в сгибе прорезиненное пальто. Костюм серый, клетчатый, тоже заграничного типа. Кто это? Режиссер? Просто киноработник? Дипкурьер? Сотрудник театральных изданий? Трудно сказать. Весьма возможно, что сборщик объявлений, а может быть, просто старший курьер, которого на службе можно видеть совсем в другом одеянии.

Смущает нетипичность фигур

По одежде определить московского человека трудно. По лицу еще труднее. Я наводил справки: типы Москвы и СССР не изучены. Литература еще молода. Юмористические журналы стараются отрафаретить типы завов, замов, советских машинисток и так далее. Но все это – использование старых навыков. Человек СССР, советский человек, еще не изучен.

Опрокинуты все старые представления

Исследователя на каждом шагу ждут неожиданности. Например, бухгалтер, счетовод с незапамятных времен считались по данным русской литературы представителями наиболее тихой профессии. Что касается современных бухгалтеров и счетоводов, то вот факт. По городу Москве за летние месяцы двадцать девя-

того года из всех граждан, задержанных милицией за пьянство и буйство в общественных местах, 57 процентов выпало на долю представителей именно этой, прежде такой тихой профессии.

Кто они?

Кто эти прохожие во френчах, в военных и довоенных брюках, в кожаных тужурках, в синих блузах и пиджаках, в джемперах, в сапогах, туфлях, пальто, в картузах, в шляпах, в шапках, с галстуками, без галстуков, лохматые, подстриженные, бритые, заросшие, щеголевато одетые, бедно одетые?

Кто они? Положительные типы? Отрицательные?

Необходимо исследовать человек десять, взятых с улицы наугад.

Кто эти?

Группа молодежи. Несколько парней. Двое в кожаных куртках, один в рубашке, один без шапки, с прекрасной шевелюрой. Громкий, чересчур громкий смех. Нелепо громкий разговор, почти крик. Они ходят не прямо, а ухарски раскачиваясь на ногах в сторону, как матросы. Брань сопровождает почти каждое слово. Впечатление малоприятное. Но опять-таки – кто они? Трудно сказать. Весьма возможно, что очень хорошие парни.

Надо исследовать несколько таких.

Интеллигент с рабочим лицом

В облике московских людей удивительное несоответствие между внешностью, чертами лица и подлинным интеллектом. Иногда бывают на этой почве резкие впечатления: человек с грубыми скулами, короткой челюстью, приплюснутым носом и низким лбом, когда начинает говорить, обнаруживает несомненную развитость, то, что называется интеллигентностью, причем не в расплывчатом виде лицемерной и пустой вежливости, а в виде уменья логично рассуждать и подкреплять рассуждение точными фактами. При этом далеко не редко обнаруживается и уменье хорошо говорить, привычка к общественным выступлениям, уменье ориентироваться в обстановке, уменье разобраться в сложном вопросе, необходимое спокойствие и так далее. Но во многих и многих случаях обладатель «простого» рабочего, «плебейского» лица вдруг оказывается человеком с развитым интеллектом.

Но это понятно. Бытие скорее определяет сознание, чем меняет черты лица…

Исследовать.

Обратный процесс

Он неизбежен. Грустно и смешно бывает, когда «настоящий интеллигент» старого образца с «породистым» лицом, тонкими ноздрями, большими глазами и приятной округлой бархатистой речью с барским эканьем и мэканьем начинает говорить неизвестно что, путая учреждения, обнаруживая элементарное незнание советских законов, выказывая либо трусливый, жалкий страх перед ними, либо, наоборот, в большей или меньшей мере скрываемую и прорывающуюся злобу. Сбить такого интеллигента обыкновенно бывает нетрудно любому рабочему подростку. При желании это можно услышать в любом трамвае.

Обманчивое ворчанье

Не только внешний вид советских людей обманчив. Нельзя верить также во многих случаях и словам. В советской жизни немало трудностей. Довольно часто можно слышать упреки, хулу и брань по адресу советской власти. Но далеко не всегда эти слова выражают подлинное настроение хулящих. Очень часто ругаются и ворчат по тому или иному поводу рабочие. Но если б нужно было умереть за советскую власть – умирали бы.

В свое время это говорилось о красноармейцах на фронтах:

«Красноармеец любит поворчать». Ворчать – ворчал, а дрался беспримерно.

Исследовать в первую очередь.

Старикам плохо

Старик. Он еще достаточно бодр, во всяком случае, слишком бодр для того, чтобы так сторониться и почти открыто жаться к стенам домов. Но во всей его фигуре чувствуется, что он не в своей тарелке.

Еще один. Не старый, но пожилой человек. Этот тоже идет, словно выражая готовность посторониться. Среди всех разнообразных видов московского и российского хулиганства издевательства над стариками совершенно нет. Эта графа остается незаполненной. Наоборот, бесконечные юбилеи и чествования героев труда, неизменно собирающие на заводах обильную публику, говорят об умении уважать старость и общественные заслуги. Уважение ко всевозможного рода «заслуженным» под-

верждает это. Тем не менее, старики чувствуют себя неловко, стесненно.

Это – от эпохи. Им нечего делать, старикам: они не могут активно и горячо работать; они объективно играют пассивную роль и ходом вещей отодвигаются в сторону.

Старики на Западе

По Берлину шествует древняя старушенция или полуразвалившийся старик. Старушка в чепце с бесконечным количеством ленточек и даже не черных, а фиолетовых. Она спешит в кафе, где будет часами сплетничать с такими же старухами.

А вот старик. Еле передвигая ноги и опираясь на палку, он с почти петушиной важностью шествует в величественном цилиндре. Он – хозяин положения. Молодежь во всех странах Запада равняется по отцам, по дедам.

В СССР как раз наоборот: горе, если молодежь будет похожа на стариков. Молодежь ходом истории выдвигается вперед. И опять-таки, горе ей, если она не сумеет построить себе крепкого будущего, совершенно не похожего на прошлое.

Несколько отрицательных типов

По наведенным справкам и личным наблюдениям мне удалось зафиксировать основные черты нескольких отрицательных типов.

Шакал

Проходит коротковатый чистенький человек. Все на нем «приятно», пригнано, все на месте и вполне соответствует «эпохе»: ботинки его почищены, но не так, чтобы это отдавало «снобизмом»: чуть-чуть они все-таки запачканы, чтобы видно было, что человек не очень думает о блеске на них. Его френчик точно в таком же «стиле»: очень пригнан, перешит не без щегольства, но пуговица у воротника отстегнута. (Маленькая лихость, допустимая для ответственного работника.) Волосы (он ходит без шапки) причесаны, но один клок молодо и «буйно» свисает на лоб. Это тоже допустимо, даже до известной степени полагается. Лицо молодое. Глаза голубые, открытые, как будто смелые, как будто честные. И кому придет в голову, что это самая неуловимая, гнуснейшая разновидность самых безжалостных паразитов, с которыми жестоко борются советская власть и коммунистическая

партия. Он не растратчик, не преступник, даже не особенно бюрократ; он – типичный представитель другой породы шакалов; он – духовный вор, похититель чужих мыслей, идей, планов. Он живет соками чужого мозга. Он «заведует». Как скромно и с каким достоинством он говорит с начальством. Как, потупясь, он принимает похвалы за то, что не ему принадлежит, за то, что выдумали и сделали его секретарь, помощник, заместитель! Какое у него уменье подбирать себе таких помощников! Как ловко он умеет высасывать чужую инициативу!

Как он умеет безжалостно пить цвет чужой мысли, слизывать пенку чужого духовного кипения! И с теми же голубыми и немигающими глазами, с той же внешностью, скромной, средней, порядочной внешностью советского работника выдавать это за свое. Вряд ли ему даже приходит в голову мысль, что он держится на чужой крови. Высосав помощника, он его выбрасывает. Бездумно. По сокращению штатов или по рационализации.

По улицам ходит спокойно. Он жизнерадостен. Он улыбается.

У него белые молодые зубы.

Исследовать обязательно.

Дурак

Идет пышный советский дурак. Дурь у него скрыта, так же, как у того скрыта духовная прострация. Впрочем, дурь дурака не скрыта. Она свисает с его носа, с его самодовольных губ и бровей. Она раскачивается в его глупом ритме рук и ног. Но все это – если вглядеться. Вообще же говоря, он горд. Можно сказать без преувеличения, что не у всякого польского шляхтича можно найти такой «гонор», какой зарыт в советском дураке. Его величественность не знает пределов. Все, что он говорит, – плоско, чрезмерно серединно и с трудом приближается к норме. Но спесь его буквально неиссякаема. Разумеется, он тоже заведует. Он говорит людям: «Короче», «Выражайтесь яснее!». Он бюрократ насквозь, но он все-таки где-то в глубине души знает себе цену. Он отлично понимает, что без этой спеси он был бы скоро разоблачен.

Он на ней держится, впрочем – до первой чистки.

Исследовать обязательно.

Злой человек

Никто не знает, что его разозлило, но он зол. Он не выносит, когда кому-нибудь в чем-нибудь везет… Когда кого-нибудь хвалят, он страдает, почти болеет. Страдает не на шутку, точно его глубоко обидели. Теснота, бедность, перегруженность, конкуренция, обман, хитрости и все, что сопровождает тесноту и бедность, делают многих недоброжелательными и настороженными, завистливыми.

И поэтому стоит кому-нибудь поскользнуться, как многие из окружающих и даже близких людей тайно рады. Злой человек – мастер на выдумывание наветов. Как убедительно он их составляет, если ему в лапы попадается жертва. Как доказательно он строит свои обвинения. Он-то уж буквально делает из мухи слона. К сожалению, этот тип весьма распространен в Москве. Его легко узнать по завистливым глазам, по изможденной от вечной ревности всех ко всем физиономии…

Исследовать не мешает в ближайшую очередь.

Герои незаметны

Сложность и непроницаемость советских людей весьма значительны. Еще более или менее нетрудно узнать отрицательных, но угадать положительных почти всегда трудно, а очень часто и невозможно.

Скромность и мужественность

Советские положительные типы отличаются необычайной скромностью. Это действительная, до конца доведенная скромность, основанная на подлинном мужестве, исходящем от раскрепощенных пролетарских масс.

Кто этот юноша?

Проходит юноша. Скромно одетый, спокойный, даже немного невзрачный. Обращает на себя внимание его походка: он так четко и сильно, и в то же время сдержанно переставляет ноги.

Кто он? Он немного похож на Нетте, на дипкурьера, который буквально до последней капли крови отбивался от бандитов, желавших отнять доверенную ему дипломатическую почту. Нетте, как известно, умер, пронзенный множеством пуль, и умирая, просил товарища продолжать борьбу. По наведенным мною справкам, в советской литературе почти нет описаний подобного незаметного героизма.

Обязательно исследовать.

Великая борьба

В городах, деревнях, на границах, на дорогах, в учреждениях, в квартирах – всюду идет борьба и всюду она часто связана со смертью. Лютая классовая ненависть не знает предела жестокости. Убивают за заметку в газете, за отнятую комнату, за высказанную правду. Каждый шаг в укреплении советской власти стоит больших усилий и крови. Каждый шаг требует решительности, мужества, веры в новое и готовности умереть за него.

Необходимо исследовать возможно большее количество людей.

Кто проявляет все это?

Люди. Вот эти самые люди, многие из этих прохожих, в рубашках, в пиджаках, френчах, тужурках. Скромные на вид, порой даже невзрачные. Они текут по тротуару густой массой. Юноши. Взрослые. Всяких внешностей. Всяких обличий. Они умирают за новое, когда это нужно. Они и строят его.

Нам предстоит большая работа

Нам предстоит большая работа. Работать так, как мы работали дома, совершенно невозможно. Надо беспрерывно собирать факты, впечатления и производить тщательные и непрерывные исследования. Надо ездить по разным участкам строительства, надо обязательно изучить тех новых людей, которых порождает сама жизнь, брать у них отдельные новые черты и из них компоновать нового человека. Надо в спешном же порядке исследовать большое количество отрицательных людей для того, чтобы изучить их отрицательные свойства, которых тщательно избегать при создании нового человека. Работу надо начать немедленно.

Глава двадцать четвертая

Капелов глубоко задумался, держа перед собой рукопись. Мурель смотрел на него и старался не мешать: пускай думает, думы мешают не во всех случаях. Иногда они бывают даже полезны.

– Серьезная история, – сказал Капелов. – Мы попали в очень серьезную историю. Все это не так просто, как кажется. Вам при-

дется исписать не одну стопу бумаги. По этим вашим первым записям видно, сколько нам предстоит работы…

– О, конечно, – сказал Мурель, – работы много. Я не знаю, когда мы сможем приступить к ней. Откровенно говоря, я не знаю, с чего начать, столько работы. Ведь человек вообще совершенно не изучен; он мало изучен и у нас, на Западе, где исторические условия и все остальные, которые проистекают из них, способствовали отвердению определенных социальных типов.

И особенно никак он не изучен в советских странах, где старые социальные типы отброшены, оттиснуты на задний план жизни, а новые только-только нарождаются.

Нам предстоит неслыханная работа и, надо прямо сказать, неблагодарная: мы должны начать с самого начала, так сказать, с самого накопления; мы должны ловить живых людей и исследовать их. Никаким источникам нельзя верить. Нет никаких материалов, никаких пособий, никаких описаний – ни художественных, ни этнографических. Это совершенно новая, действительно новая область. Затем, надо менять методы. Так называемые литературные типы нам ничем не могут помочь. Они только могут запутать дело. Во-первых, их нет, во-вторых, они основаны на старой лжи и на перелицовках. Разве можно считаться с галереей социальных типов даже мировой литературы?! Ну что там, в самом деле! Записаны, зарисованы, зафиксированы, намалеваны с разной степенью таланта, иногда даже гения, разные типы мужчин, женщин, представителей тех или иных профессий, общественных групп, классов. Есть капиталисты, рабочие, крестьяне, интеллигенты, есть мечтатели, скупцы, ревнивцы, лгуны, хвастуны, лицемеры всех сортов и видов и так далее. Им противопоставлены мечтатели, простаки, доверчивые люди, положительные люди и так далее и тому подобное. Все это обложено бесконечным количеством подробностей, локальных оттенков, развлекательных черт и, к сожалению, все это безнадежно устарело. Жизнь меняется чрезвычайно быстро, особенно в наше время. Смешно было бы искать в живых людях даже основные черты, знакомые нам по литературным характеристикам. Живые люди почти ничего общего не имеют с самыми глубокими, с самыми обобщенными и гениально зарисованными типами. Типовые образы, над которыми поработали гении миро-

вой литературы, достаточно обветшали. Нет более унылого занятия, чем заниматься перелицовками, какими обычно и занимаются профессиональные литераторы. Они берут лгуна, мечтателя, героя или подлеца и нашивают на него внешность и платье своей страны и своего времени. Жалкое занятие: они не понимают, что сейчас меняется человеческий тип в основе. Ведь не было же еще случая в человеческой истории, когда бы так резко менялись самые основы социального строя. Как же можно заниматься перелицовками и не видеть, не замечать, как в самом корне, в самой своей сути меняется современный человек. Правда, видеть это не так легко. Сколько старых напластований скрывает это новое! Сколько нужно сорвать слоев, сколько одежд, влияний, наследственных черт, сложнейших результатов взаимодействий, для того чтобы докопаться до этого нового! Словом, я не знаю – хватит ли у нас сил. Мы уже несколько дней в Москве. На днях, вероятно, придет от Латуна письмо. Он будет спрашивать, что мы сделали, есть ли у нас заказы… Кумбецкого нет. Денег у нас мало, помещения еще нет, материалов для работы тоже не много, людей нет, положение неопределенное, неоформленное… Затем нам надо скрываться… Впрочем, я нисколько не падаю духом, но обращаю внимание на то, что положение серьезное. Впрочем, вы эту мысль высказали сами, и мне остается вполне согласиться с этим.

– Как же мы все-таки будем работать? – деловито сам себя спросил Капелов. Он встал и, невольно подражая Латуну, перевел разговор на практические рельсы. – Во-первых, нам нужно снять помещение. Это уже почти налажено. Снимем помещение за городом и придадим ему внешний вид этакого санатория, дома отдыха или больницы с отделением скорой помощи, – я еще не знаю точно, но, во всяком случае, такого учреждения, куда можно привозить людей, увозить их и так далее. Кумбецкий скоро приедет, он все это нам оформит и сделает так, что нас не будут беспокоить. Метод работы изберем такой: человека будем разворачивать до конца. Будем исследовать, исследовать и исследовать. Москва – единственный город, где по-настоящему думают о новом человеке. СССР – единственная страна, где по-настоящему нужен новый человек. А мы – единственная организация во всем мире, которая может выполнять заказы на новых людей. Значит, ясно, что это надо де-

лать толково. Да, мы будем осторожны. В таком деле халтурить нельзя. Мы будем, повторяю, исследовать, исследовать и исследовать. Что, в самом деле! Для того чтобы изучить какую-нибудь инфекцию, режут бесконечное количество кроликов, крыс, морских свинок, собак, обезьян. Люди тратят целые жизни на лабораторные исследования, гениальнейшие ученые без устали работают в научных кабинетах. Мы же никого не будем резать: нам не нужны кролики и крысы, нам нужны люди, причем у нас огромное преимущество: мы человека разрежем на кусочки, но потом восстановим, мы сделаем его лучше, чем он был. Ах, я только теперь начинаю понимать, как велико открытие Латуна. Что за человек! Кто может подумать, глядя на него, что это – гений из гениев? Откровенно говоря, Мурель, думали ли мы об этом, глядя на него?

– Черт его знает, никак не приходило в голову.

– Ну вот, таков закон, так бывает всегда. Но вы, надеюсь, понимаете всю ценность его гениального открытия?

– Еще бы!

– Так вот, мы не будем обращать внимания на то, что он нам будет писать. Старика окружают все эти Кнупфы, он вообразил, что это лавочка, он хочет только зарабатывать деньги, а на что ему деньги – неизвестно. Он нам будет писать письма, мешать нам. Не сомневаюсь, что Кнупф рано или поздно приедет к нам. Но мы все-таки будем делать то, что считаем нужным. Не правда ли? Вы будете моим союзником. Ведь недаром я не пожалел для вас интеллектуального эликсира. Будем делать новых людей по-настоящему. Изучим это дело. Завтра должен прийти Машкин, этот чудак, который все просит сделать его поавторитетнее… Кстати, я начинаю догадываться, почему он не авторитетен… Но об этом после. Он обещал нам помочь найти помещение. Вот мы оборудуем его и приступим к делу.

Глава двадцать пятая

Муреля трудно было найти. Он часто исчезал. Капелова это даже начинало раздражать. Он стал энергичным, напряженным, вечно спешащим. У него завелись тетради, записные книжки, руч-

ки, карандаши, всевозможные справочники и карты. Он звонил по телефону в какие-то учреждения. По ночам он сидел и писал.

– Знаете, – говорил он Капелову, – материалов очень много. Не знаю прямо, с чего начать. Я хочу собрать материалы о людях. Ведь надо же заготовить хотя бы несколько десятков образцов. Ведь когда мы начнем работать, поздно будет. Вы же сами знаете, как важна в любой работе подготовка. Я делаю записи о людях, живых советских людях. Наблюдаю, слежу, записываю прохожих, работников учреждений, рабочих, строителей. Но, говорят, надо поездить. На местах есть еще лучшие образцы. По всей стране идет небывалая работа, есть очень много участков строительства. Надо побывать на нескольких. Конечно, и тут, в Москве, есть интересные типы строителей. Но, говорят, что на местах их легче наблюдать. Может быть, мне съездить куда-нибудь, пока вы тут оборудуете помещение?

– Куда?

– Ну, вот, например, сейчас закончили вчерне постройку дороги в Туркестане. Она называется Турксиб, Туркестано-Сибирский путь. Это выдающееся строительство. Таких проектов постройки железных дорог было всего два в мире: первый – это проект постройки железной дороги через Сахару; проект этот до сих пор остается на бумаге – капиталистические правительства не могут его осуществить, несмотря на наличие огромных средств и всяких возможностей. А Турксиб осуществлен. Тысяча четыреста сорок два километра железнодорожного пути в рекордный по краткости срок проложено через степи, пустыни, болота, дикие горные кряжи и совершенно непроходимые места. Вы не читали об этом? Темпы работ далеко опередили даже американские. На некоторых участках прокладывали по три с половиной километра в день. Интересно посмотреть, какие люди делали это. Ведь там была проделана, несомненно, героическая работа! Между тем денежных премий не было, чинов никто особых не получал. Наоборот, нужда была неописуемая, люди голодали, болели. Нужно было преодолеть бесконечное количество препятствий – не было в достаточной мере нужных инструментов, не было даже временами хлеба, воды, воду и топливо возили на верблюдах. Более тяжких условий для работы нельзя себе представить. Между тем

работы закончены раньше срока. Ведь, несомненно, там мог сложиться хотя бы отчасти нужный нам тип человека. Вероятно, там можно наблюдать хотя бы отдельные новые черты. Не поехать ли мне исследовать? Как это будет хорошо, если нам удастся открыть хотя бы несколько черт психики нового человека, и тогда действительно вся наша поездка в СССР будет оправдана. Мы будем выполнять заказы как следует, и нами будут довольны. А то скоро приедет Кумбецкий. Здесь он с нами будет разговаривать, я думаю, не так мягко, как там. Он спросит: «Что вы, голубчики, можете предложить? Советской стране нужны новые люди. А каких новых людей вы собираетесь нам дать?». Не думаю, чтобы он покупал у нас людей вслепую, как котов в мешке. Нам нужно как следует подготовиться. Повторяю, пока вы оборудуете помещение, дайте мне возможность съездить куда-нибудь за образцами, если не новых людей, то хотя бы до некоторой степени новых. Ведь должны же там быть какие-нибудь положительные черты, если делаются такие выдающиеся дела!

Капелов подумал и сказал:

– Что ж, не возражаю. Вы успеете съездить на этот самый Турксиб, а я пока постараюсь оборудовать помещение. Может быть, к тому времени приедет Кумбецкий. А как быть с прохожими, которых вы наблюдали? Ведь вы их потеряете. Может быть, их пока взять и положить в ледник?

– Это можно. Найдем помещение, устроим в нем ледник, захватим тех, кто нам нужен, пускай полежат в леднике. А я, может быть, сразу привезу еще кое-кого с Турксиба. Тогда у нас будет разнообразный материал.

– Хорошо, – сказал Капелов. – Однако никак не думал, что вы станете таким работящим человеком. Ведь когда я вас создал, вы высказали мысль, что работать не надо, что работающего человека никто не уважает, что для того чтобы человека уважали, он должен очень мало работать, что он должен только приезжать в учреждения и уезжать, командовать, быть недовольным и так далее.

– Что ж, в этом есть что-то верное. В той сложной липкой путанице, которая должна существовать в отношениях людей, когда один человек властвует над другим, должно быть и такое от-

ношение к труду. Это очень сложный и тонкий вопрос. Мы к нему вернемся, когда будем разрабатывать проблему авторитетности и превосходства. Что касается меня, то я действительно не думал, что так увлекусь работой. Я сейчас горю ею. И если теория, высказанная мною, когда я «родился», верна, то вы, вероятно, будете мною недовольны… Как же будет с помещением?

– Сегодня мы едем снимать его с Машкиным. Он должен сейчас прийти.

Действительно, минут через двадцать пришел Машкин. Вид у него был удрученный.

– Что с вами? – спросил Капелов.

– У меня опять неприятности. Ах, когда они уже кончатся! Я так жду помощи от вас!

– Помощь будет, – сказал Капелов. – Скоро мы вас исследуем и установим причину вашей неавторитетности. Мне кажется, что нам удастся правильно разобраться в этом вопросе. А сейчас поедем снимать помещение для Мастерской Человеков.

– Ладно, – сказал Машкин, – едем.

Они поехали.

Помещение оказалось подходящим. В нем было много комнат, очень большой и удобный подвал для ледника, несколько флигелей во дворе, большой сад с довольно крепким высоким забором – как будто ни о чем лучшем нельзя было и мечтать. Особенно хорошо было, что в главном здании был длинный коридор, отделявший одну анфиладу комнат от другой. Стены были крепкие, широкие. Двери большие, окна маленькие. Держать людей можно будет свободно не только в леднике в анабиозном состоянии, но и в положении узников, впрочем, не узников, а объектов для необходимых опытов.

– Человечков сто, пожалуй, мы сможем тут держать.

– О, да! – согласился Мурель. – Даже больше.

– Помещения для лабораторий тоже хорошие. Есть где развернуться.

– А как будет с решетками? Не обратят ли на себя внимание решетки на окнах?

– Мы их сделаем внутренними, подальше от стекол, а стекла вставим матовые.

– Совершенно верно.

– Нет, как будто бы удачное помещение. Что ж, надо будет пока доставить сюда тех, кого вы наметили. А потом вы сможете уехать на Турксиб. Я думаю, двух-трех недель вам хватит на поездку?

– Думаю, что хватит.

Прежде чем отпустить Муреля, Капелов посоветовался с ним, как завлечь в Мастерскую Человеков первую партию москвичей. Группы «первых попавшихся» завлечь нетрудно: можно дать объявление об экскурсии, местом встречи назначить какой-нибудь вокзал; москвичи чрезвычайно падки до всяких экскурсий, надо предложить какие-нибудь интересные условия; на вокзале, несомненно, соберутся группы людей, они будут преблагополучно привезены в помещение Мастерской и приведены в анабиозное состояние. Но как завлечь тех, кто записан Мурелем поодиночке?

Впрочем, и это несложно: им будут разосланы повестки с приглашением на собрание или что-либо в этом роде. Они приедут и будут задержаны. Адреса их известны, Мурель их выследил, узнал, где они работают, и заблаговременно наметил способы их задержания.

Машкин тоже обещал доставить в Мастерскую несколько человек, которые, по его мнению, нуждались в срочной переделке. Кого-то обещал доставить и приспособленец Сергей Петрович Ипатов, который разъезжал по всей Москве, делал какие-то дела и возвращался в гостиницу смертельно усталым, падал на кровать, засыпал, а утром опять исчезал раньше всех.

Таким образом, материалом для исследований Мастерская как будто была обеспечена. Трудно сказать, в каком количестве все эти задержанные люди будут обладать положительными чертами, нужными для создания нового человека. Но этому должна была помочь намеченная поездка Муреля на один из выдающихся участков строительства.

Брусик, двойник Капелова, приступил к работе. Ипатову был дан приказ оставить свои разъезды по Москве и помочь оборудовать Мастерскую. Он начал доставать необходимые бумажки, доставил грузы из таможни в Мастерскую. Капелов за две ночи сделал несколько людей, необходимых для черных работ в Мастерской. Мотоцкий привез лед.

Работа спорилась. Было что-то необычайно простое в технике оборудования Мастерской.

Через несколько дней Мастерская была оборудована, и довольно большое количество людей находилось на леднике и в разных камерах подвального помещения.

Мурель хотел уже уехать, как вдруг явился Машкин, приезжавший, впрочем, ежедневно и активно помогавший Мастерской. На этот раз он явился особенно торжественно, в приподнятом состоянии, с новым письмом от Кумбецкого. Он сказал:

– Я думал сегодня уже отдаться в ваше распоряжение, с тем чтобы вы меня переделали, согласно вашему обещанию, но я получил вот письмо от Кумбецкого – чрезвычайно важного содержания. Он просит в срочном порядке исследовать, если Мастерская Человеков приступила к работам, насколько глубоко в крестьянине-единоличнике сидит чувство собственности. Он, видите ли, поспорил с кем-то за границей по этому вопросу, и в числе прочих доводов он оперировал и таким, что мысль о врожденном чувстве собственности является предрассудком, правда, вековым предрассудком и очень тяжким, но все же предрассудком, и очень распространенным. Он утверждал, что эта пресловутая непреодолимость крестьянского собственничества не так уж непреодолима. Все зависит от экономических причин, жизненного приспособления и всяческих условий. И вот он просит исследовать нескольких крестьян-единоличников, насколько глубоко в них сидит из рода в род переходившее чувство собственности, – действительно ли это чувство так глубоко сидит в крестьянине, что его никак нельзя вытравить, а если можно, то какие требуются для этого методы в условиях переходного времени?

– Как нам быть? – спросил Капелов, повернувшись к Мурелю.

Мурель подумал и сказал:

– Ну что ж, для нас тут нет ничего трудного. Крестьян-единоличников сколько угодно. Захватите нескольких и присоедините к тем, кого вам надлежит исследовать в первую очередь. Я съезжу на Турксиб и, может быть, еще на какой-нибудь участок строительства, привезу оттуда положительных людей и, надеюсь, успешность нашей работы будет вполне обеспечена. По-моему, следовало бы написать письмо Кумбецкому, что-

бы он поскорее возвращался в Москву. Он ничего не сделал для того, чтобы помочь нам, а уже дает сложные и ответственные задания. Я думаю, что теперь удобный момент для того, чтобы мы его заполучили сюда. А пока все это устроится, я успею съездить на Турксиб. У меня уже все готово для поездки.

Глава двадцать шестая

Мурель вернулся через шесть недель и привез тетрадку, чисто исписанную и очень похожую на рукопись о прохожих. Впечатления и характеристики были изложены в коротких четких главках, снабжены заголовками и деловыми примечаниями, как и кого надо исследовать. Рукопись была озаглавлена – «Люди первой пятилетки». Вот она в полном виде.

ЛЮДИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Характеристики и записи, сделанные во время специальной поездки на один из крупнейших участков строительства первой пятилетки СССР.

1. Основная тема моих записей

О Турксибе писали, пишут и будут писать. Это успешное и крупное достижение советского строительства требует всестороннего исследования. Но я чисто строительной его стороны не буду касаться. Моя тема – люди, живые люди, которых я видел и в пути, и на местах, разные люди, которые строят социализм.

Что это за люди?

Мы их видим в повседневной жизни – заросших, задерганных, вечно занятых. С портфелями, без портфелей, в рабочих блузах, в тужурках спецов (кстати, надо исследовать нескольких специалистов), на работе, на собраниях, на фабриках, в учреждениях. Они кричат, на них кричат; они обвиняют, их обвиняют; они указывают на ошибки, им указывают на ошибки. Не так-то легко разобраться, кто из них положительный тип, кто не совсем положительный и кто жулик (кстати, мы должны составить подробный список жуликов, чтобы ни одна черта их не попала в заказы на новых людей). Особенно трудно разобраться, кто в этой давке и строительной суматохе незаметно для самого себя стал но-

вым человеком и кто, размахивая руками по-новому, остается целиком в старом.

Конкретный случай

Но вот конкретные случай. Совершенно четкий и ясный. Турксиб. Построили. Факт! Восемь суток мы ехали туда, приехали, собственноручно щупали костыли, рельсы, шпалы. Факт! Построили. Тысяча четыреста сорок два километра!

Кто же строил?

Вот зарисовки живых людей, всяких людей, имеющих прямое и косвенное отношение к этому делу. Одни живут и работают там, другие приехали с нашим поездом.

Но их не надо отделять. Это все – люди пятилетки, живые, реальные люди. Многих я даже не знаю по фамилии, и мне кажется, что это неважно. Неупоминание даже прославленных фамилий только облегчает мне работу. Я могу отметить не только индивидуальное, а то, что кажется мне наиболее характерным и типичным.

Первый

Он – видный деятель, он занимает большой пост и очень известен. По национальности – казах. Говорит с сильным акцентом. Он молод, обаятелен. У него прекрасная улыбка. Во всем облике располагающее спокойствие (эти черты можно будет скопировать, когда будем делать лицо нового человека). В нем чувствуется исключительная порядочность, чистота. Повторяю, он очень известен, но у него не кружится голова от высокого положения (эту черту обязательно вставить в нового человека). В вагоне он сидит в черной рубашке, поверх которой почти по-детски красуются новые помочи. Детям заботливые матери шьют иногда такие штанишки вместе с держалками-помочами. Он говорит, застенчиво улыбаясь. Но вот разговор о Турксибе, о Казахстане, о возрождении этой страны – улыбка исчезает, вместе с нею исчезает его моложавость, эта юношеская округлость. Глаза его краснеют, губы вытягиваются, голос становится громким, интонации одухотвореннее и решительнее. Он говорит страстно, горячо. Мужественность и та целеустремленность, которой проникнуты все работающие на Турксибе и даже далеко отстоящие от непосредственной работы, излучается от него и заражает окружающих (це-

леустремленность исследовать в первую очередь). Но вот он кончил – и опять улыбка освещает его лицо. Он по-прежнему обаятелен, тих и моложав.

Перерыв. Объяснительное примечание

По моим наблюдениям, почти каждое дело в СССР окружено препятствиями. В этом заключаются исключительные трудности строительства. Три четверти энергии обычно уходит на преодоление каких-нибудь посторонних препятствий для того, чтобы перейти к борьбе с непосредственными. Классовая борьба принимает чрезвычайно усложненные формы. Очень часто даже трудно предвидеть препятствия, которые тормозят любое дело и для преодоления которых требуются настойчивость, ясное понимание задач, революционный энтузиазм и энергия.

Затем, ни один вид деятельности в СССР не может замыкаться в узкие специальные рамки. Воспитательная, просветительная, агитационная и пропагандистская работа сопровождает все виды деятельности и не освобождает никого. Даже когда советский работник направляется в санаторий или в дом отдыха, он и там должен проводить беседы с больными, организовывать какие-нибудь кружки, помочь чем-нибудь существенным, и вообще, делиться своими знаниями и своим опытом. Страна находится в периоде становления и коренной ломки. Враждебных сил всюду много. Недоразумения, неувязки, неполадки, ошибки – неизбежны, и общественная работа ни на минуту не может быть прекращена.

По пути следования нашего поезда было много участков всевозможного строительства. Это были те же Турксибы, но в меньшей степени, разных величин и размеров. На них тоже осуществлялась пятилетка, на них тоже были свои препятствия, трудности, ошибки, горести, перегибы, недогибы. Там недосчитали, тут просчитались. Иногда на станциях собирались толпы: это рабочие приходили повидаться с крупными работниками, которые находились в нашем поезде.

Первый. Окончание

Вечер. Темно. Большая толпа. Поезд стоит на станции. Кто-то ядовито рассуждает о недостаче продуктов. И вот выходит из вагона он, этот самый деятель. Он говорит так спокойно, так му-

жественно. Его слушают очень внимательно. Раскулаченные кулаки, которые тут же разгуливают, отодвигаются на задний план и исчезают. Окончив речь (манеру говорить и спокойные интонации использовать в заказах на новых людей), он заходит в вагон и садится за карту Казахстана. Поздней ночью я выхожу на разъезде подышать свежим воздухом – в его окне не потушен свет (исследовать на работоспособность).

Второй

Странная немного внешность для крупного партработника. Он похож на старого интеллигента. Серая просторная тужурка, сапоги, палка. Крепкий твердый взгляд. Определенность и точность в движениях и очертаниях фигуры. Большая решительность (эту черту обязательно привить новому человеку). Способность преодолевать все на своем пути (тоже). В городе Алма-Ата на параде что-то сделали не так. Он сорвался с трибуны, в этой серой тужурке своей, в сапогах, с палкой, налетел на кого-то. Как запрыгали в сторону люди на лошадях! Как помчались! Очевидно, есть у него такая сила, чтобы слушались его, и это при несомненной большой личной мягкости, которая в нем тоже явно ощущается. Это – хозяин. На Айна-Булаке (поселок, где происходило торжество открытия железной дороги) он улыбался, ласково трепал кого-то по плечу. Он говорил, слушал, но во всем чувствовалось, что он хозяин, один из хозяев, решительный и властный. А хозяин он потому, что знает, чего хочет. Эта властность, целеустремленность и решительность характерны для всех работников Турксиба (обязательно исследовать).

Еще один хозяин

Этот – один из самых главных. Он – работяга, крикун, говорун, актер, оратор. Он ласков со всеми, внимателен, чуток и тут же орет на всех. Он все замечает, он подвижен, вездесущ. Энергия клокочет в нем.

Говорит на какой-нибудь станциишке толпе загорелых рабочих, казахов, грабарей, землекопов, женщин и детей о костылях, о балках, о гвоздях и заклепках, а потом вдруг, раскачиваясь всем телом, орет громовым голосом о социализме, о будущем, о счастье человечества. Хватает ребенка, ставит на грузовик. Но этого ему мало – с грузовика на ящик, и кричит, что это для него, вот

для этого ребенка, построена железная дорога, для него, для будущих поколений! Странно тут, в пустыне, на жалком разъездике, в поселке, где четыре землянки и три юрты, за четыре тысячи километров от Москвы, слышать огненные слова о будущем, о социализме, о лучшем уделе для человечества… Но вот выходит это у него! Выходит! (Исследовать происхождение горячности, цельности, искренности, уменья завладевать аудиторией.) Он – народный трибун! Позер! Весельчак! Сентиментальный мечтатель и суровый строитель – одновременно! (Интересная помесь, обязательно исследовать!) Он умеет мчаться на дрезине по выжженным степям и устраивать дикие скандалы визгливым голосом из-за костылей, гвоздей, шпал, каких-то заклепок. Но кончилось дело – он опять актер, режиссер, народный герой…

Вот он опять расхаживает по грузовику или помосту, раскачивая руками и поводя плечами, как народный любимец, как всеобщий признанный веселый дядя-папаша…

Вот он опять хватает мальчика-пионера и кричит ему: «Говори!». Выволакивает из толпы древнего старика и ему кричит: «Говори!».

И старик говорит. А за ним пионер-казашонок стучит в барабан – здесь, в желтых голодных степях, это единственный и поучительный театр…

И после его речей, криков, искреннейших мечтаний о будущем и твердых приказов – работают. Как работают! Работают лучше, чем работали (составить список способов увлечения работой).

И вот дорога готова. Говорят, что о нем с удивлением пишут во всем мире. Что ж, он заслужил это. Он строитель. Его грудь украшает орден Красного Знамени.

Подрядчик

Этот поменьше чином. Высокий крепкий сибиряк. Лицо обветренное, красивое. Голос осипший. Глаза хитрые, очень хитрые, страстные, горячие. Первая мысль при взгляде на него – «подрядчик». О, этот умеет «выжать»! У такого поработаешь! У него в подчинении было 250 прокладчиков. И как прокладывали! Во всем мире, в Америке даже, в день прокладывают два с половиною километра железнодорожного пути. Два с половиною километра! А он установил новый рекорд – три с половиною! В день! И в каких

условиях! Воды нет, топлива нет: топливо – саксаул, обглоданное дерево, до карикатурности выжженное и высохшее. Летом жара, чудовищная пыль, ветры, самум. Зимой ледяной холод, болезни, бегство, всевозможные недовольства. Надо воспитывать, устраивать, кормить, ублажать, внушать уважение. Но какое тут уважение! Казахи на верблюдах неудержимо хохочут – паровоз пошел по плохой насыпи и опрокинулся! Паровоз опрокинулся! Вот тебе и шайтан-арба, то есть поезд! Вот тебе и советская власть! И Турксиб! Ха-ха-ха! Ху-ху-ху! Азиатский хохот в степи! По степям и пустыням сплетня. Она передается там так же быстро, как в любом городе. Это называется «узун-кулак» – длинное ухо. Летят на низкорослых карусельных своих степных лошадках и «передают»!

Или вдруг в ледяном зимнем степном мраке – звериный рев.

Вы думаете – волки? Шакалы? И эти воют и заливаются каждую ночь. Но это рев человеческий. Люди выбегают из бараков, из землянок. Рабочие. В одном белье, но с ломами в руках, молотами, топорами. Что такое?! Что случилось?! «О, люди, люди!» Это, оказывается, любовь… Ревность! Тут, в голодной степи, в болезнях, в холоде, во мраке, заварилась любовная ревнивая склока… Девушка изменила, ушла от костыльщика к грабарю… И вот пошли все костыльщики на всех грабарей вымещать тоску и отчаяние непосильной жизни…

И все тот же «подрядчик» должен выскакивать один против всех с револьвером.

– Убью! – кричит он, покрывая всех отчаянным ревом. – По местам! В бараки! Убью!

Какая тема для «оригинальной» любовно-экзотической новеллы! Но ему не до новелл. Какие тут к черту новеллы! Надо поднимать опрокинутый паровоз. Надо прокладывать мосты через болота. Надо достать хлеба, воды, лошадей, найти людей, убедить их, что самое важное – это постройка дороги, прокладка рельсов, шпал. «Товарищи, забудьте все ради этой цели. Ничего важнее этого нет. Вперед, товарищи!» (Исследовать силу упорства, настойчивости, пафоса.)

У него обветренное большое хлопотливое, решительное, суровое, беспокойное лицо. «Подрядчик»… Да, это подрядчик. Это тип настоящего массового организатора. Но ведь подрядчик «для

себя» работает. Он «выжимает» для себя. Он строит себе домик. Он зарабатывает «на стороне» – где же еще зарабатывать, как не на стороне и не подрядчику?

Но это странный подрядчик. Он получает только советскую ставку. Только всего. Никаких заработков и приработков. Никаких досочек, балочек и домиков. Ничего (исследовать с величайшей тщательностью отсутствие стяжательских мотивов в работе. Совершенно неисследованная область).

Справка из Ленина

Это-то уменье работать без отдыха, без отпуска, старея и седея, работать не для себя и не для «ближнего», а для дальнего, о котором писал Ленин.

Ленин писал, что когда начнется такая работа, – начнется социализм.

Как же внешность?

У этого «подрядчика» старая внешность. Между тем в нем, несомненно, проявились черты нового человека. Как это случилось? (Исследовать самым тщательным образом.)

Инженер

Он одет с претензией на щеголеватость. В серой шляпе… В самом деле, как можно тут, в пустыне, без шляпы?.. Он молча подставляет грудь для прикрепления к ней ордена Трудового Знамени. Внешне он спокоен, но видно, что очень волнуется. У него сдвинутые брови, та же целеустремленность во всем облике, та же сосредоточенность, горячая страсть. Спина чуть согнута от работы над чертежами. Глаза, может быть, слишком хмуры. Трудно, очень трудно в этих условиях высчитывать выемки в каменных горах, прорубить тоннели, прощупывать эти проклятые пески. Ведь ошибаться нельзя.

Один застрелился

Один инженер застрелился только потому, что ему показалось, что он ошибся. Только показалось.

Точность – это стихия, это не педантизм. Строить без точности нельзя. Надо быть точным. За неточность платят жизнью. Такова жестокая, слишком жестокая логика героизма. Конечно, это слишком, это нелепо, это ненужно. Но таких инженеров, наряду с вредителями, число которых уменьшается, становится с каждым го-

дом больше (исследовать стихию точности в работе. Надо, чтобы новые люди не были скомпрометированы самоубийствами).

Вежливый

Еще инженер. Этот удивительно вежлив. Ах, какой он вежливый! Откуда в пустыне такая вежливость?! Он не говорит – поет! Он улыбается так любезно! Так по-светски изгибается! Неужели же такой умеет управлять работами? Ведь на постройках считается «хорошим тоном» орать и ругаться, даже когда выражается дружеское поощрение: «Эй вы, босяки, вшивая команда, налегай! Запузыривай!». На Турксибе тоже были, и в немалом количестве, специалисты по такого рода словесности. Откуда же вдруг такой вежливый? Откуда этот мягкий тон, эти учтивые движения? Впрочем, он не всегда таков. Я забрел в поселок и там случайно наткнулся на этого вежливого инженера, занятого делом. Он отдавал приказание шоферу. Он стоял перед ним в довольно изысканной позе и говорил:

– Нет, не кто иной, а вы. Именно вам предлагаю. Вам. В два часа. Да. Не хочу слышать. Простите, ничего не хочу слышать. Вам.

Шофер размахивал руками и говорил то, что часто говорят шоферы: нет бензина, нет масла, колеса не вертятся, мотор не работает, шины лопнули. Но вежливый инженер, по-светски полунаклонив голову, выбрасывал в него кусочки стали:

– Лишние слова, товарищ. Никаких. В два часа. Вам предлагаю и никому другому. Вам.

И видно было, что та великая целеустремленность, которая руководила всей стройкой, сумела нанизать на себя всякие человеческие свойства, в том числе и вежливость. Этого инженера я видел несколько раз, и всякий раз он вселял в меня повышенную и радостную бодрость (учитывая последнее, обязательно вставить черту вежливости в заказы новых людей).

Казах-рабочий. Неужели новый человек?

Он сидел на корточках, щурил узкие глаза и смеялся. Он нам рассказал, как мог, что закрыли где-то мечеть. Рассказывая, он смеялся, но так заразительно, так упоенно (хороший смех: скопировать игру лицевых мускулов – для образца). В рассказе его не было ничего особенного. Ну, закрыли мечеть, мало ли закрывают церквей, синагог. Закрыли и мечеть. Но он смеялся почти

как грудной ребенок, из глаз его струилось невероятное упоение. Самый факт закрытия его поразил. Его смешила сама возможность того, что он, по-видимому, считал совершенно невозможным. Мы его спросили, хочет ли он молиться. Он сначала ответил, что не хочет, а потом замотал головой, что хочет. И опять рассмеялся. Белые зубы были у него здоровы, беспечны, молоды. Это был ребенок, это был новый человек (обязательно исследовать в первую очередь).

Еще казах

Он приходил к нам пешком, приезжал на лошади, все рассказывал, что он член профсоюза. Говорил он очень плохо, через каждые несколько слов он указывал с энтузиазмом на барак, из которого выходил. Лицо у него было заросшее, черное, глаза настойчивые, отяжеленные мыслью. Он указывал на барак, говоря:

– Такой товарищ.

Сначала было непонятно, в чем дело. Барак был как барак.

Перед ним, правда, чернело что-то, сидел человек. Казах указывал на него восторженно и повторял:

– Такой товарищ.

«Такой товарищ»

Он оказался рабочим-партийцем. Он нехотя рассказывал мне, что занимается с этим казахом, учит его грамоте. Он был явно утомлен. Лицо его было в морщинах. Долго пришлось мне ухищряться, пока я вызвал его на разговор. Из скупых его слов я понял, сколько труда, сколько усилий, сколько крови тратили рабочие-партийцы и комсомольцы не только на орабочивание казахов, но и на борьбу с некультурностью, национализмом, шовинизмом и всяким хамством, которое еще не изжито в отсталых слоях трудящихся. Ведь сколько гнусности выплескивалось из людей, разнузданных беззаконностью и нравами выжженной степи! Кроме работы на стройке передовым рабочим-партийцам и комсомольцам приходилось вести неустанную работу в бараках. Ведь тут порой издевались друг над другом, издевались над казахами, мазали им, мусульманам, губы свиным садом (исследовать во всех проявлениях истоки национальной ненависти, шовинизма, презрения к угнетенным национальностям). Сколько сил ушло на борьбу с бандитами, шкурниками, пьяницами! (Обязательно ис-

следовать психологию шкурника.) Тут сатанели от водки, которую тайно привозили в бутылках, вплетенных в густую верблюжью шерсть. Сколько сил стоило упорядочение быта, введение персональной посуды, перевоспитание казахов, обуздание отщепенцев в среде трудящихся!

Главный хозяин стройки

Эхо был безымянный рабочий. Один из многих. Представитель рабочего класса. Он коллективно строил Турксиб. Он тихо и незаметно вел и производственную, и общественно-воспитательную работу.

Это был главный хозяин этой поразительной стройки, и первый коллективный орден Трудового Знамени получил он (массовый рабочий, рабочий-производственник, рабочий-организатор, рабочий-общественник, рабочий – представитель исторически прогрессивного класса чрезвычайно вырос. Обязательно исследовать несколько десятков таких рабочих. Без понимания классового отношения к строительству и классового подхода ко всем явлениям советской жизни понимание происходящего невозможно).

Срочное предложение

У меня есть срочное предложение, которое будет мною изложено в конце настоящей записи.

Счетовод

Вечером на митинге в степи среди казахов, рабочих, крестьян стоял худой изможденный человек. Он слушал внимательно оратора и дергал носом – нервность. Он явно волновался. Разговориться с ним было нетрудно. Он охотно рассказал о себе. Рассказ был несложен и горек. Счетовод. Особый тип счетовода – степной счетовод. Не очень веселое дело – вести книги в кибитках, в замерзших бараках, в нетопленых вагонах. От холода и болезней умерла его жена. Тяжело больна дочь. Он один. Слоняется по станции Луговая. Он в отпуску. Хочет ли он ехать куда-нибудь? Переменить обстановку? Работу? Дорога кончена – почему ему не попытаться улучшить свой быт? Ведь нельзя же все время работать в таких тяжких условиях? Да. Трудно. Очень трудно. Но он не хочет покидать Турксиба. Работы еще много. Теперь дорога только будет обстраиваться. Нет, он не хочет уезжать отсюда. Лицо

его искривлено гримасой раздумья. Нос нервно дергается. Нет, он не уедет с Турксиба.

– А что ж тут особенного? – спрашиваю я. – Во всей стране идет строительство, не только тут.

– Не знаю, привык я тут. Подъем здесь большой. Оживление. Не могу отсюда уехать.

Рабочая солидарность

На станции гул. Много рабочих. Слушают ораторов. Разбиваются на кучки. Говорят. Спорят. Доказывают.

В небольшой кучке рабочий-ударник, приехавший с нами из Москвы, с перекошенным лицом, вкладывая в каждое слово всю свою силу, укорял жестоко местного работника:

– Как тебе не стыдно! Ну как тебе не стыдно – рабочий ты или не рабочий?

Подхожу. Тот стоит смущенный, целиком принимает упрек.

В чем-то провинился (исследовать истоки классовой солидарности).

Еще московский рабочий

Рядом опять «скандал». Другой рабочий, тоже едущий с нами из Москвы, кричит на местных работников милиции, которые наводят порядок и отгоняют публику от поезда:

– Ну чего вы их гоните? Что они, съедят поезд, что ли?! Прекратите, товарищи!

Это московский рабочий с бухарским орденом Красного Знамени. Он хорошо знает Туркестан: он тут воевал, он возглавлял большую красноармейскую часть. В поезде он нам немного рассказывал о своих боевых похождениях. Но очень мало. В нем нет этого солдафонского зуда. Нет «военного» хвастовства. Нет, это не вояка. Это – рабочий, которому пришлось с оружием в руках бороться на военном фронте. Он очень охотно рассказывал нам о нравах народов Туркестана. Он довольно много знает и очень связно рассказывает. Между делом он окончил трехгодичный вечерний университет. Да, это не «вояка», не «рубака». Он будет драться, я уверен, лучше любого рубаки, но у него нет и тени солдафонства. У него спокойный тон. И вот тут, на станции, он спокойно, но властно говорит товарищам-милиционерам, чтобы они зря не гнали «публику».

Он держит руки в карманах. Худой, бледный, совсем-совсем штатский по внешности. Но местные работники милиции ему подчиняются. На нем нет мундира и нет никаких чинов. Но они чувствуют, что это – старший товарищ, что это хозяин и что он лучше понимает, как надо обращаться с «публикой», и слушаются его.

Мое предложение

Необходимо в срочном порядке приступить к работам по составлению «Энциклопедии типов советских работников». Это совершенно необходимо. Энциклопедически точная обрисовка галереи социальных типов советских работников явится незаменимым подспорьем для всех работ Мастерской Человеков. Без такой точной и проверенной энциклопедии я не мыслю себе хоть сколько-нибудь правильной постановки работы.

Глава двадцать седьмая

Мурель вернулся в Москву весьма озабоченным. Кто бы мог, глядя на этого чрезвычайно худого, жалкого на вид человечка, догадаться о причинах его озабоченности!

Маленький худой человек вез с собою материалы о советских людях, о лучших советских людях, выдающихся участниках социалистического строительства. Он вез с собою материалы о них, записи черт, столь необходимых советской стране. В особой книжке у худого человека были записаны адреса, железнодорожные станции, имена, отчества, фамилии, наименования учреждений, числа, дни, адреса телеграфов и многое другое, что обеспечивает вызов любого из виденных им людей для исследования. Всевозможными способами – обманом, хитростью – вызов любого из работников Турксиба был обеспечен.

Но не об этом думал худенький человек, приближавшийся к Москве в жестком вагоне дальнего поезда. Он думал об «Энциклопедии социальных типов советских работников».

Как должна быть составлена эта книга? Он видел ее. Внешне она не должна была представлять собою ничего особенного. Обыкновенная объемистая книга типа любой энциклопе-

дии. А в ней без всяких рассуждений, без обыкновенной книжной воды, без унылой лжи, академического топтания на месте должны быть даны точные, проверенные, обобщенные характеристики типов советских работников. Каждой разновидности должно быть отведено не больше одной-полутора или двух страниц. Возможно, даже меньше. Здесь должна быть предельная краткость. Иначе работа рискует затянуться.

Какое количество разнообразнейших людей, богатейших разновидностей всевозможных социальных типов придется записать! Сколько будет положительных, сколько будет отрицательных, сколько будет безразличных человеческих существ, столь замедляющих исторические процессы! Какая работа! Какая работа!

...Кто бы мог подумать, глядя на худенького человека, жалкий вид которого усугубляла бедная обстановка жесткого вагона, что он взвалил на свои слабые плечи такую грандиозную задачу!.. На кого он был похож, этот заморыш? Трудно сказать... В советской стране даже не встретишь таких. Несмотря на то, что жизнь чрезвычайно трудна и ответственна, каждый советский гражданин загружен и даже перегружен работой; несмотря на то, что каждого кроме производственной работы и общественной в достаточной мере отягощают еще всякие заботы, формальности, бесконечные препятствия, встречаемые решительно на каждом шагу, несмотря на все это, а также и на кризисы, которые так часты в советском быту, в том числе и продовольственный кризис, таких худых людей, как Мурель, в советской стране почти нельзя встретить. На кого же он был похож? Его глаза обращали на себя внимание. Такие большие, вдумчивые... Вот что значит эликсир интеллектуальности, щедро влитый Капеловым в свое время!

Капелов хорошо относился к своему детищу. Он ценил Муреля. Ведь как мало интеллекта обычно встречаешь в жизни! Даже в таких учреждениях, где интеллект, казалось бы, должен быть на первом месте, где интеллектуальная жизнь является их основой, например, в ученых обществах, литературных и художественных объединениях и так далее, интеллекта все-таки очень мало. Преобладает псевдоинтеллект, суррогаты, эклектизм всех сортов

и видов, интеллектуальное воровство, подражание, бедность и интеллектуальная нищета.

Или взять даже Мастерскую Человеков. Уж, казалось бы, тут должен был бы господствовать настоящий интеллект! Но и тут его чрезвычайно мало. У Латуна он прикрыт странностями, страхом перед жизнью, абсолютной беспринципностью и скупостью, а у всех этих Кнупфов, Ориноко, Камиллов, Батайлей, Карташевичей и других он, как говорится, и не ночевал…

Так бывает всегда. В ученых обществах, в самых интеллектуальных учреждениях и институтах – то же самое. Если есть кто-нибудь по-настоящему интеллектуальный, то он пользуется в большинстве случаев небольшим авторитетом, а действуют какие-то секретари, ловкие люди, глупые люди, которые умеют жонглировать умными понятиями. Впрочем, кому это неизвестно!

Капелов поэтому очень ценил Муреля. О, он нисколько не жалел о том, что влил в него в большом количестве эликсир интеллектуальности.

Однако он встретил его довольно сдержанно. Капелов был озабочен. Действительно, очень уж много было забот!

Московскому отделению Мастерской Человеков повезло с помещением. В нем можно было развернуть работу по-настоящему. Но чего-то все же не хватало. Людей было как будто достаточно: за время отсутствия Муреля Капелов создал еще несколько человек, затем нескольких переделал из существующих. Но все-таки чего-то еще не хватало. От Кумбецкого получилось еще одно письмо – его тоже получил Машкин, который опять прибежал в Мастерскую и передал его содержание. Кумбецкий спрашивал, приступлено ли уже к исследованию единоличника-крестьянина с целью точного определения: глубоко ли заложено в представителях этого социального слоя чувство собственности?

Капелов был далеко не уверен, сможет ли он выполнить как следует это задание. Между тем он понимал, что для Мастерской Человеков, желающей работать в Советской стране, оно является основным или одним из основных. В самом деле, что же может интересовать Советскую страну, если не такого рода исследования? Кумбецкий прав, от этого будет зависеть его отношение

к Мастерской. Машкин, передавая второе письмо, добавил, что Кумбецкий просит сделать это по возможности срочно.

– Что делать? – спросил Капелов Муреля, оставив на время тон хозяина, заимствованный им у Латуна. – Я согласен, нам нужно исследовать всех, кого мы уже набрали по вашим наблюдениям и записям и по указаниям других людей. Пока вы отсутствовали, мы их тут набрали в достаточном количестве. Подвалы и ледник переполнены. Затем многих из тех, кого вы наблюдали на Турксибе, я тоже согласен вызвать сюда. Безусловно, в них можно найти новые черты, которые понадобятся нам для создания нового человека. Но как быть с просьбой Кумбецкого?

Мурель подумал и сказал:

– По-моему, мы справимся с этой задачей. В конце концов, что в ней особенного? Наберем нескольких единоличников – существа не бог весть какие сложные – и разберемся.

– Это легко сказать. Знаете, что такое чувство собственности у крестьянина? Вы знаете могучесть этой стихии? Это не шутка! Я вполне понимаю, почему это волнует Кумбецкого. Революций было много. Городские массы подымались сравнительно легко. Рабочий класс революционен по самой своей сущности. Но крестьянство! Крестьянство! Об эту косную массу не раз разбивались высокие революционные порывы. Знаете ли вы, что такое собственничество крестьянина-хозяина? Крестьянин-кулак – это первичный накопитель. Его жадность не знает пределов, его хищность не останавливается ни перед чем. Это – чисто звериное отношение к вещам, к имуществу, к чужому труду, к накоплению… По сравнению с ним самый жестокий и хищный капиталист – порой культурное и ласковое существо. Тот, как-никак, больницу построит для рабочих, у него можно вырвать деньги на университет, на стипендию, на благотворительное учреждение. А мужики – крупные собственники – это дикие кабаны, это вепри! Мужик-кулак – это заросшее чудовище, которое готово идти с вилами, с обрезом на всякого, кто посягнет на его логовище. Вся мировая литература не находила красок для изображения в сколько-нибудь светлых тонах этого чудовищного инстинкта!

Но мы видим сейчас, как крестьянское хозяйство коренным образом перестраивается, удивительно просто, определен-

но и решительно. Это мировая загадка! Ведь никто не верил и не предполагал, что это может совершаться так просто и четко. Между тем это несомненный факт. Никто сейчас не может отрицать это. Ну, конечно, не обходится без трудностей, ошибок, перегибов и так далее. Как будто можно такое дело делать без ошибок! У кого есть опыт по такому решительному переустройству крестьянского хозяйства – из единоличного в коллективное? Конечно, трудностей предстоит еще достаточно, но этот вековой лед, этот мрачный пласт, этот, казалось, несдвигаемый вечный лед тронулся, двинулся и пошел, заглушая все вокруг весенним грохотом. Идет широкая революционная работа… Кулаки должны быть ликвидированы как класс… Среднее и мелкое крестьянство, так называемые середняки, – а о бедняках и говорить нечего, – пошли в колхозы и совхозы, их надо воспитывать, переделывать, доделывать, многие из них еще, конечно, будут уходить, возвращаться, – это уж, так сказать, будни. А главное – есть еще большое количество единоличников, которых надо превратить в колхозников. Вовлечение в колхозы единоличников – одна из главнейших задач, которая намечена в этой труднейшей и ответственнейшей области. И вполне естественно, что Кумбецкого интересует, в первую очередь, исследование единоличника.

– Так кто же мешает нам сделать это? – опять повторил свой вопрос Мурель. – Я уверен, что мы это сделаем хорошо.

– Я бы не мог этого сказать.

– Почему?

– Очень ответственная работа. Не забывайте, что дело новое. Даже Латун многого не понимал в людях. Он так и говорил: «Мы не обязаны понимать», – и повторял свое излюбленное: «Мы не боги, мы – ремесленники». Но ведь тут Кумбецкому мы этого не скажем. Затем Латун говорил заказчикам: «Давайте образец, мы по образцу и сделаем». А тут мы должны делать новых людей. Кто нам даст образец? Где образцы новых людей? Мы должны создать нового человека из отдельных черт, еще, может быть, не существующих, а в известной части разбросанных во многих существующих людях.

Мурель, который не был приспособлен для призывов к бодрости, все же бодро сказал Капелову:

– Повторяю, мы вполне справимся с работой. Надо только до этого сделать нескольких интеллектуалов. Не пугайтесь. Это не будет требовать большого количества эликсира. Надо сделать людей, которые помогли бы нам всесторонне разбираться в явлениях. Отчасти это смогут делать живые люди – ведь и в Москве, и в других городах есть огромное количество людей, способных разнообразно рассуждать и подходить к явлению с разных сторон. Но нам нужны острые сгустки. Например, я думаю, что нам нужно создать исключительного подлеца, этакого выродившегося представителя побежденного класса, во всем изверившегося. Он нам будет нужен для внутреннего употребления на наших исследовательских работах. Пусть он чернит все, пусть играет роль серной кислоты при испробовании золота. Пусть шипит на всем поганый яд его неверия, его злобы, его зависти, его презрения, его пустоты, ничтожества и глупости. Знаете, недавно я был на одном собрании. Говорили всякие люди. Ну, как всегда, разговор шел по двум-трем-пяти трафаретным руслам. И вот выступил такой подлец. Все в нем было подло. Мясистые щеки, гнусный неопрятный рот, холодные мерзкие глаза. Весь его облик, маленькая голова на коротком толстом теле, эти пухлые кулачки, которыми он потрясал, – все было мерзко. Он во всем видел плохое, он ежеминутно просил не увлекаться. Он заранее предвкушал обман, предательство, опасность, трудности. Он не верил ни во что. Словом, такого нам создать следовало бы. Будем его держать где-нибудь в подвале на цепи и во время наших исследовательских работ, а особенно во время создавания нового человека, – он, может быть, будет нас удерживать от действительно, может быть, неизбежных увлечений. Следовало бы еще создать нескольких людей, которые могли бы быть нам полезны во время работы. Но я сейчас не могу вспомнить, кто нам нужен. Это мы сделаем попутно. Что касается исследования единоличника, то вовсе не так страшно это. Вся эта тысячи раз описанная скупость, крестьянская жадность и так далее – я не знаю, может быть, это преувеличено, ведь ничего нет страшнее, ничего ужаснее привычного представления, консерватизма. Трудно даже представить себе, что делает с сознанием людей власть предрассудков! Это такое бедствие – предрассудки, это такой ужас! Даже самые умные, са-

мые трезвые люди не чувствуют, как подпадают под гнет их тлетворного влияния. И многое от этого есть в отношении ко всяким порокам и свойствам людей, в том числе и к этой пресловутой крестьянской жадности. Весьма возможно, что это самый обыкновенный тлетворный результат утвержденных многолетними традициями предрассудков.

Глава двадцать восьмая

Для исследования крестьянина-единоличника и того, насколько глубоко в нем сидит инстинкт собственности, разумеется, необходим был хороший макет поля, земельного участка с домиком, овином, сараем, коровами, лошадьми, свиньями, курицами и так далее. Без этого опыт исследования не мог бы начаться.

Между тем такой макет требовал особых затрат.

– Мы посадим крестьянина вот сюда, – сказал Капелов, – а перед ним установим сельскохозяйственный макет. Свое хозяйство он должен отчетливо видеть.

– Ну что ж, – предложил Мурель. – Пускай Машкин достает. Это задание Кумбецкого. Пусть Машкин идет в Наркомзем или куда нужно и достает макет. Затем нам нужно вызвать экспертов – ведь могут возникнуть какие-нибудь вопросы. Согласны? Где же Машкин?

– Ох, этот Машкин, – вздохнул Капелов. – Он тут дергал меня изрядно. Нетерпелив человек до предела. Все просит сделать его авторитетным, властным человеком. Он уже сам два раза бегал в ледник и просил наших техников его заморозить. Но в последний раз он испугался и совсем ушел. Третий день как он не приходит в Мастерскую.

– Почему?

– В этом виноват Брусик, черт бы его побрал! Между прочим, его надо утихомирить. Понимаете, он вдруг стал проявлять странную деятельность. Представьте себе, сам начал делать опыты! Я его создал по своему подобию для того, чтобы он выполнял черные работы. Но, очевидно, в него попало что-то постороннее, и он вообразил себя настоящим мастером! Он делает опыты со-

вершенно бессмысленные, а главное – жестокие… Черт его знает, какое мясо попало в него! Он дерется с таким аппетитом, что просто неловко! Если дать ему волю, Мастерская Человеков приобретет репутацию какого-то застенка.

– А что он натворил?

Капелов с негодованием рассказал Мурелю, как этот Брусик, наслушавшись разговоров о властных и невластных людях, посадил в одну комнату сухого желчного человека, сделанного из остатков колониального полковника, и другого – бывшего адвоката с приятной улыбкой, который был захвачен на улице. В одной из стен комнаты, куда были заключены эти двое, Брусик прорубил щель и наблюдал за ними. Цель его была – заставить адвоката не подчиняться колониальному отпрыску. Средства воздействия он выбрал самые примитивные: он нещадно бил его огромными своими кулачищами, невероятно окрепшими в его нелегкой работе, – ведь он месил человеческое тесто! И вот, стоя перед щелью, он следил и почему-то приходил в невероятную ярость, когда адвокат все-таки подчинялся тому, в то время когда он имел полное право не подчиняться.

Колониальный отпрыск сидел за столом, вставал, гулял. В нем в самом деле было что-то властное, напоминавшее полковника. Во всяком случае, та таинственность, которая сопровождает властность, в нем была.

В глазах его, правда, не было «стального блеска». Про их выражение нельзя было сказать «холодное», «суровое», «сильное», «свинцовое» – или как еще говорят о властных людях. У него были глаза как глаза и лицо как лицо.

Губы его тоже нельзя было назвать «твердыми» и «сжатыми». Вообще, все то, что говорят обычно о властных людях – «энергичный подбородок», «прямой затылок», «сурово сдвинутые брови», «взгляд исподлобья», «металлический голос», «твердая походка», «спокойные и сильные движения» и так далее до бесконечности, что надумали беллетристы, – к нему нельзя было применить.

Этот человек имел обыкновенный вид.

Но вот – все-таки заставлял обслуживать себя! В первый же день он послал бывшего адвоката за папиросами. Как только он его увидел, он коротко и спокойно сказал ему, чтобы он пошел за

папиросами. Дверь была еще открыта, и тот покорно пошел и – встретился в коридоре с Брусиком.

– Куда вы идете? – спросил Брусик.

– За папиросами, – очень смущенно, даже покраснев, ответил адвокат.

Брусик спросил:

– Отчего вы смущены? Отчего покраснели?

Тот чистосердечно ответил:

– Оттого, что встретил вас. Мне стыдно. Но отказать соседу я не могу. Не знаю почему, но не могу, и вот мне стыдно и неловко. Но, конечно, особенно стыдно оттого, что я встретил вас. Я думал, что никто не будет знать. Это было бы легче.

Брусик пришел в ярость.

– Не понимаю, – сказал он. – Вы совершенно нормальный человек. Почему вы выполняете лакейские поручения? Почему на вас действует ваш сосед? Почему вы не сказали ему, чтобы он сам пошел за папиросами?

– Он сказал, что он хочет курить.

– Черт знает что такое! – рассвирепел Брусик. – Ну какое вам дело до этого? Мало ли чего он хочет!

– Я сначала решил не исполнить его просьбу, но он ходил по комнате и так смотрел на меня, что мне было не по себе.

– Ну, а дальше? – спросил Брусик.

– Дальше было так: он небрежно, на ходу, не глядя на меня, положил мне в ладонь деньги и спокойно сказал: «Купите, пожалуйста, папиросы «Ира», 25 штук». И я ничего не мог сделать. Я хотел что-то сказать, но вместо этого сказал: «Хорошо», – и вот пошел. Знаете, я не могу находиться в одной комнате с человеком, который будет мною недоволен. Я понимаю, что мне нет дела до того, что он хочет курить. В самом деле, какое мне дело до этого? При чем тут я? Но вот так вышло. Он меня послал за папиросами, и я пошел. Правда, мне очень неловко и стыдно… Повторяю, если б никто не видел, мне было бы значительно легче.

Брусик, ничего не говоря, размахнулся и отпустил бывшему адвокату правой рукой оглушительную пощечину. Другой рукой он нанес ему удар прямо в зубы. Безобразие! Затем обеими руками, сжатыми в кулаки, он ударил его по затылку. И наконец, сде-

лав за ним два-три шага, он подпрыгнул и добавил сильный удар коленом в зад.

– Гнусный человечишка! – кричал он. – Мелкая дрянь! Сволочь ты этакая! Ты ни в чем не зависишь от него, а бегаешь для него за папиросами! Что же было бы, если б ты зависел от него?! Купи ему папиросы, купи! Пожалуйста! Но если он еще раз пошлет тебя куда-нибудь, и ты пойдешь – я тебе голову оторву! Беги скорее!

Через десять минут папиросы были принесены, и опыт продолжался. Брусик стал следить, как будут в дальнейшем проявляться склонности бывшего адвоката к подчинению, а отпрыска колониального полковника – к эксплуатации.

Ему не пришлось долго ждать. Адвокат вернулся и положил папиросы на стол. Тот взял их, не сказав даже «спасибо». Он сел и начал курить. Адвокат тихо прошелся по комнате и остановился у окна. Прошло в молчании минут десять.

– Будьте добры, откройте форточку, – сказал человек, сделанный из остатков колониального полковника. – Здесь очень душно.

Адвокат, который находился около окна, открыл форточку.

– Спасибо, – небрежно, полупрезрительно, сквозь стиснутые зубы пробурчал полковничий отпрыск.

Брусик опять пришел в ярость. Он открыл дверь и вызвал в коридор бывшего адвоката.

– Что я тебе сказал, мерзавец?! Почему ты продолжаешь лакействовать?!

– А что произошло?

– Как так, что произошло?! Я все видел в щелку. Почему ты открыл форточку?

– Как почему? Он просил открыть.

– Лакей!! Холоп!! Прислужник! Гнусный раб! Ты не мог ему сказать, чтобы он сам открыл форточку, если это ему нужно?

Брусик, не будучи в силах сдержаться, опять стал бить несчастного.

– В последний раз заявляю: если ты еще один раз подчинишься ему, – пущу в котел!! Пойдешь в переделку!!! Уничтожу!!

Капелову стоило немалых трудов прекратить эти бессмысленные и безграмотные опыты. Побои в Мастерской Человеков! Что

может быть нелепее?! Избиение – это первый показатель бессилия. Избивают тогда, когда не умеют переделать. В Мастерской же Человеков, где есть все возможности не только переделывать отдельные свойства человека, отдельные черты его внешности или характера, но даже сделать его заново, – какой смысл в избиениях?

Разумеется, Капелов сделал Брусику соответствующее внушение, но подумал, что этого будет мало, – придется его самого изменить.

– А где этот полковничий отпрыск? – спросил Мурель, которому Капелов рассказал всю эту историю.

– Он сидит там, в подвале.

– Надо бы его исследовать. Может быть, он нам пригодится.

– Это можно. Но пока нам нужно все-таки заняться единоличником. Но вот Машкин, увидев эти великолепные опыты Брусика, сбежал. Кто знает, он еще может написать Кумбецкому об избиениях и пощечинах, и это может скомпрометировать все наше начинание. Ах, этот Брусик! Черт его знает, со всех сторон неприятности!

– А единоличники уже доставлены в мастерскую?

– Да. Несколько человек.

Мурель оживился:

– Давайте исследуем их завтра. Ничего, я думаю, опыт пройдет успешно. Сегодня я разыщу Машкина, достанем макет и с утра приступим. Ладно?

– Не возражаю, – сказал Капелов.

Мурель поехал к Машкину. Избиение Брусика действительно произвело на него удручающее впечатление, но не настолько, чтобы он разочаровался в Мастерской Человеков. Он продолжал верить в нее, считая поведение Брусика случайным и нисколько не характерным для деятельности Мастерской. Когда Мурель осудил Брусика и сообщил Машкину, что ему запрещены бессмысленные опыты, Машкин окончательно успокоился.

– В самом деле, – сказал Машкин, – разве так можно исследовать вопрос об авторитетности? Ведь это вопрос очень сложный, очень тонкий, очень серьезный. Подчинение одного человека другому, одной группы другой, одного класса – другому вызывается сложными причинами. Тут и исторические причины,

и экономические, тут играет роль и традиция, и изменения в психике, вызванные в свое время экономическими и историческими условиями, и законы наследственности, и так далее, и так далее. Как же можно такое сложное явление разрешать ударом кулака по лицу или коленом в зад?

Но так или иначе, вопрос этот вам нужно разработать в первую же очередь. Это – один из интереснейших вопросов. Знаете, каждый день, каждый час сталкиваешься с проблемой влияния человека на человека. У нас иногда за отсутствие влияния даже упрекают, даже снимают с должности, так прямо и говорят: «Не сумел стать авторитетным, не сумел приобрести влияния».

Машкин с грустью задумался и продолжал:

– Знаете, поговорите, например, с людьми, которые по роду своей службы принимают много посетителей. Все они вам охотно сознаются, что при всем желании они совершенно одинаково ко всем посетителям относиться не могут. Самые справедливые, опытные и твердые люди по совершенно бескорыстным причинам или, вернее, по отсутствию явных причин, для одного посетителя делают то, в чем решительно и резко отказывают другим. Мне не отказывают только тогда, когда уже действительно нельзя. Но если есть хотя бы малейшая возможность, мне отказывают резко, небрежно, оскорбительно, не думая… Почему это? Что есть во мне такого, что сразу заставляет не считаться со мною?..

Мурель рассказал Машкину о предстоящем опыте по исследованию единоличника и необходимости в связи с этим достать в Наркомземе макет сельского хозяйства.

– После этого опыта мы немедленно исследуем и переделаем вас, – добавил Мурель. – Я не сомневаюсь, что вы будете авторитетны.

Машкин оживился, поблагодарил и обещал достать макет.

Глава двадцать девятая

Сельскохозяйственный макет был сделан хорошо. Он занимал приблизительно два квадратных метра. В центре аккуратненько возвышался домик. На отдельной дощечке, которая была при-

ложена к макету – таких дощечек было несколько, – был показан домик изнутри, в разрезе и в развернутом виде. Какие удивительные мастера делали этот макет! Вообще, в Москве есть много мастеров по выставочному делу и по устройству всевозможных макетов! Без всякого труда можно было рассмотреть дом крестьянина-единоличника в мельчайших деталях. Тут была и завалинка снаружи перед входом, чуть кривая, с впадинкой, в которой удобно было сидеть.

Внутри дома были скамейки, полати, широкая печь и всякие подробности, о которых все привыкли думать, что они придают уют и так называемую «радость своего гнезда», за которую надо сражаться до «последней капли крови» и умереть, если это хотят отнять.

Перед домом были устроены сенцы и сделан макет собаки и собачьей будки. По небольшому дворику уютно расхаживали куры, сделанные из воска, свиньи, козы, телята. В конце двора, в конюшне, стояла лошадь. Тут же во дворе отдыхал воз с оглоблями, поднятыми кверху. Повсюду были разбросаны сельскохозяйственные орудия: соха, сеялки, грабли, вилы, мотыги. В стойлах стояли две коровы. Перед одной на низкой скамеечке сидела тоже очень художественно сделанная из воска девушка и доила.

За домом был небольшой участок земли, тщательно вспаханный, был лесок, небольшое пастбище. Все это было окружено забором. Недалеко от дома находился также колодец. Несколько фруктовых деревьев образовывали небольшой сад.

Макет занимал центр комнаты. Вокруг оставалось еще места в достаточном количестве не только для крестьянина-единоличника, но и для целого ряда старых и новых сотрудников Мастерской, которые хотели присутствовать при этом опыте.

Капелов не сопротивлялся этому. Он продолжал испытывать затруднения и тайно надеялся, что широкое обсуждение опыта, несомненно, будет способствовать его успеху.

Но перед самым началом работы Капелова вызвал из комнаты один из наскоро сделанных им накануне или третьего дня людей. Его весьма небрежно создавал Капелов – развертывающаяся деятельность филиала Мастерской требовала пока простых, несложных работников. Правда, он хотел по совету Муреля сделать несколько «сгустков». Но работа над данным человеком происходи-

ла в весьма ненормальной обстановке. Его два раза вызвали к телефону, приходил Машкин, взбунтовалась в подвале часть «прохожих», которые были описаны Мурелем и хитростью заманены в Мастерскую, было шумно, хлопотно. Так или иначе, работать мешали. И Капелов опять неосторожно влил эликсира интеллектуальности больше, чем следует, и человек получился какой-то неуравновешенный и интересный.

Получив дар речи, он спросил, нет ли каких-нибудь аппаратов, он почувствовал склонность к изобретательству. Единственное, что Капелов мог ему предложить, это различные рентгеновские аппараты, которые он в числе других привез из-за границы. Фоллет (так Капелов назвал его) набросился на них с невероятной жадностью и с той горячностью, которая изобличает прекрасную природу подлинного изобретателя. Удивительный человек! В две ночи он изобрел аппарат, который безошибочно открывал местонахождение в человеке различных чувств, то есть отложения, возникающие в разных частях организма от тех или иных влияний и воздействий. С большим оживлением он сказал Капелову:

– Подобно тому, как в Берлине или в других европейских городах при продаже ботинок ногу вставляют в рентгеновский ящик, и покупатель может видеть, как его нога помещается в новом ботинке и в какой мере его жмет или может жать обновка, точно так же многие из чувств человека отчетливо выявятся, если тело будет посажено вот в этот ящик.

– А откуда вы знаете, как продают ботинки за границей, ведь вы ж там не были? – улыбался Капелов.

Но ответа он, конечно, не ждал на свой вопрос: с Фоллетом повторилась история, знакомая ему уже по Мурелю, – ведь и тот тоже бывал во многих местах, имел обширное детство, был переполнен всякими воспоминаниями, знал и помнил всякие случаи и так далее. Поразительно свойство эликсира интеллектуальности и действия его на ткань!..

– Что ж, хорошо, – сказал Капелов, глядя с улыбкой на свое новое детище. Он испытывал радость производителя, радость творца, но все же не был лишен и объективного критерия: Мурель ему нравился больше. Разве можно сравнить его с этим косоглазым сутулым существом!

– Какие же чувства можно исследовать при помощи вашего ящика? спросил он.

Фоллет сказал:

– Я думаю, что, во всяком случае, не мимолетные и не быстро возникающие, а какие-нибудь из категории наиболее прочных, может быть, из тех, которые перешли по наследству. Некоторые из них имеют осязаемые отложения на костях, на внутренней стороне ребер, некоторые на ключицах. Есть отложения кое-каких чувств и на других костных образованиях, но я этого еще не успел обследовать. Но «главные», так сказать, чувства образуют отложения на ребрах.

Не быть довольным таким работником, конечно, нельзя было! Капелов был явно доволен, особенно с того момента, когда он узнал, что Фоллет старался применить свое изобретение к очередным нуждам Мастерской. Так, например, узнав о том, что предстоит исследование крестьянина-единоличника, что цель исследования – точно выяснить, насколько глубоко в нем сидит чувство собственности, он применительно к этому и наставил, и даже отчасти перестроил рентгеновский аппарат.

Когда опыт должен был начаться, он и вызвал из комнаты Капелова.

– Давайте, давайте, – сказал Капелов, уже входя в то возбуждение, которое в нем всегда вызывала непосредственная работа в Мастерской.

Фоллет пошел вниз за аппаратом, и в это время произошло новое осложнение. Брусик заявил, что нужно исследовать чувство собственности не только у крестьянина-единоличника, который не хочет идти в колхоз, но еще у нескольких людей, в том числе московских жителей разных социальных прослоек, которые находятся в Мастерской.

– Без выявления этого самого отношения к собственности, помоему, вообще нельзя начать изучение советских людей, – сказал Брусик. – Нам предстоит много работы. Но раз мы взялись за исследование собственности, так уж давайте исследуем всех. Зачем нам два раза возвращаться к одному и тому же вопросу? Ведь новый человек должен быть лишен чувства собственности, не так ли? Надо же нам, в самом деле, разобраться в этом.

Капелов растерянно смотрел на Муреля, ожидая, как тот отнесется ко всему этому. Но Мурель улыбнулся и сказал:

– К этому надо привыкать, это обычное московское явление. В Москве и вообще в Советском Союзе все хотят всё. У всех разбужены все потребности, каковы бы они ни были. Иначе и не может быть при такой настоящей, глубокой, подлинной революции. Массы по-настоящему подняты, и поэтому всюду такая теснота. Все хотят всё. Выдают селедку – все хотят селедку. Играет музыка – все хотят слушать музыку. Учат чему-нибудь – все хотят учиться. Спрос, естественно, всегда превышает предложение. Нужна чудовищная производительность, чтобы она могла удовлетворить растущие потребности масс советских трудящихся. Конечно, только социализм сможет полностью удовлетворить их, и вполне понятно, почему строительство социализма идет и должно идти такими бешеными темпами. Массы хотят всего и имеют право на все. Нет в Москве, как и во всей Стране Советов, такого учреждения, которое бы не страдало от обилия потребителей. На покупку цветов тоже бывают очереди. На самые редкие вещи и занятия – тоже. Я случайно был в японской библиотеке, – уж на что редкое учреждение в Москве! – но и там была очередь: есть достаточное количество москвичей, которые хотят знать и японский язык… Недавно я проходил мимо магазина, в одном из отделений которого продавали канифоль, так вот, и на канифоль была очередь, ибо есть достаточное количество советских граждан, желающих учиться и умеющих играть на скрипке… Есть в Москве специалисты, которые определяют способности. Они дают задачи, математические вычисления, по которым определяют быстроту сообразительности, степень реагирования на явления и тому подобное. И эти специалисты тоже изнывают от обилия клиентуры. Если тут же выдают изюм, то опять-таки очередь. Театр – очередь. Неудивительно, что и к нам на опыт исследования чувства собственности набились охотники узнать, насколько глубоко в них сидит это совершенно ненужное в Советской стране чувство… Ничего не поделаешь. Надо будет их удовлетворить. Зато следующие опыты мы обставим более конспиративно.

К утешениям и успокаиваниям люди привыкают так же, как и ко всему остальному. Еще совсем недавно Капелова никто не

утешал и не успокаивал. Он сам пытался не всегда успешно успокаивать Латуна. А сейчас он привык к тому, что его иногда утешал Мурель, и он поддавался этому с удивительной покорностью – ведь приятно, когда вас утешают и успокаивают!

Фоллет пришел со своим аппаратом. Капелов, наконец, взял командный тон, и приступили к работе, разместив всех пришедших вокруг стола, на котором стоял сельскохозяйственный макет.

В комнате был потушен свет. Крестьянину-единоличнику дали выпить стакан чаю с примесью солей, атрофирующих стеснение и вызывающих полную непосредственность в выражении чувств, а также и равнодушие к окружающей обстановке. Крестьянин, который до этого находился в леднике, в достаточной мере продрог и горячий чай выпил с удовольствием.

Выждав, когда на него начнут действовать капли, освобождающие человека от хитрости и обычной дипломатии, Капелов сказал:

– Вот этот земельный участок принадлежит тебе. И этот дом, и овин, и сарай, и конюшня – твоя собственность. Ты хозяин этого. Ты это все получаешь в полную собственность.

Наступила тишина. В тишине явственно раздалось продолжительное удовлетворенное мурлыкающее мычание.

Капелов повторил:

– Слушай. Этот земельный участок принадлежит тебе. Это твоя собственность. Понял? Это отнято у помещика правом революции и передано тебе. Это твое. И дом твой, и все, что в доме. И овин твой, и загон твой, и сарай твой…

Единоличник опять замычал. В его мычании была полная удовлетворенность. Он сразу почувствовал себя владельцем земельного участка.

Он нагнулся к макету и положил на его края широким движением распростертые руки. Взгляд его остановился на лошади. Он открыл рот. Лицо приняло вопросительное выражение. Оттенок страдания лег на нем, сомнения, неуверенности и жадности… Про лошадь ничего не было сказано…

– И лошадь твоя! – тем же торжественным, четким, напряженным голосом сказал Капелов.

Крестьянин опять удовлетворенно замычал. Но взгляд его перешел на корову.

Он смотрел на нее сначала с удовольствием, с чем-то мечтательным во взоре, но мечтательность тут же перешла в жадность. Он перестал удовлетворенно мычать, и рот его из-под густых всклокоченных усов опять начинал принимать хинно-страдальческое выражение.

– И корова твоя, – сказал Капелов.

Крестьянин сделал громкое глотательное движение, и зрачки его забегали по восковым свиньям и курицам.

В сущности, ничего особенного выражение его лица не представляло. Такое выражение бывает у карточных игроков – это выражение жадности и азарта накопления.

– И свиньи твои, – все тем же голосом сказал Капелов. – И курицы твои!

Крестьянин сжал губы. Увеличивающаяся собственность уже начинала его тяготить. Азарт стабилизировался и превращался в озабоченность, в ту озабоченность, которая обычно сопровождает хотя бы самое незначительное накопление. Да, он уже был озабочен. Это уже был человек, у которого были: земля, лошадь, корова, свиньи и курицы.

Он уже был обеспокоен. Его мысль начала работать, и в глазах появилось озабоченное выражение. Ему уже действительность казалась недостаточной, чем-то ущербленной. Ему уже начинало казаться, что лошадь не так стоит, корова тоже, свиньи и курицы недостаточно закреплены за ним. Его взгляд сделал явное круговое движение. Он взглядом окружал свою собственность рамкой. Он ее связывал границей. Ведь мысль о границе – первое, что идет сейчас же за собственностью.

Он искал околицу. Но она была несколько дальше.

Он еще не охватил всего земельного участка, особенно его краев, несмотря на то, что Капелов декларировал принадлежность ему всего участка.

Капелов вовремя добавил:

– И лес твой. И овраг твой. И пригорок твой. Вот до этих пор.

Капелов сделал несколько шагов и пальцем обвел забор, которым окаймлялся макет.

Взгляд крестьянина стал мутным. Он всасывал в себя свою собственность. Это был почти осязательный процесс, напоминавший опять-таки карточного игрока, которому везет. Он волновался. Он открывал и закрывал рот. Да, он всасывал в себя свою собственность. Он сживался с нею. Он проглатывал лес, пригорок, овраг. Но он недоуменно открыл рот, наткнувшись на мельницу.

– И мельница твоя! – добавил Капелов,

Крестьянин почти уверенно скользнул по крышам дома, овина и сарая. Он несколько успокоился. Он уже не сомневался, что это тоже принадлежит ему. Он выиграл. Он получил. Как быстро игрок свыкается с выигрышем! Как мгновенно свыкаются с подарком! Он уже не нуждался в подтверждении. Он получил. Нагнув голову, приблизившись к макету и сопя, он уже сам разглядывал все подробности макета.

Он недовольно ткнул пальцем в один из участков и огорченно, придирчиво, с явным сожалением и даже претензией сказал:

– Это не чернозем.

Затем он взял соху и пристально разглядел ее. То же самое он сделал и с другими сельскохозяйственными орудиями.

Один из присутствовавших, очевидно, так как трогать макет было всем, кроме крестьянина, строго запрещено, не удержался и взял в руки свинью. Его заинтересовало, как она ловко сделана. Воск был действительно очень натурально раскрашен, и вообще, статуэтка была превосходно сделана.

Человек, взявший статуэтку в руки, вовсе не хотел забрать ее. Он только хотел рассмотреть ее поближе. Но эта неосторожность едва не испортила всего опыта.

Крестьянин застонал так громко, что некоторые отодвинулись от макета. Он сжал кулаки, затем, открыв рот, произнес несколько ругательств. И даже когда свинья была поставлена на место, он все еще продолжал, ругаясь и тяжело дыша, с крайним беспокойством водить глазами по линии, мысленно соединяющей восковую свинью с человеком, взявшим ее в руки. Он долго не мог успокоиться. Его внимание было отвлечено от земельного участка и всего, что на нем находилось. Он смотрел, не видя людей, поверх границ макета. Он выражал даже тенденцию заглянуть под стол, на котором стоял макет. Он был явно обеспокоен наличием

враждебных сил, могущих покуситься на его владение. Явное доказательство было налицо: ведь чья-то рука протянулась и попыталась забрать свинью! Он не видел, кто это сделал, ибо капли, примешанные к солям, сосредоточили целиком его внимание на освещенном участке, а способность воспринимать окружающее была в нем временно атрофирована.

Он очень долго не мог успокоиться. Он страдал. По обе стороны носа явственно легли морщины. Две морщины избороздили также и лоб его.

Мучительное беспокойство и острая боязнь потерять собственность вошли в его сознание одновременно с фактом приобретения собственности. Он распростер шире руки. Он хотел ими обнять макет. Но это, конечно, было невозможно. Острая боязнь потерять полученное сообщила крайнюю обеспокоенность всем его чертам. Он тянулся пальцами к топору, вилам и винтовке, висевшей в раскрытом макете дома на стене.

Капелов подозвал Муреля и тихо спросил его:

– Как вы думаете, что теперь делать? Собственность уже вошла в его сознание. Продолжать ли исследование в этом направлении? Забрать ли у него курицу или лошадь?

– Нет, по-моему, пока не надо этого делать. Посмотрим, как будут развиваться дальше собственнические инстинкты.

Крестьянин продолжал блуждать по макету, и особенно по его краям. Он искал каких-то средств и путей для защиты своего владения.

Было тихо. Никто не мешал развитию чувствований собственника. Наконец крестьянин кое-как успокоился. Он освоился со своим владением. Он уже привык к своим вещам. Он бережно переставил лошадь на другое место, запряг ее в телегу, поехал с ней по дороге, привел к мельнице, из мельницы взял мешочки с мукой (и ловко же делают в Москве макеты!), привез их в амбар, там их бережно сложил, крепко запер дверь, два раза потрогал замок… Затем вывел из стойла корову, поставил ее на пастбище, играл с сельскохозяйственными орудиями, пахал, косил, трогал деревья, гладил пальцами травку, тоже очень ловко сделанную, рассматривал внутренность дома, останавливался на подробностях… От времени до времени он открывал и закрывал рот, высо-

вывал язык, как это делают некоторые люди во время письма или кропотливой работы.

– Ну, как определить, в чем заключается чувство собственности у крестьянина-единоличника и насколько глубоко оно сидит в нем? Пока опыт протекает неопределенно, – сказал Капелов.

Мурель бодро возразил:

– Ничего. Исследуем. Опыт на то и опыт, чтобы относиться к нему терпеливо. Пусть он еще вглядывается в свое владение. Любование собственностью – это еще не самое страшное и не самое отрицательное в гамме собственнических чувств. Это любование состоит из радости, привычки, обеспеченного отдыха, стремления к уюту, конспиративной по существу, но понятной тяги каждого человека к знакомым вещам. Может быть, тут есть и эстетические моменты. Ведь можно же любоваться и предметами общественного пользования! Например, когда я ходил в публичную библиотеку, я ни одной секунды не думал, совершенно не желал, чтобы она была моей. Я не испытывал никакой собственнической ревности к книгам и библиотечной мебели. Я охотно и радостно признавал право всех пользоваться библиотекой и в то же время я любил ее уют, ее порядок, распланировку, любовался ею, меня тянуло приходить в нее. Вообще, можно любить – и очень сильно – общественные учреждения. Ведь люди любят школу, театры, клубы, фабрики и так далее. Я лично часто любуюсь многими общественными местами. Например, я, как и все, любил многие улицы, сады, площади. Я чувствую, что связан с ними. В то же время нисколько не сержусь, когда скамья, на которой я хочу посидеть, временно занята другими. Я знаю, что она рано или поздно освободится, и я смогу на ней посидеть. Словом, я хочу сказать, что это любование сельскохозяйственным живым и мертвым инвентарем, которое мы наблюдаем в этом крестьянине, еще не является основой собственничества. Так можно любоваться, работая и в коллективном сельском хозяйстве, можно любоваться инвентарем и всем остальным, являющимся не единоличной собственностью, а собственностью коллектива. Интересно проследить те моменты, когда начинаются подлинные собственнические чувства, то есть этот психоз, который возведен в закон капиталистическим миром, а именно – сознание, что это

«мое». Вот как это сделать? Как его вызвать в чистом виде? Оно, это сознание, ведь доходит до абсурда!..

Мурель вдруг засмеялся и с глубоким удивлением, удивлением, которое можно почувствовать, только живя, хотя бы и непродолжительное время, в Советской стране, отчетливо, по слогам произнес:

– «Мой лес»... Что это, в сущности, означает – «мой лес»? «Моя река»?! Ха-ха... «Мое поле»... Какой вздор, если вдуматься!.. «Мое поле»... Такое огромное поле, и вдруг один человек самодовольно, и главное, вполне серьезно говорит: «мое»... Это смешно!..

– Может быть, продолжать опыт? Опять отнять свинью? – спросил Капелов.

– Нет. Зачем? Какой смысл! Он будет мычать, стонать, проявлять первобытный примитивный инстинкт боли утраты. Нет, не стоит. Он будет реветь, ругаться. Это ведь ничего еще не доказывает – это результат привычки к собственности. Нарушение привычки вызовет психологический бунт – это бунт мысли, привыкшей думать в определенном направлении. Это первичный конфликт на почве склонности к консерватизму любого живого существа. А ведь это известно – любое живое существо при известных обстоятельствах становится консервативным. А такой консерватизм – это уже социальное явление, это ненависть к изменению, к нарушению привычного, боязнь не оказаться в худшем положении, чем то, которое есть. Как известно, это так же сильно в людях, как и стремление к новому, неизведанному. Революция и реакция – две силы, раздирающие на части человечество. И до сих пор, пока будут существовать классы, классовая борьба будет основой социальной жизни. Кто не знает этого? Так вот, как вызвать характерные социальные собственнические инстинкты, чтобы исследовать, насколько глубоко они сидят в нем? А скажите, пожалуйста, он что – не хочет идти в колхоз? Или как?

– Не знаю.

– Он был в колхозе?

– Нет, не был.

– А почему? Вы беседовали с ним перед опытом?

– Нет.

– Жалко. По-моему, следовало бы побеседовать. Ведь это интересно и важно.

– Что ж, это можно еще сделать. Мы можем пока исследовать другого, а этого освободить от солей и капель, фиксирующих его внимание на макете, и поговорить с ним. Опыт, может быть, будет прерван только на двадцать минут или на полчаса.

– По-моему, это надо сделать.

– Давайте.

Капелов подозвал Брусика, чтобы отдать нужные распоряжения о переводе крестьянина в другое помещение, об освобождении его от солей и так далее. Но в это время подошел Фоллет и спросил, не время ли второй раз рентгенизировать объект исследования.

– А когда вы сделали снимок в первый раз?

– До начала опыта.

– Ну что ж, пожалуйста, – сказал Капелов. – А вы уже знаете, на каких костях или тканях отлагается чувство собственности?

– Знаю. На ребрах. Отложения будут четкие. Ведь солями вы его освободили от всяких чувствований, так? Так вот, скажите Брусику, чтобы он не смывал этих солей, а я его сниму. Я думаю, что крестьянин привык к макету и стал собственником тут у нас, у всех на виду. Я внимательно следил за опытом и убежден, что он уже привык быть владельцем этого великолепного участка. Значит, снимки это подтвердят.

– Так ли это? – спросил Капелов.

Мурель задумчиво сказал:

– Я думаю, что Фоллет прав. Отложения будут. Ведь чувством собственности очень легко заразить любого человека. Это чувство легко прививается. В этом легко убедиться. Стоит любому человеку что-нибудь подарить или стоит ему что-либо присвоить себе, как он немедленно свыкается с мыслью, что это принадлежит ему, и он тут же начинает испытывать собственническую ревность и даже не позволяет прикоснуться. Есть такие люди, которым если подарить даже какую-нибудь мелочь, какой-нибудь карандаш, книжку, брелок или брошку, как они тут же не разрешают прикоснуться к ним. Они с напряжением ждут, когда кончится осмотр вещички присутствующими. Им уже кажется, что

вещичка пострадает от чужих прикосновений: книжку запачкают, карандашик исцарапают и так далее. Многие, даже так называемые культурные люди в таких случаях грубовато и бесцеремонно забирают вещичку из чужих рук. Между тем через некоторое время они эту самую вещичку легко отдают, теряют или забывают о ней – разумеется, если она не имеет большой ценности и если вообще чувство собственности у ее владельца не имеет глубоких социальных корней. Что касается нашего крестьянина, то у него было достаточно времени, чтобы сжиться с мыслью, что это владение принадлежит ему, то есть чтобы чувство собственности стало социальным явлением, и если такое чувство относится к тем, которые отлагаются на костях или тканях, то Фоллету будет что снять.

И Мурель обратился с вопросом непосредственно к Фоллету:

– Я надеюсь, коллега, что вы хорошо сняли крестьянина до опыта?

– Ну, конечно, – ответил Фоллет.

– Так вот, снимите его теперь. Сравним оба снимка.

И Фоллет с удивительной ловкостью надел на крестьянина свой ящик.

После съемки крестьянин был уведен в другую комнату и заперт. Всем собравшимся было объявлено, что опыт будет продолжаться через полчаса.

– Значит, нам предстоит два дела, – сказал Капелов. – Поговорим с крестьянином и сравним оба рентгеновских снимка. Так?

– Совершенно верно, – сказал Мурель.

Глава тридцатая

Брусик в Москве взял на себя приблизительно ту роль, какую за границей играли Кнупф и Капелов вместе взятые. Он проявлял, с одной стороны, хозяйский тон, являлся фактическим администратором московского филиала Мастерской, был чем-то вроде коменданта – должность, без которой в Москве почти не бывает учреждений, а с другой стороны, он претендовал и на творческо-производственное участие в работах Мас-

терской. Он проявлял инициативу, делал какие-то свои опыты, вроде опыта с колониальным отпрыском и адвокатом, а главное, совершенно напрасно уверял Капелова, что все в Мастерской обстоит благополучно, что порядок полный, и что порядок этот поддерживает, разумеется, он. Он, правда, не утверждал этого прямо, но отчетливо давал понять, что не будь его, этого порядка не было бы.

Между тем тут все было возмутительно и нелепо. Мастерская не нуждалась в таком администраторе, какого корчил из себя этот Брусик. Никому не нужна была эта фигура в каком-то пошлейшем френче и военных брюках галифе, в которых он разгуливал по Мастерской. Мастерской было нужно совершенно другое. Прежде всего, нужен был действительный порядок, действительное спокойствие – ведь какие дела предстояли Мастерской Человеков! Шутка ли! Ведь она должна была создать нового человека и исполнить многотысячные заказы на него! Было ли, и есть ли учреждение, перед которым стояли бы более трудные и ответственные задачи?! При чем же тут это мелкое администрирование, это наивное подражание комендантам и разным «усердным» администраторам? Кому это нужно?

Тон у Брусика с каждым днем становился все более и более самоуверенным. Он с трудом выслушивал замечания Капелова. Вначале он было огрызался, но потом, соглашаясь с ним наружно, на самом деле все же делал по-своему, а главное, все уверял Капелова, что в Мастерской полное благополучие. Между тем именно благополучия и не было.

Каждый день происходили скандалы. Людей задерживали нелепо. В некоторых случаях их просто втаскивали в ворота, как пьяниц или сопротивляющихся арестованных. Несколько раз такие сцены привлекали внимание многочисленных прохожих. Брусик совершенно забывал о том, что Мастерская нелегальная, что без Кумбецкого вряд ли кто-либо в Москве поймет ее назначение. Он был малограмотен и малосознателен, этот Брусик, и Капелов серьезно подумывал о том, чтобы его переделать коренным образом. Он даже сказал ему как-то:

– Послушайте, Брусик, я вас сделал совсем не для того, чтобы вы так себя вели, как вы себя ведете. Ведь я вас сделал по своему

подобию. Между тем я не преувеличу, если скажу, что вы полная противоположность мне.

Но разве слова особенно действуют на людей? Брусик продолжал делать свое. И вот теперь, в момент такого ответственного опыта, опыта, заказанного Кумбецким, в Мастерской разыгрался неслыханный скандал. Из ледника выбежал плохо замороженный человек, сделанный тоже из остатков тканей, привезенных из-за границы, между прочим, необычайной физической силы, поднял страшный крик в коридоре и, собрав толпу из служащих и незамороженных объектов опытов, содержащихся в камерах, шумно развел какую-то дикую философию.

Этот голый человек был недоделан. Его делал Брусик, и Капелов почувствовал, глядя на него, что интеллектуального эликсира Брусик не пожалел. Черт знает что такое! Как он смел? Как он мог себе позволить это сделать, особенно в Москве, где эликсир интеллектуальности так будет нужен при создании нового человека! Безобразие!

Однако как прекратить шум и унять этого голого?

Какая у него, однако, сила! К нему нельзя подойти! Черт его знает, из чего он сделал ему кости, эти страшные мышцы и сухожилия…

Голый человек очень торопился. Он был возбужден своей философией и боялся, что его, недослушав, водворят обратно в ледник. Он бегал по коридору с большим куском мела в руках и рисовал на стенах, недавно оклеенных шоколадного цвета обоями. Сначала он очень быстро, несколькими штрихами, нарисовал голову.

– Человек – неблагодарное существо! Для того чтобы доказать это, начнем с головы человека! Вот голова! Вот волосы! Парикмахер стрижет эти волосы! Он моет их! Он завивает их! Он освежает их! Но кто уважает парикмахера? Никто! Во всем мире никто не уважает парикмахеров!

Он перебежал на новое место и нарисовал мозг.

– Вот мозг – это под волосами. С раннего детства его начинают обрабатывать няньки и учителя. Кто уважает их? Кто уважает нянек и учителей? Во всех странах смеются над ними! Высшим остроумием считается приладить в классе к стулу учителя булавку, чтобы он сел и укололся!..

– Позвольте, – пробовал протестовать кто-то, – но ведь есть учителя-вожди, за учение которых люди идут умирать. Вы врете! Люди никого так не любят, как учителей! Люди никому так не подчиняются, как тем, кто их направляет на путь истинный, то есть просвещает и помогает установить мировоззрение!

Голый человек повернулся и ответил:

– Это верно. Бывает и так. Но, как правило, обыкновенного учителя никто не уважает. Среднего учителя презирают, как и среднего профессора, лектора, популяризатора. Между тем – кто обрабатывает ваш мозг, как не они? Учение гениев и вождей становится понятным только после этой длительной, многолетней, будничной ежедневной обработки. Теперь дальше: вот глаза.

Голый человек начертил на стене мелом глаза.

– Вот очки.

Он нарисовал очки.

– Надо ли объяснять, что такое глаз? Надо ли говорить о том, как себя чувствует человек без глаз или с больными глазами?! А как люди относятся к оптикам? Уважает ли кто-нибудь оптика? Никто не уважает оптика! Ни в одной стране никто не помнит и не думает об оптике! Оптик! Что такое оптик?! Но дальше. Дальше! Вот рот и зубы.

Голый человек, никого не подпуская к себе, зорко следя, чтобы к нему не подошли сзади, и воинственно растопырив могучие локти, нарисовал зубы и продолжал:

– Вот зубы. Нужно ли говорить об их значении? Разве это не ясно? Что такое человек без зубов? Жалкая тряпка! Что такое зубная боль? Человек лежит, по целым ночам не смыкая глаз, и воет, как животное, от зубной боли! Чего не делают люди, чтобы спастись от этого кошмара! Вспомните, какими способами дикари удаляют у себя зубы! Они привязывают к больному зубу веревку, прикрепляют ее к дереву и бросаются с берега в реку! От зубной боли сходят с ума! И вот культура и цивилизация придумали чудо. Чудо! Стоит скромный человек в белом халате и вежливо, мягким сладким голоском просит вас сесть в удобнейшее кресло. У этого кресла даже есть подножка для головы. Сиденье у этого кресла подымается и опускается, у него есть и подставка для ног!.. Около кресла стоит шкафчик с блестящими инструмента-

ми, которые аккуратненько лежат на чистом стекле, вымытые и дезинфицированные. Лежат щипцы, обжигаемые перед употреблением огнем. И вежливый человек, делая изысканные движения, без боли удаляет зубы за умеренную плату, причем удаляет только в тех случаях, когда зуб никуда не годится, а то он пломбирует, осторожно и внимательно лечит. Во время лечения он занимает вас интересными и приятными разговорами. Он рассказывает вам всякие интересные истории. Бывают случаи, когда ваш зуб он называет уменьшительно – зубочек. Затем, в случае нужды, делает искусственные зубы. Беззубый старик ест, как молодой. Это ли не чудо? И что же? Кто уважает зубного врача? Никто! Все смеются над этой профессией, говорят: зубодрал. Ах, говорят, зубной врач!.. Девушку, которая вышла замуж за зубного врача, жалеют. Но, кстати сказать, их судьба еще лучше судьбы фармацевтов. Тех вообще считают идиотами! Между тем это люди, приготовляющие для нас лекарства! Подумайте, лекарства! Это ведь наши спасители!..

– Чего он хочет? – пожал плечами Капелов. – Что он мелет? Брусик, что это значит?

Брусик сам имел возможность убедиться, насколько благополучно в московском филиале Мастерской Человеков: опыт, который заказал Кумбецкий, то есть человек, по совету которого Мастерская переехала в Москву, человек, от воли которого зависит столь многое, – этот опыт срывается. Неслыханное дело! Легко себе представить, что бы сделал Латун! Как ни небрежен старик, как он ни полон странностей, но уж дисциплина во время такой ответственной работы, как делание человека, у него заведена! О, отсутствия дисциплины во время работы он бы не вытерпел! В самом деле, делать человека в атмосфере скандалов, каких-то криков, в дикой неразберихе, когда какие-то голые люди бегают по коридору и проповедуют какие-то теории, – это было ужасно.

– Уймите его, Брусик, – сказал Капелов.

Но Брусик стоял бледный. К голому человеку нельзя было подойти. Он открыл стальными руками двери нескольких камер, его обступила толпа всевозможных людей, предназначенных для опытов и переделок, – заморозить всех не было возможности.

И теперь бросаться на него в присутствии такой толпы было совершенно невозможно. Поднимется неслыханная свалка! Разнесут здание! Сломают все препараты, разобьют все эликсиры! Неслыханный скандал распространится по всей Москве. Мастерская погибнет. Кто поймет в Москве ее назначение? Ведь в Москве еще ничего не известно о великом открытии Латуна!

– Двери хоть заперты?

– Заперты, – белыми губами прошептал Брусик.

Голый человек продолжал:

– Теперь идемте дальше. Вот человеческое тело. Вот его существенная часть. Это его центр – желудок. Значение его ясно. Уже об этом, я думаю, нечего распространяться. Все знают, что такое голод. Все знают, как важна для человека пища. Объяснять это нечего! А кто уважает тех, кто обслуживает эту первейшую из первейших потребностей? Мы уважаем повара? Нет! Мы уважаем кухарку? Нет! А официанта, подающего нам пищу? Во всем капиталистическом мире в списках оскорбительных слов на одном из первых мест значится слово «лакей».

Мурель посмотрел на Капелова и спросил:

– Ну как же будет? Будем продолжать опыт с крестьянином?

– А как утихомирить этого? Ведь это силач. Пусть уж выскажется, с Брусиком поговорим потом.

Голый человек продолжал:

– А возьмите все существо человека! Возьмите все человеческие радости. Возьмите его основные жизненные побуждения. Возьмите всю его нервную систему – тут можно установить закон. Все, что доступно, все, что легко дает удовлетворение, все, что по-настоящему предано человеку, как правило, не уважается, мало уважается, не ценится, мало ценится! Когда мать, родная мать, в святой материнской заботливости говорит сыну или дочери: «Оденься потеплее», «Съешь то-то», «Береги себя» и так далее, – что может быть проще такого совета, бескорыстнейшего материнского предложения? И на это одинаково во всем мире отвечают матерям и отцам: «Ах, оставь, мама! Брось ты, пожалуйста! Отстань! Не надоедай» и так далее. А любовь? Возьмите даже половую любовь. Тут действует тот же закон. Если одна сторона отвечает «взаимностью» сразу и без борьбы, – другая быстро

успокаивается, а через некоторое время – это очень частое явление – начинает тяготиться.

– Это бесконечная история, – сказал Мурель. – Надо что-то предпринять. А главное, это чистейший вздор! Я чувствую потребность возразить! Все это совсем не так, как он говорит. Слушайте, откуда взялся этот тип? На кой черт он нам нужен? Вздор, который он с такой уверенностью провозглашает, откровеннейшее буржуазное отношение к отдельным видам труда! Пролетариату не приходит в голову даже думать об этом. Для него все трудящиеся равны. Пролетариат не пугает своих детей трубочистом и не думает об уважении или неуважении к кухарке, подавальщице в столовой, судомойке, чернорабочему, вывозителю нечистот, учителю, зубному или иному врачу... Фу, какая гадость! И это неверно, что человек – «неблагодарное» существо... Ох, сколько вопросов нам предстоит разрешить, пока мы подберем материалы для нового человека... Надо скорее заморозить этого чудака и срочно переделать его. Зачем он нам!

Капелов в отчаянии поглядел на Брусика, который стоял в оцепенении и слушал:

– Что делать, этот Брусик прямо губит нас!..

...Брусик наконец решился. Он кинулся на голого человека, обхватил его ноги и повалил. Четверо служащих Мастерской кинулись с оружием на слушателей и загнали их в камеры. Двое других помогли Брусику уложить голого человека на носилки и привязать ремнем.

Ко всеобщему удивлению, силач не оказал никакого сопротивления. Лежа на носилках, он спокойно продолжал говорить:

– Человеку не только не надо делать ничего хорошего. Его не надо даже развлекать. Вспомните, как безжалостно быстро забывают любимых артистов, певцов, всевозможных развлекателей. Буквально можно установить закон: чем сильнее развлечение, тем острее и прямее неблагодарность и недооценка. Акробат делает головокружительные трюки под куполом цирка, но люди сидят, смотрят на него, и хотя, глядя на него, порой сильно волнуются, но забывают о нем через минуту после окончания его номера...

Два человека с трудом подняли носилки и понесли.

В дверях силач вдруг оказал сопротивление. Он ухватился за косяк рукой, легко освободил ее от ремня и, повернув голову к Капелову и Мурелю, которые не уходили, крикнул:

– Но я не кончил фигуры человека. Возьмите его ноги. Я не говорю уже об обуви. Кто уважает сапожника?! Но возьмите даже пальцы на ногах – мозоли на кончиках пальцев… Они мешают человеку передвигаться. Он хромает. Он мучается. Вся жизнь его отравлена из-за этих маленьких и гнусных утолщений кожи. Но когда его спасают, когда их вырезают, когда ему дают возможность свободно передвигаться, он своего спасителя называет презрительнейшей кличкой: «Мозольный оператор!..».

Служащие наконец унесли недоделанного человека на ледник, и Капелов распорядился о продолжении опыта.

– Вздор, – еще раз повторил Мурель. – Это какая-то торгашеская постановка вопроса. «Благодарность». Человеку не надо ничего давать, дарить, доставлять удовольствие. Человек – «неблагодарное существо». Знаете, я в Москве говорил со многими людьми. Как изменились их понятия о природе человека, об его мыслях, чувствах, воззрениях! Как нам нужно будет с корнем вырывать застарелые предрассудки! Как осторожно нам надо будет подходить к тому материалу, из которого мы будем делать нового человека! Сколько придется разрушить привычных старых представлений!

И, обратившись к Капелову, он спросил;

– Из каких материалов его сделали? Хорошо было бы, если бы ткани, которые мы привезли с собой, вы бы отставили куда-нибудь на то время хотя бы, пока мы будем делать по заказу Кумбецкого нового человека. Нам надо быть очень осторожными! О, как заражена, как насквозь поражена старая психика! Как уберечь нового человека от тысячи ее влияний! Предрассудки! Сколько сложнейших, тончайших видов этой самой страшной мозговой болезни нам придется преодолеть! Как ужасен яд предрассудка!

Мурель, почему-то возбужденный и раздраженный речами голого человека, говорил долго, и было то, что всегда бывает, когда кто-нибудь говорит: когда кто-нибудь говорит, – то кто-нибудь обязательно слушает. А когда слушают несколько человек, то обязательно находится один внимательный, который слушает для того, чтобы возразить. Так бывает всегда. Всегда находится один

или двое, которые хотят в любом споре иметь свое мнение, идти наперекор всем. Когда человека публично обвиняют, то как бы ни была очевидна его вина, кто-нибудь обязательно выступит с речью в его защиту, и наоборот, нет такого праведника, заласканного славословиями, против которого не выступил бы его противник. Это делается во всех случаях, за исключением только юбилеев, на которых не принято выступать против юбиляра. Но и тут бывает, что выступают против.

В данном случае Мурелю возразил неизвестный человек, который в числе других был захвачен на одной из улиц Москвы. Его фамилию даже не удалось выяснить.

Пока он говорил, никто, разумеется, не спрашивал его фамилии, а после того как он высказался, он исчез. Он скрылся в толпе, которая сновала по коридорам Мастерской. Вот вам и администрирование Брусика!

Мурель за все время своего существования, с самого момента, когда заработало его сердце на верстаке Капелова, не был так раздражен и огорчен всеми этими неурядицами.

Он был так поглощен всем тем новым, что он видел в Москве и в своей первой поездке по Стране Советов! Он так бережно собирал и записывал свои наблюдения! Никогда еще Мастерская Человеков так не интересовала его, как сейчас. Он чувствовал, что нового человека можно создать, можно, надо только правильно подойти к этому трудному и сложному делу. Надо только освободиться от кошмарной цепкости старых понятий, чувств, взглядов, которые значительно сложнее, чем кажутся, которые проникают в малейшие извилины мозга, в кровь, в ткани, в кости. Надо столько работать! Надо переоборудовать всю Мастерскую! Надо выкинуть все старые эликсиры, вытяжки, сгустки тканей! Надо создать лучшие вытяжки из лучших черт советских людей. Какая предстоит работа! Ах, какая работа! Сколько для этого должно пройти опытов, тщательнейших исследований. Какая серьезная обстановка должна быть! Какие для этого нужны, наконец, деньги!

А тут ничего не ладится. Этот Брусик делает черт знает что! Вот он создал для чего-то типа из остатков колониального полковника и делает с ним какие-то бессмысленные опыты! Его же надо благодарить за скандал с голым человеком, который изре-

кал тут в коридоре свои парадоксы. И вот теперь надо еще выслушивать кого-то, кто защищает этого голого последыша старого мира, который уверяет, что человек – вообще неблагодарное существо. Прежде всего, какой человек? Кто теперь говорит вообще о человеке, вне его принадлежности к тому или иному классу? Разве бывают у людей общие чувства и общие мысли? Ведь выявилось же, что даже фотографические снимки получаются разные, если один и тот же сюжет снимают пролетарий и эксплуататор. А о живописи, например, и говорить нечего! Обыкновенную березку нельзя узнать, когда ее изображают классово разные люди! А что сказать о литературе, о бесчисленных видах иной деятельности человека? О каком же человеке кричал этот голый дегенерат? Но вот он все же нашел защитника!

Неизвестный, решившийся возражать Мурелю, судя по внешнему виду, деклассированный мелкобуржуазный элемент, какого немало в Москве, сказал:

– Совершенно напрасно вы так ругаете голого человека. Совершенно напрасно! О том, почему это происходит, мы сейчас не будем говорить. Но о том, что человек – неблагодарное существо, и что сколько бы для него ни сделать, и что бы для него ни сделать, он будет до известной степени недоволен и неблагодарен; о том, что требовательность и жадность человеческая не имеет пределов, – этого все-таки отрицать нельзя. Повторяю, все имеет свои причины. Об этом надо говорить особо. Но дайте ребенку игрушку, как он немедленно ею завладеет, и даже если вы, подаривший ее ему, захотите отнять эту самую игрушку хотя бы на время, чтобы поиграть ею, он либо будет откровенно и гнусно плакать, либо открыто не даст, либо отдаст с перекошенным выражением своего детского, своего «ангельского», будь оно проклято, личика. Эх, «цветы жизни», будь они прокляты!..

– Да ничего подобного, – запальчиво возразил Мурель. – Я был в вашем парке культуры и отдыха. Там есть детский городок, в котором все игрушки общие, и никто не плачет. Все играют, передают друг другу, и никто не испытывает ни собачьей благодарности, ни этой собачьей ревности, когда игрушку из рук одного ребенка берет другой! Почему вы ругаетесь и клевещете? Важна обстановка! Вы не учитываете обстановки! Вы не учитывае-

те разницы самой психики, когда индивидуальное владение становится коллективным. Ведь в Москве и в Советской стране можно очень часто наблюдать эту замечательную перемену психики человеческой, и это вовсе не такой длительный процесс, как это кажется!

И опять, обратившись к Капелову, который, тоже удрученный всеми неурядицами, мешающими продолжать опыт с крестьянином-единоличником, уныло стоял и слушал, Мурель добавил:

– Вы знаете, я боюсь, что пока мы будем копаться с созданием нового человека, он может сам родиться на каком-нибудь особенно ярком участке строительства новой жизни. Отдельные новые черты уже довольно часто бросаются в глаза почти повсюду, собраться им воедино не так уж трудно, а мы тут занимаемся разговорами.

– Нет, вы не совсем правы, – с ядовитой своей деликатностью и липкой настойчивостью не отставал неизвестный. – Неблагодарность свойственна людям всех классов. Об эксплуататорах и говорить нечего. Но вот возьмите вашего крестьянина, над которым вы проделываете ваш опыт. Я присутствовал при нем. Что, прежде всего, бросается в глаза? У него ничего не было – так? Ему сказали, что он получает в свою собственность землю, отобранную у помещика, так? Кто ему дал эту землю? Рабочий класс и Октябрьская революция, так? Между тем кулацкая часть крестьянства, те, которые смогли воспользоваться сумятицей, нажиться, немедленно, мгновенно забыли о своем долге, о долге классовой солидарности, о спайке рабочего класса с крестьянством, о том, что рабочим и крестьянам предстоит делать одно общее дело. Кулак ведь сразу же после получения земли отказывался платить налоги, то есть помочь тому самому рабочему классу, который дал ему землю, отобрав ее у помещиков. Так это было или не так? Кстати, я вам советую, если вы будете продолжать опыт с вашим единоличником, заставьте его платить налоги, сдавать хлеб, и вы сразу увидите, какого он происхождения. Если он кулак, вы услышите, какую он песенку вам запоет. Эту самую тележку из спичек и лошадку из воска он спрячет и ничего не отвезет. А хлеб он спрячет в амбар или еще, пожалуй, зароет в землю…

– Так вы же сами говорите, что он кулак. От кулака никто не ждет благодарности. С ним разговор короткий. Класс кулаков, как известно, на основе коллективизации ликвидируется у нас. А вы возьмите бедняков крестьян или рабочих, разве они не все отдают революции, которая их освободила?

– Знаете, иногда даже зло берет, когда видишь отдельных и бедняков, и рабочих, особенно выходцев из деревень, которые разрешают себе поворчать. Он работает в лучших условиях охраны труда, завоеванных революцией. Это завоевание стоило рабочему классу лучших его борцов. Сколько поколений сгнило в тюрьмах, пало в открытой борьбе, смертью героев полегло на полях гражданской войны, пока завоевания Октябрьской революции были закреплены. Помнит ли он об этом? Но далее. Революция улучшила его быт. Из рабочей лачуги она перевела его в светлую квартиру. Самые лучшие здания отводятся под рабочие клубы. Сколько выстроено новых! Ведь идет небывалое строительство! Жизнь меняется на глазах. А поговорите с некоторыми: то ему не нравится, это ему не нравится. Сидит этакий тип, ест белый хлеб с изюмом и ворчит. Жалуется на неизбежные трудности, ругает советскую власть. Правда, все это не глубоко, все это поверхностно, но можно все-таки сказать, что в отсталых кругах рабочих, особенно, повторяю, вышедших из деревни, с этим столкнуться можно.

Сказав это, неизвестный отвернулся и буквально на глазах у всех исчез. Совершенно бесследно исчез.

– Ну его к черту! – сказал Мурель и предложил Капелову: – Будем продолжать опыт. У нас столько работы! Зачем терять время на разговоры! Сколько человек нам нужно исследовать! Не представляю себе, когда мы справимся со всем этим. Жалко тратить время на всякую чепуху.

Глава тридцать первая

Все было готово для продолжения опыта с крестьянином-единоличником. Крестьянин был водворен в отдельную комнату, находящуюся рядом с той, в которой стоял сельскохозяйствен-

ный макет. Крестьянин сидел в центре комнаты на стуле. Служащие Мастерской Человеков по распоряжению Капелова освободили его от солей и капель, и крестьянин имел обыкновенный будничный вид.

На вопросы Капелова и Муреля, кто он такой, он дал точные сведения, назвав село, район и округ.

На несколько поспешный наивный вопрос Муреля, насколько глубоко сидит в нем чувство собственности, он ничего не ответил.

На вопрос, есть ли вблизи его села или в селе колхоз, он ответил, что вблизи нет, а есть за десять километров, очень небольшой.

Капелов спросил, бывает ли он в нем, слышал ли что-нибудь о нем?

Крестьянин ответил, что не был ни разу и знает о нем только понаслышке, со слов односельчан.

Мурель спросил, почему он не идет в колхоз, ведь коллективное хозяйство проще, полезнее, и даст ему больше выгод, нежели непосильная возня со своим маленьким хозяйством и своей сошкой. Крестьянин ничего не ответил.

Капелов спросил, сколько раз ему предлагали пойти в колхоз? Крестьянин ответил, что один раз.

Капелов спросил, в какой категории он числится: середняком или бедняком? Крестьянин ответил, что бедняком.

Больше ничего особенного крестьянин не сказал, и выудить из него ничего нельзя было.

– Что же нужно, – спросил его Капелов, – чтобы вы вошли в колхоз?

Этот вопрос почему-то понравился всем присутствующим. Некоторые даже громко выразили удовлетворение и высказали интерес к тому, что будет дальше.

Один даже не удержался и сказал, несмотря на то, что говорить никому, кроме Капелова и Муреля, не было разрешено:

– Вот это действительно самый важный вопрос. Вот это действительно постановка вопроса!

Крестьянин обвел присутствующих равнодушным взглядом, как на суде, и ничего не ответил.

Его молчание явно нарушало правильное течение опыта. Присутствующие начали томиться. Некоторые стали выражать нетерпение и даже открыто порицать крестьянина:

– Собственник!

– Закоренелый собственник!

– Вы посмотрите на его глаза!

– Такой умрет, а землишку свою не отдаст!

– И корову свою не отдаст!

– Нет, не на такого напали!

– Бедняк! Хорош бедняк!

– Нет, что ни говорите, собственность – это вековое чувство. Его легко не выбьешь!

– Может быть, следующее поколение будет лучше, да и то гадательно... На это, во всяком случае, рассчитывать нечего...

– Нет, он в колхоз не пойдет, хоть вы его режьте на части!

– Действительно, нашли человека, который пойдет в колхоз! Очень ему нужны колхозы, совхозы или коммуны! Он хочет жить, как его дед и прадед. Что, хорошо жить по-старому?

– Ты, эй, ты, дядя, скажи, хорошо жить по-старому?

Крестьянин молчал. Его молчание явно раздражало присутствующих, и упреки превращались в прямую ругань.

– Ну, конечно, ничего другого ожидать нельзя было! Весь мир знает о том, что такое крестьянское собственничество! О кулаках уж нечего говорить. Но и середняки, и даже бедняки – собственники! О, деревня! Вы еще не знаете, что такое деревня! Это вековое. Это не так легко переделаешь. Вы посмотрите, как он сидит!

– Ему хоть бы что! Выражение глаз какое!

– Подумаешь, какой сфинкс!

– Взял бы я его за эту самую бороденку, так он бы у меня заговорил!

Капелов был недоволен всеми этими репликами. Он громко потребовал, чтобы было тихо. Затем посоветовался с Мурелем, как продолжать опыт.

– Я думаю, – сказал он, – что всех этих разговоров достаточно. Надо посмотреть, что у него внутри. Где Фоллет?

Фоллет был безупречен. Его появление в Мастерской Человеков можно было действительно считать большим приобретением. Это был настоящий изобретатель, серьезный, вдумчивый, острый, не успокаивающийся ни на каких штампах и легких достижениях.

Он находился в своей комнатке, где внимательно сличал неорентгеновские снимки, сделанные с крестьянина до опыта с макетом и по окончании его.

Капелов и Мурель, обрадовавшись тому, что они могут избавиться от этих непрошеных гостей, присутствовавших при опыте (ох, этот Брусик! Ну и администратор! Уж с ним разговор будет отдельный), прошли в комнату Фоллета, в подвальное помещение.

В комнате было темно. Луч красноватого света освещал два снимка, которые Фоллет держал в руках. Он был чрезвычайно заинтересован своей работой. Его взгляд, положение рук и вся его фигура были напряжены до предела. Это была высшая напряженность изобретателя. Он действительно ничего не видел и не слышал. Капелов и Мурель, не замеченные им, стали сбоку.

Не меняя ни позы, ни напряженного взгляда в течение довольно долгого времени, разглядывая снимок вблизи, отдаляя его, приближая, Фоллет наконец положил его на стол, развел руками и резко пожал плечами. Затем он быстро сел и стал обливать снимки всевозможными жидкостями, приставлял к некоторым местам увеличительные стекла, покалывал какими-то инструментами и время от времени в недоумении опять разводил руками и пожимал плечами.

Капелов и Мурель очень осторожно, чтобы не спугнуть Фоллета, подошли к нему и спросили, каков результат его работы.

Фоллет сказал:

– Понимаете, я снял крестьянина перед опытом. Вот этот снимок. Все чувства его были атрофированы. И снимок вполне точно передает это состояние. Вот. На внутренней стороне ребер, где обычно отлагаются бугорками некоторые категории чувствований, ничего нет. Вот посмотрите.

Капелов и Мурель действительно убедились в этом.

На необыкновенной четкости рентгеновском снимке, развернутом по плоскостям, не было никаких оттенков. Внутренние стороны ребер были абсолютно чисты, в то время как на других снимках Фоллета, сделанных с людей, одержимых чувствами и страстями, внутренние стороны ребер были похожи на фрески. Некоторые чувства Фоллету даже удалось расшифровать. Так, например, ревность откладывалась на этих снимках в виде змеевидных острых стрелок, ненависть – в виде пятнышка, похожего на топор, а в некоторых случаях на вилы, и так далее. Это было интересно, и Фоллет собрался зафиксировать все это. На снимке же, сделанном с ребер крестьянина-единоличника после того, как ему было привито чувство собственности, на ребрах почти никаких следов не было.

Ребра были совершенно чисты. Но это только с первого взгляда. Фоллет потому и вглядывался так напряженно, что на ребрах вилась еле заметная тень. Она была так легка, что почти не бросалась в глаза. Нужно было очень вглядываться, чтобы ее заметить. Несомненно, это и было отложением чувства собственности. Но неужели же оно так поверхностно, так легковесно, так неприлипчиво?

Фоллет был поражен. Никаких сомнений, что это именно и есть чувство собственности, у него не было и не могло быть: ведь крестьянин до опыта был освобожден от всех чувств. Ему было привито только чувство собственности, и это легкое отложение и было им, ничем больше!

– Что же это такое? – спрашивал Фоллет. – Где же вековая сила чувства собственности? Его непреодолимость?

– Но, может быть, вы ошибаетесь? – спросили одновременно и Капелов, и Мурель.

Фоллет сделал свое открытие на принципах открытия Латуна, и сомневаться в правильности этого принципа Капелову не приходило в голову – работа в Мастерской Человеков его сотни раз убеждала в этом, но все-таки ошибки всегда возможны, и он переспросил:

– Послушайте, а верно ли это? Нет ли тут какой-нибудь ошибки?

Фоллет опять показал снимки, и их документальная убедительность была ярче всяких слов.

– Вы же видите, – сказал он.

Действительно, больше расспрашивать было незачем: чувство собственности отлагалось чрезвычайно поверхностным налетом. Это было поразительно! Это совершенно не соответствовало той роли, какую приписывают этому чувству все народы. Собственность! Шутка ли?! Сколько светлых и смелых мечтаний лучшей части человечества о переустройстве жизни на началах справедливости и равенства разбилось об эту стену, об эту, казалось бы, непреложную истину, что человек – собственник по натуре и не позволит отнять у себя собственность. Неужели же собственность так поверхностно откладывается на ребрах крестьянина-бедняка? Ведь из всех классов только пролетариат наиболее свободен от этого чувства – только у него ничего нет и ему нечего терять. У крестьянина же, даже бедняка, кое-что есть: есть домик, есть свой земельный участок, есть своя лошадь, своя корова. Неужели же чувство собственности в нем сидит так поверхностно, что даже свежепривитое, оно откладывается еле заметным налетом?

– А кто его знает? Может быть, это так и есть, – сказал Мурель. – Октябрьская революция тем и велика, что она не останавливается перед самыми смелыми социальными опытами, если они ведут к социализму. Крестьянин – бедняк и середняк – трудящиеся, и они исторически идут к социализму вместе с рабочим классом. Процесс пролетаризации неизбежен. И бедняк, и середняк ходом истории превращаются в сельскохозяйственных рабочих. Правда, этот процесс должен пройти через известную воспитательную стадию. Но ведь и рабочий класс тоже и воспитывался, и продолжает классово оформляться и воспитываться. Может быть, это вполне соответствует действительности, что собственность на ребрах бедняка-крестьянина и не сидит твердыми бугорками, а откладывается еле заметным налетом, как на данном снимке? По-видимому, это именно так. Очевидно, великое открытие Латуна, развитое в данном случае Фоллетом, подтверждает с одной стороны то, что практика революции подтверждает

с другой. Теперь остается еще только выслушать крестьянина. Надо пустить в ход трубку «А».

Трубка «А» – один из первых препаратов Латуна – давала сокровенные индивидуальные признания. Но здесь, в Москве, эту трубку можно было приспособить к восприятию классового голоса тех, кого Мастерской Человеков предстояло делать, переделывать или избирать объектом изучения.

Эта трубка действительно была одним из гениальных препаратов предприятия Латуна. Сначала он сделал ее из слоновой кости, но она давала глухой звук, и Латун заменил ее серебряной. Вставляемая в дыхательное горло после химической прочистки тканей человека, она заставляла его говорить совершенно четко и точно, во вполне понятной и логически обработанной форме внутренним голосом личности, а если перевести регистр поглубже – то сокровенным голосом того класса, к которому личность принадлежала.

– В самом деле, – оживился Капелов. – Может быть, это – самое простое: выслушать крестьянина-единоличника через эту трубку. Его классовый голос даст нам возможность послать Кумбецкому обоснованный ответ на его запрос. К письму мы приложим неорентгеновский снимок, и я думаю, что у него будут все основания считать его поручение выполненным.

– Давайте, – поторопил Мурель, – кончим скорее этот опыт. Сколько впереди еще предстоит их! Пошлите за трубкой, и идем к крестьянину.

По дороге в коридоре Капелова остановил Машкин.

У него был странный вид. С одной стороны, как будто «своего человека», а с другой – что-то от случайного посетителя, причем посетителя чрезвычайно неуверенного, робкого, даже жалковатого. На нем так сидел пиджак, так болтались вдоль тела его руки и так переминались его ноги, на которых брюки были чересчур спущены, что еще до оглашения его просьбы ему хотелось отказать. Заранее хотелось отказать, о чем бы он ни попросил…

– Простите меня за назойливость, – сказал Машкин, – но больше я ждать не могу. Я обратился к вам в первый же день вашего

приезда в Москву. Я просил вас переделать меня. Мою просьбу я формулировал точно, а именно: я просил вас сделать меня авторитетным. Вы обещали. Между тем вы все откладываете и откладываете исполнение вашего обещания.

Капелов посмотрел на него и сначала почувствовал раздражение – приблизительно такое же, какое испытывал Латун, когда он, Капелов, просил его подрезать и приладить его голову, чтобы она могла свободно поворачиваться в обе стороны. Латун так и не исправил этого дефекта, и голова Капелова до сих пор поворачивалась только в одну сторону. Почему Латун не исполнил его просьбу? Почему он раздражается, когда ему напоминают об этом? Почему раздражает, когда свой человек просит о какой-нибудь услуге? Для этого никогда нет свободного времени… Раздражение всегда основано на том, что просьба кажется не ко времени: ну что, в самом деле, свой человек, а не может выбрать подходящего момента. Именно тогда, когда некогда, он лезет со своими просьбами!

Капелов сначала почувствовал это раздражение и хотел даже огрызнуться, но вспомнив, как он ненавидел в такие минуты Латуна, он мягко сказал Машкину:

– Послушайте, делать вас авторитетным в Стране Советов очень трудно. Если вдуматься, то это самое бесполезное занятие. Это все равно что подбавлять в океан воды или привозить в пустыню песок. В Советском Союзе неавторитетных людей нет! В Советском Союзе живет сто пятьдесят миллионов авторитетов. О чем же вы, собственно говоря, ходатайствуете? Я внимательно выслушивал ваши никчемные жалобы на то, что вас «едят» и «съедали» какие-то завхозы и незавхозы. Какие-то склочники подставляли вам лжепомощников, которые вас изгоняли. Что же все это значит? Это означает, что вы не строитель, что вы не хозяин в своей стране. А в вашей стране хозяином является тот, кто ощущает себя хозяином, только тот, кто по-настоящему работает, кто строит социализм, – того не собьет и не съест никакой вредитель и никакой склочник. Вы можете выполнять на производстве самое скромное задание или занимать самую маленькую должность, но если вы чувствуете, что вы строитель, хозяин своей страны, один из

хозяев, хотя бы самый скромный, это все равно, – вас никто не подкосит, не «выживет». Вам ничего не страшно. Вот по этой линии мы вас и переделаем. Словом, я понял, чего вам не хватает. Я говорил с людьми и понял многое. Вам не хватает уверенности. Вы все ждете, чтобы вас устраивали, чтобы к вам хорошо относились. От этого отношения к вам зависит ваше самочувствие. Ведь вы чувствуете себя подавленно только тогда, когда к вам плохо относятся, не так ли? Между тем так ставить вопрос в Советской стране нельзя. Вы должны сами решать вопрос об отношении к другим и к себе. Мы недавно приехали в Москву, но у нас такое занятие, которое без знания людей не может быть плодотворным. Вопрос об авторитетности вообще очень сложный и запутанный вопрос, но в отношении вас, я надеюсь, нам удастся разрешить.

– А когда же вы это сделаете? Когда?

– Очень скоро. На этих днях. Вот только покончим с самыми срочными опытами, тогда займемся вами.

Глава тридцать вторая

Крестьянин был уведен в специальное помещение. В нем опять были по способу Латуна химически очищены ткани, некоторые части были анестезированы, некоторые оживлены солевыми растворами. Область индивидуального была в нем совершенно атрофирована и оставлены клеточки и волокна, наиболее пропитанные влияниями среды, воспитания, происхождения и трудовых навыков. В горло была вставлена трубка «А», и когда можно было ожидать, что в нем начнется звучание классового голоса, он был осторожно перенесен в комнату, где ожидали заинтересованные опытом посетители.

К числу недостатков трубки «А» относилось то, что она не давала возможности задавать вопросы. Испытуемый мог только говорить, но совершенно не был в состоянии слушать. Предупредив об этом посетителей и в довольно грубой форме предложив молчать, Капелов объявил на основании неорентгеновского исследования, что чувство собственности в крестьянине-бедняке

не имеет заметных и прочных отложений, как, надо полагать, и в рабочем.

– Нам, очевидно, придется видеть серьезные отложения на внутренних сторонах ребер только крупных собственников. Не может быть, чтобы бешеная борьба с пролетарской революцией могла происходить без таких ярких и неизлечимых проявлений собственнических чувств! Но в данном случае при исследовании настоящего крестьянина-единоличника, не вошедшего еще в колхоз, совхоз или коммуну, почти никаких заметных следов собственнических отложений не обнаружено. Поэтому, – закончил Капелов свое заявление, – мы приступаем ко второй половине опыта, к вызову внутреннего голоса класса. Прошу соблюдать полную тишину. Чрезвычайно любопытно, что скажет нам классовый инстинкт крестьянина-бедняка, единоличника, не вошедшего еще в колхоз. Внимание!

Посетители невольно отодвинулись поближе к стенам. Трубка «А» начала чуть шипеть, и через несколько секунд раздался четкий голос:

– Надо на общих собраниях единоличников по селам поставить отчет правлений колхозов о результатах работы колхоза и на живых конкретных примерах показать все преимущества коллективного хозяйства, а именно: результаты распределения урожая, результаты использования инвентаря в колхозе, сравнение урожайности в колхозе и в единоличном хозяйстве, выполнение хлебозаготовок и организованность колхозной массы.

Трубка сделала глотательное движение и продолжала:

– Наряду с достижениями на собраниях единоличников решительным образом развернуть все ошибки и извращения, проявленные в колхозе, вовлекая единоличников в совместное обсуждение вопросов об исправлении этих недостатков.

Трубка захрипела и замолкла, но молчание не было длительным. Классовый голос крестьянина-бедняка продолжал:

– Надо созвать специальное собрание вышедших из колхозов вследствие перегибов и недопонимания и совместно с ними обсу-

дить причины выхода и способы устранения недостатков в работе колхозов.

Трубка опять захрипела.

– Надо организовать общие собрания всех единоличников, которые провели коллективный сев, уборку, принимали в тех или иных формах коллективное участие в производстве, но не были оформлены как колхозы, и обсудить с ними вопрос относительно оформления коллектива.

Трубка опять сделала глотательное движение, издав соответствующий металлический звук, и продолжала:

– Надо уделить особое внимание организации специальных женских общих собраний, обсудив на этих собраниях деятельность колхоза, особенно в части мероприятий по организации труда и быта женщин в колхозе.

Классовый голос крестьянина все слушали с затаенным вниманием. Ни у кого даже не было мысли по этому поводу – так напряженно протекал процесс усиленного внимания.

Крестьянин продолжал:

– В каждом колхозе из передовых и испытанных колхозников выделить группу колхозников и колхозниц для ведения массовой работы среди единоличников, поставив себе задачу обязательной работы с каждым единоличным, батрацким и середняцким двором.

Трубка замолчала, как будто для того, чтобы подумать, и продолжала:

– Необходимо широко развернуть оказание производственной помощи со стороны колхоза единоличникам по проведению уборки, молотьбы, сева и хлебозаготовок.

Еще минута молчания – и продолжение:

– Надо организовать выпуск совместно с единоличниками стенных газет, в которых широко осветить все достижения в колхозе, открыв борьбу с извращениями в колхозной работе. Особенно провести жесткую борьбу со вздутыми управленческими расходами, бесхозяйственностью и потерями. Работа среди единоличников не должна проходить как кампанейская работа, а должна быть систематической, кропотливой и упорной

работой по вовлечению единоличников в колхозы и созданию новых колхозов.

Трубка в последний раз захрипела и закончила:

– Все простейшие начинания единоличников в коллективной работе – совместная обработка земли, совместное использование инвентаря, совместное разведение животных, совместное приобретение сложных машин, производителей, семян, материалов – должны быть использованы как зародыши коллективного хозяйства.

Трубка замолкла.

Прошло довольно много времени в глубоком напряженном молчании. Ясно было, что инстинктивная речь внутренних тканей и клеток крестьянина закончена. Между тем молчание продолжалось, так как никто из присутствующих, в том числе Капелов и Мурель, не могли произнести ни слова.

Чем-то значительным повеяло от этого опыта. Было похоже на то, что просто и четко разрешался вековой вопрос.

Первым заговорил Мурель:

– Вот вам и вся история про огульное крестьянское непреодолимое якобы собственничество, про беспробудный крестьянский консерватизм, про крестьянскую жадность, алчность, неспособность перестроиться и шагать в ногу с пролетариатом в борьбе за социализм. Думал ли кто-нибудь в мире, что такими простыми средствами можно разрешить такой сложный, запутанный и трудный вопрос? Нет, никто не думал! Никто не предполагал! Сотни и десятки тысяч скептиков, не только те, которые не хотят революции, но и колеблющиеся всех сортов и видов колеблются главным образом потому, что не верят в способность крестьянства перестроиться на началах коллективизации. Между тем мы слышали только что своими ушами, что если будет действительно проведен в жизни ряд мер, простых и ясных мер, продиктованных классовым инстинктом крестьянина-бедняка, то все, что казалось сказкой, станет явью. Разумеется, на практике это не так просто и легко – будут трудности, и большие, повторяю, очень большие, совершенно не нужно умалять предстоящие, может быть,

даже огромные трудности, но победа будет. Итак, мне кажется, опыт можно считать законченным. На вопрос Кумбецкого, глубоко ли сидит чувство собственности в крестьянине-единоличнике, мы можем ответить, приложив неорентгеновские снимки, что это чувство дает еле заметные отложения и, во всяком случае, оно сидит совсем не так глубоко, как об этом принято думать во всем мире и принято писать в штампованной литературе.

– Совершенно верно! – сказал Капелов, и опять невольно подражая Латуну и приняв хозяйский тон, он повторил: – Опыт считаю законченным. Прошу всех посторонних удалиться из помещения Мастерской Человеков.

Затем он предложил Мурелю написать письмо Кумбецкому и составить план работы Мастерской Человеков на ближайшее будущее, копию которого тоже можно будет отправить Кумбецкому.

Глава тридцать третья

На следующий день Мурель написал Кумбецкому письмо, в котором сообщал, что поручение его исполнено. Крестьянин-единоличник из бедняков детально исследован при помощи неорентгеновских снимков, макетного испытания, химизации внутренностей, личного опроса и вызова классового голоса при помощи трубки «А». Это был первый случай, когда Мастерская Человеков разглашала технику своей работы. Латун никогда бы этого не сделал. Но какой смысл был в том, чтобы что-то скрывать от Кумбецкого? Ведь от этого человека зависит столь многое! Дружественное отношение его к Мастерской ведь несомненно. Кроме того, его дружественность принадлежит к самому высокому типу: она идейная.

Ведь Кумбецкий хочет использовать Мастерскую Человеков не для себя, не для того, чтобы себя переделать, увеличить в себе какие-нибудь хорошие качества или уменьшить плохие, нет, он хочет использовать Мастерскую для создания

нового человека! Это ли не высшее проявление подлинной идейности!

С радостью и умиротворением, которые таит в себе каждый акт добровольной покорности, Мурель сообщил Кумбецкому в подчеркнутых интонациях рапорта, что исследование крестьянина-единоличника можно считать точным, и результаты его таковы: чувство собственности в противовес тому, что думают об этом во всем мире, сидит в нем неглубоко и что при наличии известных исторических предпосылок, неслыханного размаха Октябрьской революции, гигантского роста индустрии, развития транспорта и широчайшего строительства коллективизация сельского хозяйства является совершенно осуществимым делом, что и подтверждает практика.

Капелов прочел это письмо, вполне согласился с ним и охотно подписал. Затем они, усевшись в маленькой комнатке, которую облюбовал себе Мурель, занялись составлением приблизительного плана работ Мастерской Человеков на ближайшее время. Вот этот план.

ПЛАН РАБОТ ФИЛИАЛА МАСТЕРСКОЙ ЧЕЛОВЕКОВ

1. Исследование склочника. Причины склоки. Скука. Ничтожество. Неудовлетворенность. Недоброжелательность. Зависть. Бессилие. Подмена деятельности бессмысленной борьбой с себе подобными и вышестоящими.

2. Лояльность. Сомнительность этого состояния. Его истоки. Ликвидация.

3. Подлинный пролетарский энтузиазм и лжепатриотизм.

4. Исследование действия невероятных темпов строительства на психику.

5. Регистрация и исследование черт нового человека у двадцати случайно задержанных прохожих.

6. Исследование подлинной преданности рабочему делу.

7. Бюрократизм и комчванство. Его корни и действительные способы лечения.

8. Бездельничество. Тщательно исследовать все виды «делового» прикрытия этой стихии.

9. Ударничество. Особенно тщательное исследование суммы входящих в него качеств и каждого качества в отдельности как непосредственный материал для создания нового человека.

10. Истоки и все разновидности лжеударничества.

11. Исследование бытовой коммуны молодежи.

12. Детальное исследование некоторых героев Турксиба.

13. Детальное исследование незаметного героизма рядового строителя социализма.

14. Психология оппортунизма и детальнейшее изучение оппортунистов.

15. Новые представления о собственном достоинстве, которые должны лечь в основу нового человека.

16. Человек коллектива как основная сущность нового человека.

17. Подробное исследование всех видов врагов революции и, следовательно, нового человека.

18. Исследование вредительства и его истоков.

19. Социальная мимикрия. Ее утонченнейшие видоизменения и усовершенствованная окраска.

20. Советский жулик в столбовых и боковых своих проявлениях.

21. Цинизм как стихия усталости.

22. Советский дурак. Истоки его живучести.

23. Приступить к работе по составлению «Энциклопедии советских типов».

24. Безграмотность – в высших, средних и низших своих проявлениях.

25. Очищение и способы дезинфекции тканей, которые пойдут на создание нового человека. Тщательные фильтры для проверки всех эликсиров. Замена тканей, зараженных хотя бы в какой бы то ни было степени предрассудками.

26. Установление в Мастерской Человеков механических опахал для очистки воздуха от заразных психических микробов.

27. Тщательнейшим образом исследовать новое социалистическое отношение к труду, которое Сталин определил как «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Капелов, безмерно хорошо относившийся к Мурелю, согласился со всеми пунктами программы, но не понял только, о каких опахалах идет речь.

– Видите ли, – сказал Мурель. – Я был в одной берлинской типографии. На мой вопрос, как удается им такая прекрасная, необыкновенной чистоты печать, мне ответили, что кроме тщательного ухода за машинами и уточнения всех процессов печати необходимо еще неустанно обращать внимание на чистоту воздуха. Мастер объяснил мне, что в типографском воздухе, естественно, носится бумажная пыль. Она садится на валики, она ложится на краску, видоизменяя ее тона. И если не первое, то одно из важнейших условий хорошей печати – беспрерывно очищаемый воздух. Действительно, в этой типографии прекрасно работали не только обычные вентиляторы, но какие-то особые, чем-то напоминающие опахала. А в наборном отделении между кассами на высоких подставках стояли цветы. Да, в типографии стояли цветы! Когда мы будем создавать нового человека, такие опахала, очищающие воздух, а также цветы, я думаю, нам не помешают.

Письмо и план были тщательно запечатаны в конверт и должны были быть переданы Машкину, который должен был для этой цели зайти.

Но в назначенное время он не пришел. Не пришел даже и со всеми допустимыми сроками опоздания.

Он пришел к вечеру и – ах, какая неожиданность! – в сопровождении самого Кумбецкого!

Кумбецкий приехал из Берлина и немедленно разыскал Машкина, чтобы пойти с ним в Мастерскую Человеков. Вот какой человек был Кумбецкий! Это был действительно деловой человек.

Внешне он ничуть не изменился. Так же хорошо сидел на нем костюм, так же приятны, неторопливы были его движения, медлительна и авторитетна речь.

– Вот видите, – сказал он, – я приехал, как обещал. Я слышал, что вы приступили к работе и чрезвычайно рад этому. Но не думайте, что я забыл о вас в Берлине. Кое-что мне удалось наладить и там. В частности, мне удалось завести очень интересную пере-

писку с некоторыми участками нашего строительства, и с одного из них мне сообщили, что там создался сам собою на производственной работе, на ударном строительстве социализма новый человек…

– Не может быть? – сказал Кумбецкий, выдержал паузу и с улыбкой, в которой никак нельзя было видеть самодовольства, но можно было заметить некоторое выражение гордости, ответил: – Факт. Я уже списался с ним и вскоре он прибудет сюда.

Приложения:

в Одессе 100 лет назад



Михаил Кольцов

В монокль беллетриста

…Одесский период – полная противоположность лодзинскому. После скромного, кое-как материально обеспеченного существования при семье Зозуля узнает в Одессе, что такое настоящий голод и настоящая нужда. Но по всем проявлениям видно, что Одесса показалась юноше масленицей после великого лодзинского поста.

Одесса – третья писательская столица, Запорожская Сечь русской литературы, буйная вольница молодых партизанов пера, тучная плодородная нива, взрастившая столько поколений и неистощимая до наших дней.

Здесь сходил с ума, волочился за губернаторшей и писал «Онегина» Пушкин.

Здесь написал свой первый рассказ и отнес в редакцию, и был торжественно и бесповоротно забракован грозным редактором Максим Горький.

Здесь проводили дни литературной юности Куприн и Леонид Андреев.

Здесь степенно сидел за хозяйской конторкой в маленькой типографии Бялик и гранил мостовые рваными ботинками еврейский Марк Твен – Шолом-Алейхем.

Здесь степенно плодил свои тома заурядный Федоров, изощрялся в безнадежном беллетристическом аристократизме бледный Петр Нилус. И здесь же в те же годы сверкал всеми огнями таланта Семен Юшкевич.

Здесь поколением позже развилась целая стая писателей анархо-индивидуалистов, внушительно грозившая перевернуть весь мир.

Вместе с молодым Пшибышевским здесь ниспровергали все «основы» Жаботинский, Арцыбашев, Осип Дымов и другие. Они начали свою

деятельность в Одессе бурным протестом против косности, ханжества, лицемерия буржуазного общества в социальных отношениях и в быту, чтобы плохо кончить польскими патриотами в варшавских канцеляриях, лакеями Англии под сионистским флагом, озлобленными белогвардейцами в эмиграции или просто более или менее преуспевающими обывателями с кормежкой за счет порнографических и просто обывательских писаний.

Здесь, в жаркой Одессе, зародился русский фельетон, тоже вначале бурно-пламенный и буржуазно-радикальный, – фельетон Дорошевича, Яблоновского, Пильского, Амфитеатрова, – для того, чтобы состариться в Москве, Петрограде и белой печати на ролях капризной горничной в купеческом доме.

И здесь же вылупился яркий бытописатель русского пролетариата, мастеровщины и босячества Свирский. И здесь же сформировался автор сильных очерков о портовой голытьбе, Кармен.

За редкими исключениями в Одессе не писались сколько-нибудь значительные вещи. Но здесь вызревал молодой русский писатель, здесь формировался как личность, здесь бесился, набирая в себя запасные соки для будущей солидной работы на севере.

Зозуля попал в Одессу в период некоторого мелководья. Старшее поколение, бунтарско-индивидуалистическое, уже разлеталось по большим столицам. Младшее, послевоенное, еще доучивалось на школьных скамьях. Все-таки юноша, приехавший становиться писателем, ярко распустился после лодзинской скудости красок. Он видел море, яростное и восхитительное южное море, никогда не слышав плеска которого, остается глухой душа художника. Он видел яркие страсти, портовую жизнь, пестроту людей и наций, бурное цветение богатства и нищеты, роскоши, каторжного труда под палящим солнцем, диких кутежей, высокопарной богемы журналистов и актеров, всего того, чем бурлит весь день кипящая жизнью, ленью, страстями и делами Одесса.

Оживает, расцветает спавшее до сих пор художественное воображение Зозули. Оно рвется наружу, прет из всех пор буйными брызгами молодости, веры в жизнь, несокрушимого, всепобеждающего оптимизма. Оно не оставило писателя до сих пор. И радостная, веселая, избыточная старая Одесса – город юности, надежд, веры – оделила писателя этим, как наградила тех, прикладывавшихся к ней в разные времена.

«Еду на извозчике. Солнце. Радость. Весна. Хорошо. Хочется петь...

– Милый, ради бога, поезжай скорей!

– Что же скорее?.. Рубль положили, а скорее... Лошадь-то, чай, не машина, лошадь-то! Куды ж ее загонять! Сами знаете, почем ныне овес.

Мне ненавистна его синяя, круглая, нелепая спина. Скучный, бездарный человек.

– Не разговаривай! – умоляюще сержусь я на него. – Ради бога, скорей! Я тебе еще полтинник прибавлю!

Поехали быстрее. Вот, вот... Сейчас догоним барышню... С улыбкой!.. Догнали!

...Если овес стоит дорого, то нельзя и гнаться за улыбками».

По настроению, по пылу автора видно, что он и сам не очень верит в свой вывод. Можно гнаться за улыбками. Можно, сколько бы ни стоил овес. Надо гнаться, надо жить, надо спешить, пока есть солнце, и весна, и радость.

Одесские годы формируют начинающего автора в настоящего художника. Они заряжают его темами, встречами, впечатлениями, образами. Они – самое главное – вливают в него твердую решимость стать именно беллетристом, ничем другим.

Литературная деятельность Зозули начинается в Одессе с газет. Это чистилище проходили восемьдесят из каждых ста писателей во всем мире. Лучшая из школ, самый ценный из всех литературных факультетов, самое полезное из всех профессиональных воспитаний!

Зозуля пишет в одесских газетах маленькие очерки, бытовой репортаж, фельетончики, наблюдения, наброски. Иногда они очень наивны, эти коротенькие вещички под претенциозным общим названием «В монокль беллетриста» (очень трудно разглядеть, где монокль у оборванного парня, конфузливо приходящего с рукописью во внутренние комнаты редакции). Но в них уже есть то, что отличало весь дальнейший путь Зозули, – стремление видеть в вещах и событиях не их прямой смысл, не механическую связь, а нечто трудно различимое, хотя и вполне явственное, нечто междустрочное. Этот «подкожный» механизм человеческих поступков, движений, порывов отнюдь не иррационален, нисколько не метафизичен. Он кроется тоже во вполне материальных, вещественных причинах, но только не во внешних формальных, а во внутренних низовых, в лабиринтах и инстинктах подсознания. Это очень важно: являясь по самой сути своего творчества пи-

сателем психологическим, Зозуля в каждом написанном им слове всегда чувствуется материалистом по миросозерцанию, язычником по мироощущению.

Молодой писатель, работая для газеты, относится к своим писаниям с большой, даже чрезмерной в глазах его товарищей добросовестностью. Вместо того, чтобы, эксплуатируя свои уже бурно проявляющиеся выдумку и фантазию, высасывать очерки из пальца, он старательно выполняет получаемые поручения до конца. Пропадает по несколько дней среди грузчиков порта, усердно изучает жизнь нищих, летает на первых диковинках-самолетах, посещает каких-то баптистов, каких-то иностранных моряков, каких-то бродяг на Молдаванке. Он прислушивается ко всему, впитывает в себя все, он расширяет свой кругозор, уже сейчас обнаруживая странные особенности видеть все каким-то особенным, своим, зозулинским зрением, определяющим свое же, особенное обозначение вещей:

Глава из статьи М. Кольцова «Ефим Зозуля»



Большие и малые

Портреты и шаржи

(Наши писатели и журналисты)

…Средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол...
И так далее…

Х.Н. Бялик

Довольно рослый, плотноватый человек, с плешью во всю голову и простоватым светлоусым лицом.

Это – поэт Бялик. Тот самый Бялик, которого вполне заслуженно называют еврейским Пушкиным.

У него собственная типография. В ней он проводит немало времени. Озабоченно щелкает на счетах. Внимательно вглядывается в конторские книги. Морщит лоб. Вытирает платком пот с лысины. Словом, работает. Совсем по-обыкновенному.

Дома то же самое. В обыкновеннейшей квартире пьет обыкновеннейший чай. Рад побеседовать с гостем. Иногда легко смущается. Говорит охотно: о литературе, русской и еврейской, о людях, «о том, о сем». Гостеприимен. Мил. Любит рассказать анекдот – малороссийский или еврейский. Рассказывает и хохочет. Громко, грубовато и сочно.

И кто – глядя на него – подумает, что это тончайший, глубочайший поэт, высоко взлетающий над жизнью, знаю-

щий нежнейшие оттенки всех ее скорбей, тревог, красот и радостей?..

А. Биск

Тоже поэт. Очень любит посвящать стихи барышням и носит длиннополый сюртук в стиле сороковых годов. И котелок тоже приблизительно в этом стиле, какой-то четырехугольный.

Говорит томно. Улыбается томно. И стихи читает тоже томно и нараспев.

Но дома энергично, без пиджака, помогает вести дела отцу и вместе с ним продает бриллианты.

Свою книжку назвал: «Рассыпанное ожерелье». Однако в жизни он осторожнее. Еще ни разу не случилось, чтобы покупателю вместо ожерелья, хотя бы и рассыпанного, он отпустил свои стихи…

И. Горелик

Корреспондент «Русского слова», корреспондент «Русского слова» и… корреспондент «Русского слова»…

Кроме того, милый одессит и любит рассказывать у Робина анекдоты.

Е. Генис

Терпеливый человек. Редактирует «Одесское обозрение театров». Не пьет. Не курит. Не питает особой слабости к женскому полу. Любит почему-то слово «человек», но произносит его так: «челаэк».

Л. Думский

Большой, бродягообразный, но не страшный, а «так». Себе на уме.

Тихо заикается, причем придерживает указательным пальцем верхнюю губу и усиленно мигает. Самоуверен и отдает далекой милой провинцией…

Вл. Жаботинский

Опрятный господин с яркопунцовыми целомудренными щеками и с добродетельно-скромно и гордо выпяченной нижней губой.

Очень наблюдателен, деятелен, энергичен.

Все успевает: разъезжать, писать, учиться, бывать в иллюзионе, читать лекции, экзаменоваться и переводить не только с древнееврейского, но еще и с итальянского.

Очень порядочен, умен, корректен. Красиво говорит. Словом, во всех отношениях – «первый ученик», которого ставят

в пример беспутным молодым людям.

С. Ипполитов

Пишет в «Листке», и лицо имеет бледное-бледное. На нем светится пара полуусталых, полуиспуганных глаз. Писать он будет еще много, но когда поставят памятник – пока никому неизвестно. Говорит громоздко, картаво, но мило. Во рту много золотых зубов, но в речах золота меньше.

От него веет чем-то благородным, джентльменским. Играет на бильярде.

Инберы

Их два: отец и сын. Отец (псевдоним – Кин) славный, хороший культурный человек, но выражение лица имеет такое, точно собирается чихнуть…

Сын же веселее: одевается по-парижски и немножко похож на японца. Очень, как говорится, талантлив, и в пасмурную погоду ходит с зонтиком.

Л.М. Камышников

Легкомыслен. Быстр. Молод. Джентельменист. Носит пробор. Старается быть солидным. В редакции – даже важным. Но похож на мальчика… В глазах стремительность, мягкость и неуверенность. Что-то хорошее и тут же – неожиданно странное. То же в суждениях, вкусах, даже шутках.

Лоренцо

Изящно одет, любезен и мягок. Скромен. Щеголяет цитатами из старых «трогательных» пьес и ошарашивает вопросом:

– Откуда?

Любит поострить и сам же смеется. В обществе «занимателен». Показывает мудреные фокусы. Охотно и не вульгарно говорит о женщинах. Ленив, беспечен. В редакции держится гостем. Когда снимает шляпу, то ежесекундно гладит макушку…

М. Линский

Известен, как карикатурист, но и пишет очень недурно. По внешности вполне европеец, чем (вместе еще кое с кем) заметно выделяется в среде одесских журналистов.

А. Муров

Худенький, утленький, «птичий» молодой человек. Полумужчина, полуканарейка. Кроме того: политик, эстет,

фельетонист и редактор. Втайне очень самолюбив. Необычайно горд знанием газетной техники. Фанатик типографии. На людях весел и покладист. Дамам неуклюже целует руку. Любит спорить. В споре чувствуется невыветрившийся эсдек.

Незнакомец

Самая благодатная фигура для шаржа. Но и самая легкая: втяните в рот нижнюю губу, обнажите зубы верхней челюсти и скажите:

– Нну… дда…

И получится – Незнакомец.

Довольно милый человек, хотя чуть-чуть труслив и чуть-чуть боится жизни. Иногда бывает рассеян. Тогда путает: пишет в «Одесских новостях» правду, а говорит… фельетонами.

Н. Пересветов

В жизни ровно вдвое ярче, чем в статьях. В статьях – хоть и под двумя псевдонимами – однотонен. В жизни же природа была к нему щедрее: отпечатала его в две краски…

Быть может, поэтому у него часто – вид именинника. Впрочем, может быть, еще и потому, что служит в банке.

П. Пильский

Свою характеристику любит делать сам… дворникам при прописке на новой квартире.

Так, на листке для прописки он написал однажды следующее: «Петр Пильский, дворянин» и т. д.

А в рубрике «особые приметы» два слова:

– Умен и молчалив…

Это было в прошлом году, но дворник до сих пор ходит с открытым ртом…

Что же касается меня, то я нахожу, что эти «особые приметы», конечно, очень определенны, но несколько кратки, а дополнить их мне мешает священный трепет: редактор…

Седой

Седоватая борода, близорукие глаза, очки, кажущаяся сутулость и две руки, вечно торчащие перед грудью. Кажется, не то он их собирается обнюхать, не то что-то схватить.

Тих, скромен, прост и мил. Без дела чувствует себя, по-видимому, неловко. А дело это – сидеть, уткнувшись в газету или книгу, или же писать своими таинственными иероглифами статьи.

Д. Тальников

Маленький коротконогий человечек с большим собственным достоинством и чуть вздернутым носом. Обладает счастливой особенностью: говорит длинно и упрямо о том, что всем давно известно.

И.М. Хейфец

Высокий, сильный, суровый и твердый человек. Самое характерное в фигуре – это упрямый наклон головы и шеи, с смотрящими исподлобья глазами. Фактический редактор «Одесских новостей». Гроза и ужас для начинающих.

Говорит очень мало. Ходит по комнате так, точно собирается что-то опрокинуть. Удивительно трудоспособен, находчив, неожидан, смел. Внешне холоден, но, кажется, втайне очень нежен.

Приходит в редакцию раньше всех и, прежде всего, составляет сам список умерших…

Е.Н. Щепкин

Литературный профессор. Милый человек. Вечно семенит куда-то в своем смешноватом котелке, коротенькой крылатке и с саквояжиком в руке…

Говорит быстро-быстро, напряженно мигает глазами и подергивает лицом.

Иногда в литературно-профессорском обществе выпивает вина. Тогда произносит длинные тосты и читает наизусть массу стихов. Но чаще – тихо дремлет, положив подбородок на выскакивающую из жилета манишку…

С. Юшкевич

Большое, грубоватое неяркое лицо. Большой рост. На писателя похож мало. Больше так, приблизительно, на приличного уездного мясоторговца…

Славный человек. Немножко подражает Куприну. Хочет быть «стихийным». Ходит по Дерибасовской, широко размахивает руками и говорит:

– Эх, хорошо бы выпить…

Но пьет сладкий чай…

Увлекается живописью. В кармане пиджака носит специально наменённые копейки: для нищих…

А. Федоров

Самое характерное в лице – это странное сочетание седых волос и юношески живых глаз.

Держится, как знаменитость, но с «чеховской» простотой. Однако простота выходит

не чеховская, а чуть наивная… Очень увлекается живописью, старинными вещами и культурой Востока. И это у него тоже выходит почему-то наивно… Впрочем, эта хорошая, добросовестная, свежая федоровская наивность достаточно знакома из его книг.

Кажется, хороший семьянин, легкий, мягкий, славный человек.

Приятный собеседник. Умеет выслушать и согласиться как раз тогда, когда нужно.

Пессимист

Журналист вне алфавитного списка. Выше среднего человеческого роста, небрежно одетое плотноватое существо, похожее на человека. Имеет даже большой, совсем похожий на человеческий лоб и неглупые глаза. Говорит членораздельно и даже в иных случаях грамотно. В общем, внешность довольно приятная. На истинно русского похож мало. В лице даже некоторая интеллигентность имеется – так, приблизительно, – местечкового помощника провизора из евреев.

* * *

Примечание

Собственно говоря, это продолжение вынужденное: после появления прошлого фельетона на меня обиделись многие – очевидно, не совсем разобравшиеся ни в значении, ни в целях, ни в видах шаржа. Но, оказывается, еще больше обиделись те, о которых я не писал совсем. Некоторые из них письменно жаловались мне и редактору «Понедельника». Что ж, «восполняю пробел».

М. Аринштейн (Андрей Марек)

Польско-еврейский драматург. Человек с кошачьими жестами и походкой. Любит поговорить по-русски, терпеливо выслушивать поправки и тут же перевирать их. Пишет по 10 пьес в неделю, а потом говорит с лукавой скромностью, не сдерживая, однако, самодовольной улыбки:

– Я работал нимножко…

Б. Антоновский

Художник. Карикатурист и иллюстратор. Очень наблю-

дателен. Немного знает и хорошо любит жизнь. Рисует мало, но по утрам поет басом, подражая Шаляпину и Цесевичу. Дома имеет канарейку, которая по приказу садится к нему на палец. Очень доволен сим обстоятельством…

К. Бархин

Поэт, библиограф и библиофил. Очень дорожит старыми заветами русской литературы и говорит женским голосом. В редакции ходит без пиджака и имеет вечно не выспавшийся вид. Кроме того, корректный, мягкий, добросовестный и милый человек.

С. Зак

Мал ростом, вечно ходит с книжкой под мышкой, но на ученика все-таки не похож. Тихий, любезный и приятный человек, но когда говорит в одной комнате, то в пятой спрашивают: «Что случилось? Где скандал?».

Говорить менее страстно не может. Когда говорит, то одной рукой держится за спинку стула, другой размахивает над головой, а сиденье стула безжалостно бодает коленом…

Очевидно, желает, чтобы и оно слушало…

С. Кесельман

Студент. Пишет нежные, задумчивые, покорно-тонкие и очень художественные стихи. Остроумен. Очень мнителен. Очень боится простудиться, а также испачкать новое пальто.

Комар

Плотный, веселый, брюшковатый тип с вечным видом именинника. Одевается весьма экзотично: зеленый галстух, горохового цвета пиджак и оливковые брюки. Ходит, переваливаясь на мягких подошвах. Сыплет экспромтами и сам же хохочет. В самоубийцы не годится и над «проклятыми вопросами» страдает умеренно.

И. Ксидиас

Издатель газеты «Южная мысль». Иногда и сам любит пописать – все о сильных людях. Например, о Наполеоне. Очень спокоен, черен, моложав, удивительно корректен и мил. Самый хладнокровный, сдержанный человек в Одессе. Иногда, впрочем, напряженно размышляет. Если это на улице, то руки при этом держит на пояснице, головой слегка подергивает, точно поправляя воротник, а котелок при этом чуть-чуть съезжает на макушку…

Э. Кроткий

Маленький сухонький мальчик. Острит. Иногда довольно остроумно. Но при этом суетится: нагибает головку к плечу, машет ручкой и подтанцовывает на одной ножке… Вообще, способный юноша.

Лери

Большой, высокий, с круглым немного бабьим лицом, напоминающим почему-то плохо выпеченное тесто… Носит белые брюки и пишет в «Листке» звонкие стихи.

Лоэнгрин

Милый, мягкий добрейший человек с легкими замашечками старого холостяка. Добродушно улыбается в усы. Чуть-чуть медлителен. Когда решает что-нибудь сделать или куда-нибудь уйти, то сам себе «дает звонки»:

– Первый звонок. Дзинь-дзинь-дзинь…

И только после «третьего звонка», добродушно улыбаясь в усы и посапывая, уходит…

Mad

Карикатурист. Похож на англичанина. Чопорен, холоден. Говорит с застывшим лицом. Очень тактичен.

Л. Митницкий

Тоже карикатурист. Очень любит литературу, вечно занят размышлениями и задает всем такие, например, вопросы:

– Скажите, пожалуйста, кто талантливее: Леонид Андреев или Л. Думский?

Я.Г. Натансон

Издатель «Одесских новостей». Господин с желтой бородкой и рыбьими глазами. Любит кататься на автомобиле и смотреть по сторонам. Легкий и щедрый человек. Страстно любит почет и тайно мечтает стать сербским консулом.

В. Надель

Полжизни своей проводит в Крыму, а в остальное время ходит по одесским улицам вдоль стен со своим мечтательно-наивным и рассеянно-угнетенным лицом. Жалуется на одиночество. В Крыму пишет об Одессе. В Одессе – о Крыме.

П. Нилус

Беллетрист и художник. Среднего роста мужчина с сытой и чуть топорной нижней половиной лица. Незримо пишет романы и озаглавливает приблизительно так: «Жизнь».

Но, глядя на него, поневоле думается: нет, брат, о жизни ты не напишешь…

Н. Осипович

Самый нужный человек в Одессе: издает популярный «журнал для еврейских детей» «Колосья». Но еврейским «дитятей» в данном случае оказывается один только корректор – да и то за приличное вознаграждение.

Коренастый короткошеий человечек. Похож больше на шахдена или на ходатая по бракоразводным делам, чем на литератора.

Пишет еще в «Современном мире» и часто справляется в адресном столе, где находится слава, а также где бы добыть грамматику.

С. Пен

Адвокат, раввин и истинно курчавый еврей. Пишет надрывно-патетически и любит такие фразы, как «великий русский язык». Уверяет, что пишет не чернилами, а кровью. Летом же ездит за границу.

Фауст

Среднего роста, чернобородый еврей, лет сорока. Выражение лица несколько затаенно-ехидное. Нос крючком. Одет неважно. Когда сидит в театре, в первых рядах, то смущенно уходит головой в плечи, жадно, пугливо смотрит по сторонам и мнет программу.

А. Ценовский

Журналист, композитор, дирижер, врач, беспощадный обличитель зла и защитник угнетенных и оскорбленных.

На редкость толковый человек. Никогда ничего не путает! Еще ни разу не случилось, чтобы он в редакцию вместо статьи прислал ноты, продирижировал бы симфонию – пером, а угнетенных защитил бы дирижерской палкой.

Прямо изумительный человек!

Ш. Шварц

Живой настой из непримиримого сионизма. Покорно носит кличку «еврейского Пуришкевича». Лицо имеет бледное, глаза, уходящие в себя, – глаза фанатика, но на губах – неожиданно приятная улыбка. Хороший товарищ и скромный, порядочный человек.

С. Штерн

Единственный журналист среди коммерсантов, но не

единственный коммерсант среди журналистов. Высокий господин с выбритым матовым лицом и наивно-внимательными близорукими глазами. Ходит по улице с торопливым и деловым видом. Но от него веет почему-то не дельцом, а дилетантом.

Зозуля

Тоже обиделся, что не заметил себя в прошлый раз. На последнее место поставил себя потому, что скромен. Вообще, очень скромный, тихий, милый человек. Хочет быть вторым Чеховым, но, вероятно, будет первым Зозулей. Больше всего на свете любит: во-1) прекрасных женщин и во-2) хорошие рассказы. Женщин любит толстых, а рассказы тонкие.

Одесса, август 1913 г.

Улицы

(По поводу 119-й годовщины основания Одессы)

Снимки, наброски и шаржи

Предисловие

У беллетриста Сергеева-Ценского есть великолепное сравнение: «у него было лицо – как широкая немощеная провинциальная улица».

Над этим сравнением много смеялись.

Поэтому я поступлю как раз наоборот: буду искать не в лицах – улицы, а в каждой улице – лицо.

И – кто знает? – может быть, надо мною будут смеяться меньше…

Дерибасовская

Ее лицо я вижу только вечером и на рассвете. Днем – это пестрая, красивая, живая европейская улица с яркими нарядами, кричащим блеском витрин, улыбками женщин, автомобилями, афишами, дразнящим грохотом города и веселым солнцем юга.

Но вечером она другая. Настоящая. У нее особый, только ей свойственный запах. На ее скамьях, в тени деревьев, сидят особые люди. Они серьезны. Пугливо озираются. При встрече с знакомым принимают непринужденный вид, посвистывают или напевают… но это – так, для вида. И девушки с сумочками, питомицы Дерибасовской, понимают их и покорно ждут приглашения…

И в их грубых или равнодушных, заискивающих или грустных взглядах и чувствуется лицо Дерибасовской улицы.

Но еще ярче оно чувствуется на рассвете, когда по ее усталой влажной мостовой плетутся сонные дрожки с бледными проститутками, когда падают лошади на поворотах, а на мокрых от росы скамьях уже сидят какие-то странные не выспавшиеся люди с сырыми газетами в руках, и над всем этим одиноко высится милый единственный и странный тополь Дерибасовской улицы…

Ришельевская

Излюбленное место шестнадцатилетних флиртующих одесситов. От угла Успенской приблизительно до Полицейской. На правом, если стать лицом к театру, тротуаре.

Ежедневно от пяти часов вечера там ржущими и гогочущими стаями бродят рослые и франтоватые одесские ученики. Фуражки у них так изломаны, что походят больше на калошу, нежели на фуражку. Поясок обнимает не торс, а лопатки, причем пряжка приходится как раз на сердце. Брюки, конечно, по-модному – «колоколом».

Бродят они группами, плечо к плечу, курят, гудят, хохочут басом и острят на «популярном» жаргоне В. Хенкина…

Пушкинская

Хорошая улица! Вегетарианская: по ней еще не ходит трамвай…

Впрочем, в нескольких местах он ее пересекает, и там она вегетарианствует меньше…

По ней всегда ходит и ездит много новых людей. Это приезжие. Лица у них в большинстве случаев удивленные. В глазах – любопытство. Зато радостных лиц еще больше: это у едущих не с вокзала, а на вокзал…

Преображенская

Шум, грохот, рекламы, торговля, грязь… Будничная улица, но с претензиями. В ней есть что-то, напоминающее длинный, неугомонный, болтливый и заплетающийся одесский язык, который начинает с «аристократизма», а кончает базаром. Так и она. Начинается с «аристократического» садика и домов-дворцов, а кончается привозным базаром…

И конечно, у базара вид как будто искреннее, чем у «дворцов»…

Тираспольская

Трудовая, суетливая, «передаточная» улица. Непосредственно соединяет центр с Молдаванкой.

Любимое место для прогулок веселых старичков и скучающих мужчин: по ней четыре раза в день проходят с работы и на работу сотни девушек из магазинов, конфексионов, контор, фабрик, мастерских…

Канатная

Узкая. Чуть хмурая. Какая-то прищуренная. Много солдат: казармы. Изменчивая, как все одесские улицы: в одной части строгая, чуть-чуть петербургская; в другой – сразу дряблеет. В первой части шляпы на головах сидят чинно. В другой же сами собой съезжают на затылок… Это вяжется со стилем.

Маразлиевская

По этой гуляют самоубийцы и влюбленные парочки. Первые – когда до «решительного момента», т. е. до спуска к морю, остается всего недели две, а вторые – когда весна еще в самом зачаточном состоянии и когда даже людные аллеи парка могут помешать возвышенным речам о том, что жизнь – «это сфинкс», душа человеческая – загадка и т. д.

Для таких речей лучшей улицы в Одессе нет.

Приморская

Интересная, холодноватая, немного средневековая и немного грустная улица. Вечером и в сумерки она прекрасна и поэтична с висящими над ней мостами, с своей кривизной, бедным освещением и неподвижностью…

Днем же будничнa, немного даже казарменна, пыльна и загромождена бесконечными обозами, волами и красношеими грудастыми «биндюжниками» с широко расстегнутыми воротами грубых рубах…

Б. Арнаутская

Улица бывших экстернов и старьевщиков. Бывшие экстерны едят «пшонки», по субботам толпятся около сионистской синагоги и усиленно читают газеты. А старьевщики ходят по дворам, осматривают вещи на свет и вздыхают.

На этой улице масса озабоченных и каких-то немытых лиц.

М. Арнаутская

Еще хуже. Сначала какой-то ужас: груды фруктов, доски, кнуты, ящики, могильные плиты, каменные кресты… Запах пекарен, смолы, гнилых огурцов, тесноты и грязи… На тро-

туарах – полуголые грязные дети; у ворот и на ступеньках толстые, грязные отвратительные бабы и старухи… Все это неопрятно ест, пьет, хрипло ругается, шевелится, копошится, ходит…

Зато дальше – лучше, хотя отпечаток первой половины не совсем утрачивается.

Херсонская

Университет и студенты. Студенты и университет. Радости не доставляют ни тот, ни другой. На Херсонской студенты почему-то скучнее, чем на других улицах. Да и улица сама по себе не веселит. В ней чувствуется что-то сонное и сытое. Не оживляют ее ни трамвай, ни театр, ни библиотека, ни больница, ни университет, ни участок…

Княжеская

Улица курсисток. Почти в каждой семье сдается комнатка, или почти в каждой живет курсистка. Комнатка обыкновенно чистенькая и скромная, кровать – заботливо прибрана, и над ней висят «виды»: «Остров Мертвых» Беклина и «Меланхолия», не помню чья, изображающая полуодетую девушку с руками на пояснице, стоящую на рассвете у окна…

Кажется, этот «Остров Мертвых» с этой неизменной «Меланхолией» висят и над всей узкой, скромненькой и прибранной Княжеской улицей – этой серенькой улицей маленькой комнатной тоски…

Улица Гоголя

Милая, красивая улица. И самая тихая: на ней нет ни одного ресторана. По ней иногда гуляют непонятные, неудачливые, но чувствующие красоту люди. Примыкающий к ней Сабанеев мост, высокие стильные здания, заколоченные окна толстовского дома, тишина и густые деревья – все это действует почти всегда умиротворяющее и тихо будит больную обиженную мечту…

Московская

Пересыпь. Тут уж совсем иной стиль. Широкая, безалаберная, незастроенная, полупустынная. Заводы. Мельницы. Странные дома. Странные люди. Полудикие лица. Беспрерывное движение: на странных грязных кибитках едут куда-то, поджав под себя ноги, какие-то бабы, мужики. Они страшно здоровы и, должно быть, по-

звериному жестоки и наивны. От домов пахнет скверной пищей… Скучно!

Прохоровская

А это – Молдаванка. И еще целый ряд улиц: Мясоедовская, Болгарская и т. д.

То же впечатление полудикости, заброшенности. Жалкие парикмахерские. Комичные франты. Дикие парни с надвинутыми на глаза фуражками. Разбитные девушки. Грязные полуголые дети. И все это живет, движется, дерется, смеется, смотрит на все новое жадными горящими готтентотскими глазами…

Всюду торгуют, божатся, не доверяют. Под деревьями часто валяются пьяные. Им растирают уши или тащат на дрожках в полицию.

Кладбищенская

Довольно веселая, живая улица, с трамваем, освещением и т. д.

Но на ней есть несколько типов тихих сумасшедших… Один из них, старик, наиболее характерен. Он всегда спокоен и еле заметно улыбается в усы. С утра до вечера он на улице и с неизменной своей полуулыбкой провожает похоронные процессии. Проводит одну, возвратится, по дороге встретит другую и – опять… И так изо дня в день…

И, мне кажется, этот старик несет в себе душу этой улицы…

Елисаветинская

Тихая, «аристократическая» улица. И по ней идет трамвай, но оживления, как и на Херсонской, нет. Все почему-то кажется, что на ней живут одни вдовы и сдают комнаты солидным жильцам.

Глухая

Улица красных фонарей, бурного веселья, и неожиданных встреч: отцов с сыновьями, учеников с воспитателями и т. д. и т. д.

Одна из «искреннейших» улиц в Одессе.

Для института благородных девиц подходит мало.

Но на ней, кажется, и не собирается никто строить этот институт.

Одесса, август 1913 г.

Содержание

Литературно-художественное издание

Зозуля Ефим Давидович

Мастерская человеков
и другие гротескные, фантастические
и сатирические произведения

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Редактор Феликс Кохрихт
Составитель и автор предисловия Евгений Голубовский
Иллюстрации Альбина Ялоза
Дизайн обложки Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 18.01.2012
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Cambria
Формат 60x84/16
Зак. № ___ Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в издательстве «ВМВ»

www.odessitclub.org

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, г. Одесса, 65001, Украина
Тел. +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua



Ефим Давидович Зозуля родился 10 декабря 1891 года в Москве в семье служащего. Детство провел в Лодзи, юность в Одессе. В 1911 году в Одессе начал печататься в газетах и журналах, приобрел известность как фельетонист. По приглашению Аркадия Аверченко переехал в Петроград в 1914 году, став ответственным секретарем журнала «Сатирикон». В 1923 году Михаил Кольцов и Ефим Зозуля основывают в Москве журнал «Огонек». В Москве вышло собрание сочинений Ефима Зозули в трех томах (1924-29 гг.). Запланированный 4-й том не вышел. Два романа остались незавершенными. С 1937 года печатался мало, только в журналах. После ареста и гибели М. Кольцова вынужден был уйти из «Огонька». В 1941 году пятидесятилетний писатель идет добровольцем на фронт. 3 ноября 1941 года Ефим Зозуля погиб в боях подо Ржевом.

«Кроме большой интуитивной чуткости, которую дает Зозуля от типичной интеллигентной артистической натуры, у него есть и другая черта, тоже присущая этому типу интеллигента: очень большая искренность. Он не просто пишет, что потрясен тем или другим явлением, он действительно им потрясен. Он писал свою книжку с большой любовью. Это есть как бы исповедь его в отношении находок, которые ему довелось сделать, и которые составили драгоценность его внутреннего мира».

Анатолий Луначарский, 1927 год

«Облик писателя Ефима Зозули до сих пор является для читателей несколько загадочным. Пользуясь большой популярностью в читательских кругах, автор этот не считается, однако, совершенно расшифрованным критиками...»

Михаил Кольцов, 1926 год

«Недавно я встретил имя Ефима Зозули в парижском ежемесячнике «Europe» рядом с именами Ромена Роллана, Жоржа Дюамеля, Люка Дюртена, Стефана Цвейга и других европейских знаменитостей. И я порадовался за российского фельетониста, выросшего до публикации своих фантазий и наблюдений в лучшем европейском журнале».

Леонид Гроссман, 1928 год

«Вскоре после большевистского переворота Зозуля стал писать злободневные рассказы, придавая им фантастическую либо гротескно-отвлеченную форму, например, «Рассказ об Аке и человечестве» (1919). Литературно преувеличенное столкновение с «красным террором» предвосхищает некоторые элементы романа Е. Замятина «Мы».

Вольфганг Казак, ФРГ, 1988 год